

И32 Из истории русской литературы и журналистики: Ежегодник / Под общ. ред. И. В. Петровицкой, И. Е. Прохоровой. – М. : Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2009. – 328 с.

Очередной ежегодник кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в этом году посвящен нашим юбилярам – профессорам Т. Ф. Пирожковой и В. Я. Линкову. Это предопределило состав авторов и композицию сборника. В нем участвуют не только сотрудники кафедры, но и приглашенные исследователи отечественной словесности из вузов и научных центров Москвы, Петербурга, Перми.

Сборник состоит из четырех разделов. Он открывается статьями юбиляров, рассказывающих, над чем они сейчас работают. Во втором разделе представлены статьи гостей на темы, близкие интересам юбиляров и значимые для филологии и культурологии в целом, и статьи сотрудников кафедры, отражающие широкий спектр их научно-педагогической деятельности. В третьем разделе публикуются материалы к 180-летию Л. Н. Толстого. Завершают сборник списки трудов юбиляров.

ББК 76.01

Этот сборник посвящается юбилею наших коллег – профессоров кафедры истории русской литературы и журналистики Татьяны Федоровны Пирожковой и Владимира Яковлевича Линкова.

Глубокие и тонкие исследователи отечественной словесности, знатоки русского XIX века, блестящие лекторы, оба наших юбиляра воплощают в себе лучшие черты университетской науки. Подлинные гуманисты, взыскательные к собственной работе и благорасположенные к трудам других, они по праву уважаемы и любимы коллегами и студентами.

Сердечно поздравляя Т. Ф. Пирожкову и В. Я. Линкова, мы желаем им здоровья, душевного мира и новых успехов в науке!

*Президент факультета журналистики МГУ, профессор
Я. Н. Засурский*

*Декан факультета журналистики МГУ, профессор
Е. Л. Вартанова*

Слово юбилярам



В. Я. Линков,
*доктор филологических наук, профессор
кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ*

Что такое учебник по истории литературы?

Он отличается от учебников по другим дисциплинам. Для того чтобы изучить математику, физику, логику или историю и сдать экзамен, достаточно усвоить изложенный в соответствующем учебнике материал в пределах определенной программы. В случае с литературой дело обстоит совершенно иначе. Даже если мы будем знать учебник по истории литературы от корки до корки, это не будет означать, что мы хоть в какой-то мере овладели нашим предметом. К сожалению, в отличие от всех других дисциплин, самодостаточный учебник по литературе невозможен. Он всегда носит чисто вспомогательный характер и выполняет свое назначение только тогда, когда студент совершил главный труд – прочел произведения, входящие в программу. Они и являются основным предметом нашего изучения. Предметом особого рода, в корне отличным от того, что исследуется в других науках, и прежде всего в тех, что признаются, и совершенно справедливо, эталоном науки: в математике и математическом естествознании. Изучая литературу, мы имеем дело с созданиями человеческого духа, в этом отношении стоящими на одном уровне не с предметами естественных наук: веществом, организмами, растениями, – а с самими науками. Это парадоксальное и «противоестественное» положение науки о литературе зафиксировано в известном его определении как познания познанного.

Нет физиковедения или математиковедения, т. е. наук, которые бы нам разъясняли, что такое физика и математика и какое они имеют значение в жизни человека и общества.

Но есть литературоведение, хотя литература сама, без посредников, прямо сообщает нам нечто о мире и человеке.

Чем же вызвана потребность в такой дисциплине, как литературоведение?

Математика и физика обращаются к специалистам и пользуются научным языком, общим для всех, кто изучает эти предметы. С помощью такого унифицированного языка и физика, и математика несут всегда и всем одно и то же знание, одни и те же истины и потому не нуждаются ни в каком посредничестве.

Совсем иначе обстоит дело с литературой и шире – с искусством. Элементарный, всем известный факт, подтверждаемый ежедневным опытом: разные люди по-разному воспринимают и оценивают одни и те же произведения искусства, что чаще всего невозможно объяснить разной степенью компетентности оценщиков. И даже один и тот же человек может совершенно изменить свое отношение к какому-либо творению искусства в любой момент. Иногда какое-нибудь событие личной или общественно-исторической жизни радикально меняет наше отношение и оценку. А оценка всегда присутствует в восприятии искусства, потому говорят «ценитель искусства», но не говорят «ценитель науки».

То, что вчера лишь, прелести полно,
Будило ум и душу волновало,
Вдруг оказалось смысла лишено,
Померкло, потускнело и увяло¹.

Подобное не может произойти с геометрической теоремой. В какое бы время и в каком бы состоянии мы ни взяли теорему Пифагора, она неизменно нам сообщит одно и то же: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

¹ Гессе Г. Паломничество в страну востока. Игра в бисер. Рассказы. – М.: Радуга, 1984. – С. 382.

А вот несколько красноречивых цитат из писем Л. Толстого разных лет.

«Тургенева “Довольно” я прочел и очень не одобрил». «“Довольно” мне не понравилось»².

Оба высказывания относятся к 1865 г.

В 1883 г. Толстой оценивает повесть иначе.

«Сейчас читал тургеневское “Довольно”. Прочти, что за прелесть»³.

А. П. Чехов после возвращения с Сахалина признавался: «До поездки “Крейцера соната” была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой»⁴.

Приведенные примеры, подобные которым можно выписывать бесконечно, свидетельствуют, казалось бы, о полной субъективности в оценке искусства, но они открывают только одну сторону дела, другую попробуем уяснить, обратившись к Канту, считавшему способность человека к суждению о прекрасном загадочной и противоречивой.

Оценка произведения субъективна, поскольку основывается на чувстве удовольствия, но одновременно, в отличие от наших вкусовых или цветовых пристрастий, она претендует на всеобщность, а значит, на истину. Это противоречие – фундаментальная черта отношения человека к искусству, определяющая его бытие во времени: подверженность бесконечным интерпретациям в силу способности излучать разные смыслы в разных ситуациях.

Наши суждения о литературе претендуют на истинность для всех, можно сказать, на объективность, так как она имеет обобщающий смысл, который обращен ко всем, о чем писал Аристотель, автор первой европейской систематической философии искусства. «...Поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – о единичном»⁵.

² Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное) : в 90 т. – Т. 61. – С. 106.

³ Там же. – С. 109.

⁴ Чехов А. П. Собр. соч. : в 20 т. – М. : ОГИЗ, 1949. – Т. 15. – С. 135.

⁵ Аристотель. Риторика. Поэтика. – М. : Лабиринт, 2005. – С. 177.

Согласно Гегелю, «искусство призвано раскрывать истину в чувственной форме»⁶.

В таком качестве оно обладает содержанием, общим для всех, и оказывает на многих одно и то же воздействие, что подтверждается, как и тезис о «субъективности» искусства, бесчисленными фактами.

Итак, произведение искусства несет в себе истину и в то же время допускает множество толкований и оценок. Здесь следует заметить, что последнее положение понимается часто неверно, особенно в наше время, как допустимость любых интерпретаций: «многие» и «любые» обозначают разные вещи. «Любые» исключают понятие истины в литературоведении и шире – в суждениях о литературе вообще. Но в действительности всякая интерпретация произведения литературы предлагается как истина, и потому она может быть ошибочной, неверной, искажающей его суть, и нередко намеренно.

На нашу проблему можно взглянуть и с другой точки зрения. Восприятие науки (математики, физики) осуществляет человек абстрактный: все его многочисленные определения, свойства, эмоциональное состояние не существенны и не могут повлиять на содержание того, что он постиг.

Иначе обстоит дело с искусством: наше понимание его и оценка зависят от всех многочисленных, а возможно, бесконечных наших свойств и состояний: возраста, пола, национальной культуры, развития, эрудиции, классовой принадлежности, эпохи, исторической ситуации и т. д. Искусство воздействует на целостного человека, на индивидуума, принимая во внимание всего его, но одновременно вводит его в мир народа, общества, человечества, устанавливает его солидарность с другими людьми.

Кажется, мы совсем другие, и нет ничего общего между нами и древними греками, но это не так. «У людей три тысячи лет навертываются слезы на глаза, когда они читают про слезы Андромехи, провожающей с ребенком на руках Гектора»⁷.

Три тысячи лет миллионы совершенно, казалось бы, разных людей испытывают одно и то же чувство. Здесь очевидна ве-

⁶ Гегель Г. В. Ф. Эстетика : в 4 т. – М. : Искусство, 1971. – Т. 1. – С. 61.

⁷ Из рассказа И. А. Бунина «Надписи».

лика сила искусства, способного объединять людей, создавать человеческую солидарность, преодолевая все различия, границы и преграды, время и пространство.

Следовательно, несмотря на всю субъективность восприятия и оценок, каждое истинное произведение имеет общий для всех смысл.

Если бы литература допускала только одно толкование, то и не было бы никакой надобности в критике и литературоведении, а если бы она допускала любые толкования, тогда невозможна была бы критика и наука о ней.

Как же следует и что значит изучать такой необычный, парадоксальный предмет, как литература?

Главное средство науки – абстрагирование: чем абстрактнее понятие, тем оно беднее, но зато точнее. Самая абстрактная наука – математика, она же и самая точная. Искусство оперирует не понятиями, а образами, в XIX веке популярно было его определение как мышления в образах. Образ и понятие – антиподы. Образ содержит в себе чувственное богатство качеств и свойств. Строгое научное понятие однозначно. Следовательно, анализируя образ при помощи строгих научных терминов, мы его неизбежно обедняем или даже омертвляем, и с этим ничего нельзя поделать: всякая интерпретация произведения искусства беднее его, и об этом следует помнить. Поэтому как и сколько бы ни развивалась (если только она развивается) наука о литературе, она нам не в состоянии сказать все то, что мы получаем, обращаясь непосредственно к ее предмету. Зачем же тогда нужна такая странная дисциплина? Ответим глубокомысленным изречением великого немецкого поэта. «Искусство – перелагатель неизречимого; поэтому глупостью кажется попытка вновь перелагать его словами. И все же когда мы стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибыли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние»⁸.

Долгое время в XIX в. гуманитарные науки находились под влиянием естественных. Под впечатлением их грандиозных успе-

⁸ Гете И. В. Максимумы и рефлексии // Собр. соч. : в 10 т. – М. : Худож. лит., 1980. – Т. 10. – С. 427.

хов сложилось прочное убеждение в превосходстве их метода и необходимости перенести его на гуманитарную сферу. Логика, лежащая в основе такого заимствования, казалась неопровержимо убедительной: нужно сделать гуманитарные науки столь же точными, достигающими таких же прочных результатов, как физика, химия, биология, для чего следует воспользоваться их сложившимся методом.

Однако реализация идеи не привела к расцвету наук о духе, но заставила задуматься об их природе. С конца XIX века начинается интенсивное осмысление своеобразия гуманитарного познания и обоснование его собственных методов, во многом отличных от естественнонаучных, в рамках одной из самых старых дисциплин – герменевтики. Герменевтика – слово греческого происхождения, означающее искусство и теорию истолкования текстов. Чрезвычайно значительный момент, характеризующий своеобразие гуманитарных наук и освещающий закон духовной жизни человечества вообще: для решения современной проблемы понадобилось обратиться к достижениям древнего знания, что свидетельствует о жизненности духа во всей его временной глубине. Именно работа постижения природы гуманитарного знания послужила началом возрождения философии в начале XX века и привела к ее высшим достижениям в исследованиях Э. Гуссерля, М. Шелера, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Х. Ортеги, Н. Бердяева и других крупнейших мыслителей.

Философия должна была вырваться из оков предрассудков позитивизма, полагавшего, что вся реальность без остатка поддается постижению естественных наук и что философии нет места в современном мире. Вопрос о границе между математическим, естественнонаучным и гуманитарным познанием стал вопросом о самом существовании философии и даже, если вдуматься, о возможности духовной жизни человека.

Таким образом, очевидно, что, казалось бы, частная проблема интерпретации и оценки художественного произведения на самом деле лежит в самом центре философской, а значит, высшей и глубочайшей мысли XX века.

Первый шаг в нужном направлении сделал В. Дильтей, разделивший научное познание на науки о природе и науки о духе. У каждого вида не только свой предмет, но соответственно и свой метод. Науки о природе занимаются «объяснением», открывая закономерности, делая ясным то, что до них было темным.

Произведения искусства открыты человеку, они, как удачно выразился один исследователь, говорят на универсальном языке человеческих чувств. Поэтому первая и главная задача наук о духе состоит в понимании, т. е. непосредственном постижении духовных образований прошлого и настоящего.

Нам могут легко возразить, что и в гуманитарных науках присутствует объяснение, и там исследователи устанавливают закономерности. И это, безусловно, верно. Но важно понять существенную разницу между двумя видами познания, которое Дильтей выразил с помощью понятий «объяснение» и «понимание». В основе гуманитарных наук лежит понимание сказанного, а в естественных науках – опыт, эксперимент, должный открыть, объяснить то, что неизвестно. Природу надо пытаться, чтобы вырвать ее тайны, искусство – само открытие тайн. Понимание – это особое человеческое свойство, исключительного значения и важности, являющееся необходимым условием существования человека постоянно и везде: и в быту, и в труде, и в общественных делах, и в духовной жизни. На ней зиждется человеческая солидарность семьи, общества, народа, государства. По мнению современного английского историка, русская литература и язык в XIX веке «сделали для закладки фундамента русского национального сознания больше, чем государство и церковь»⁹. Понимание настолько неотрывно от всех форм человеческого существования, что большей частью не замечается и не осознается как проблема.

Между тем понимания может не хватать, что приводит к разрушению человеческих связей, о чем писали Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Искусство, поскольку требует понимания, учит и развивает способность к нему.

⁹ Хоскинг Дж. Россия: народ и империя. – Смоленск : Русич, 2001. – С. 306.

Итак, понимание и постижение, объясняющее природные явления, это разные, но в равной степени присущие и необходимые способности человека. От него требуется, в частности, умение понимать тексты и целостные произведения разного характера: философские, литературные, юридические, богословские и т. д.

В некоторых культурах и появилась герменевтика для толкования особенно значительных книг, почитаемых как священные и определяющих духовную организацию жизни. Здесь и возникла потребность в постижении и осознании процесса понимания – настолько жизненно важны и ответственны были результаты интерпретации некоторых текстов. Герменевтика, судя по всему, ведущая свою историю от первых веков христианства, получила сильнейший импульс для своего развития в Европе в эпоху Реформации.

Раскол западной церкви, появление множества сект поставили под угрозу единство и целостность европейской культуры. Каждая конфессия утверждала свое монопольное право на религиозную истину, что порождало сомнения среди верующих и жестокие распри, приводившие к кровопролитию. В ответ возникло мощное духовное движение, направленное к примирению различных точек зрения на Священное Писание путем поиска того общего, с чем соглашались все.

Борьба различных конфессий привела и к идее религиозной терпимости, свободы совести, обоснование которой передовые мыслители и теологи находили в учении и образе Христа. Так в истоке современных гуманитарных наук слились мотивы свободы личности, стремления к истине и гуманизм.

Настоятельная потребность в строгом и ответственном толковании текста возродила интерес к герменевтике, которая, по мнению В. Дильтея, стала «отправным пунктом величайшего значения для современного основания наук о духе...»¹⁰.

Прочной сердцевиной гуманитарных наук и до сегодняшнего дня остается герменевтика, понятая в широком смысле слова, не только как специальная филологическая дисциплина, но

¹⁰ Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. – Москва – Иерусалим : Университетская книга, 2000. – С. 94.

главным образом как умение и воля к пониманию обращенного к нам слова.

Умение понимать, интерпретировать, оценивать литературное произведение было и остается нужным как для отдельного человека, так и для общества, имеет педагогическое и общекультурное значение. Такое прямое и, хочется сказать, естественное отношение к литературе сохранилось с древности. Протагор у Платона говорит: «Думаю я, Сократ, что для человека хоть сколько-нибудь образованного очень важно знать толк в поэзии: это значит – понимать сказанное поэтами, судить, что правильно в их творениях, а что нет, и уметь разобрать это и дать объяснение, если кто спросит»¹¹.

И сегодня, как и две тысячи с лишним лет назад, в отношении читателя к поэзии главное требование остается неизменным – «понимать сказанное поэтом».

Выдающийся знаток герменевтики, немецкий философ XX века Г.-Г. Гадамер точно обозначил границу претензий искусствознания, «которое с самого начала сознает, что оно не в силах ни подменить собой, ни превзойти непосредственный опыт взаимодействия с искусством».

Скорее, нужно было бы сказать: должно сознавать, что важно для нашего времени, убежденного в безграничных возможностях постоянно и неуклонно прогрессирующей науки, которая, кажется, может все, если не сейчас, так в будущем. И представляется странным, что, проникая в тайны природы, исследуя и мельчайшие образования, и колоссальных масштабов явления Вселенной, человек не может раскрыть тайну обаяния им же созданной простенькой сказочки.

Ее достоинства, как и тысячи лет назад, определяются только на вкус, и никакого другого средства не существует. Особенно большие надежды возлагались на формализацию «гуманитарного знания по образу и подобию математического», должно избавить литературоведческие интерпретации от субъективности и привести к прочным результатам, не теряющим со временем своего значения.

¹¹ Платон. Соч. : в 3 т. – М. : Мысль, 1968. – Т. 1. – С. 225.

История изучения литературы за последние полтора века сводится к попыткам разных посторонних наук, имеющих свой особый предмет, подчинить ее себе через научное осмысление и полное объяснение, для чего она объявлялась тождественной соответствующему предмету: литература полностью определяется законами общественного бытия; литература не что иное, как психологическое явление; литература – это язык; литература – знаковая система. Так, социология, психология, психоанализ, лингвистика, кибернетика, семиотика выступали с претензией дать наконец-то единственный подлинно научный метод изучения литературы, оказавшейся во всех случаях тщетной. Надо признать, что с единственным подлинно научным ничего не вышло. Что же касается вклада каждой из перечисленных дисциплин в дело изучения литературы, то этот вопрос мы здесь не можем затронуть, поскольку такое исследование увело бы нас слишком далеко от нашей темы.

Понимание самобытной сущности искусства даже среди крупных ученых, работающих в посторонних искусству областях, встречается редко, большей частью они видят в нем сферу, подчиненную соответствующим наукам. Поэтому особенно ценным нам представляется мнение крупнейшего психолога XX века, врача-психиатра и философа К. Юнга. Он ясно видит непреодолимую границу, за которую психологическое изучение искусства перейти не может.

По мнению ученого, «собственное существо искусства», так же как и религии, «никоим образом» не может быть объектом приложения психологической точки зрения. «Будь такое возможным, не только религия, но и искусство считались бы подразделом психологии»¹². Здесь К. Юнг открыто сказал о тайной мечте некоторых радикальных сторонников точных методов изучения искусства: сделать его подразделом социологии, лингвистики, математики или семиотики. Признавая, «что подобные вторжения в чужую область фактически имеют место. Однако, – предупреждает Юнг, – практикующий их явно упускает из виду, что столь же просто можно разделаться и с психологией, свести к

¹² Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. – М. : Изд. группа «Прогресс», 1992. – С. 94.

нулю ее неповторимую ценность и ее собственное существо, рассмотрев как простую деятельность серого вещества... Да такое, как всем известно, уже и случалось»¹³.

Хотелось бы отметить точность выражений исследователя: «разделаться с психологией, свести к нулю ее неповторимую ценность и собственное существо», таким же образом можно «разделаться» и с искусством, объявив его знаковой системой наряду, например, со знаками, регулирующими дорожное движение.

На наш взгляд, основное противоречие всех попыток постижения литературы с позиций наук, каждая из которых имеет свой предмет изучения, состоит в том, что они не решают главного: что считать произведением литературы. А ведь обоснованность своих притязаний они должны были продемонстрировать как раз в установлении того, что выбранный ими для исследования текст есть произведение искусства, и дать ему свою оценку, как это делает каждый читатель, а уж тем более критик-литературовед. Получается, что в решающем вопросе ученый, претендующий на достоверность и точность своих результатов, доверяется какому-то совершенно непонятному, полустихийному процессу принятия публикой произведения и формирования репутации художника.

История искусства знает немало случаев, когда благодаря усилиям критики резко менялось представление о писателе. Так, в XVIII веке в Германии под влиянием Гердера и Гете возник культ Шекспира, великий драматург был открыт для публики. Кружок Стефана Георге вывел из забвения поэзию Гёльдерлина, показав ее высокие достоинства. Белинский первым смог оценить и убедить русское общество в величайшем значении Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Он же разрушил высокую репутацию В. Бенедиктова, не соответствующую дарованию поэта.

Если бы с помощью формализующего метода удалось доказать ничтожность, отсутствие ценности какого-либо общепризнанного шедевра, чтобы читатели потеряли к нему всякий интерес, или из темноты прошлого был бы извлечен доселе никому не известный талант, книгами которого бы зачиталось все чело-

¹³ Юнг К. Г. Указ. соч. – С. 94.

вечество, тогда, безусловно, мы бы располагали точным методом постижения самой сути литературы. Но стоит только представить такую ситуацию: мы читаем работу на специальном, формальном языке, и она нас убеждает в красоте, совершенстве и глубине произведения, которое при непосредственном восприятии казалось лишенным каких-либо достоинств, – чтобы понять всю ее фантастичность.

«Искусство в своем существе – не наука, а наука в своем существе – не искусство: у каждой из этих двух областей духа есть свое неприступное средоточие, которое присуще только ей и может быть объяснено только через самое себя»¹⁴.

Поэтому мы говорим, что наука о литературе имеет особый статус и цели, она основана на понимании произведений.

Сейчас стало модным вместо «произведения» употреблять слово «текст», и чаще всего это делается бездумно, без принятия в расчет разницы между ними.

Здесь следовало бы прислушаться к мнению Р. Барта, одного из самых авторитетных исследователей-структуралистов, чьими усилиями слово «Текст» стало модным. «В противовес произведению (традиционному понятию, которое издавна и по сей день мыслится, так сказать, по-ньютонovski), возникает потребность в новом объекте, полученном в результате сдвига или преобразования прежних категорий. Таким объектом является Текст». Из цитаты Барта очевидно, что «текст» и «произведение» – понятия не только разные, но исключающие друг друга, что подтверждается другими положениями его статьи (но не текста). Очевидно, автор работы под названием «От произведения к тексту» хотел, чтобы она читалась как произведение, а не как текст. Потому как, по мнению Барта, «логика, регулирующая Текст, зиждется не на понимании (выяснении, что «значит» произведение), а на метонимии: в выработке ассоциаций, взаимосцеплений, переносов находит себе выход символическая энергия: без такого выхода человек бы умер»¹⁵. Вот как оказывается все серьезно. Видимо,

¹⁴ Юнг К. Г. Указ. соч. – С. 98.

¹⁵ Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Изд. группа «Прогресс», 1994. – С. 417.

и до изобретения структуралистами Текста как-то находила себе «выход символическая энергия». Впрочем, оставим проблему выживания человека в стороне, в силу очевидного ее разрешения самой собой.

«...Текст возвращается в лоно языка: как и в языке, в нем есть структура, но нет объединяющего центра, нет закрытости»¹⁶. Очевидно, что историку литературы нужно произведение, имеющее смысл и цель, а не Текст, даже если он пишется с большой буквы.

Вообще, предрассудок, что изучение литературы, игнорирующее ее понимание, есть подлинно научное, стал широко распространенным в наше время. Понимает сказанное в произведении и обыкновенный читатель, но только ученому, подвергнувшему его специальному исследованию, открывается нечто, недоступное при простом чтении. Такова сомнительная логика, движущая многими. Но, несмотря на появление различных новых методов изучения литературы, все же главное дело оценки и выбора остается в целом неизменным и основывается оно на понимании произведения, а не Текста¹⁷.

Из всего необозримого множества творений люди смогли выбрать наилучшие и создать то, что называется банально «сокровищницей мирового и национального искусства», благодаря которой мы владеем ценностями, в противном случае они были бы просто потеряны в море малозначительного и ничтожного.

Современное общественное сознание располагает некоторыми устойчивыми выражениями, обладающими почти магической силой. Стоит только в споре вовремя произнести такое заклинание – и оппонент разбит.

Так, если в дискуссии о значении какого-либо писателя, о его месте в литературе в ход идет убийственное: «Вы хотите все разложить по полочкам», то дальше уже обсуждать нечего, противник, подвергшийся столь серьезной атаке, незамедлительно капитулирует. Между тем без «полочек» никак не обойтись, ни

¹⁶ Там же. – С. 414.

¹⁷ Я вовсе не против слова «текст», я только против забвения слова «произведение» и замены его «Текстом» с большой буквы.

в прямом, ни в переносном смысле. Если мы признаем художественные произведения ценностями, то значит, мы их оцениваем и создаем иерархию, располагаем писателей по рангу. Существует особый круг авторов, занимающих свою отдельную «полку», называемых классиками. Их знают все, их изучают в школе, они способствуют формированию национального сознания. Как древний грек, чтобы быть греком, должен был знать Гомера, так русский с детства знакомится с Пушкиным, потом с Лермонтовым, Тургеневым, Л. Толстым, Достоевским, Чеховым и другими классиками своей литературы. Невозможно представить немца, не читавшего Шиллера и Гете. Очень остро чувствовал избранность писателей-классиков Арсеньев, герой романа Бунина: «Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей, а сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечные!»¹⁸.

Для многих, к сожалению, классики представляются древними стариками, отжившими свое. Конечно, их надо уважать, но как они скучны! Что порождает скуку? Контраст между высочайшими оценками великих писателей и немота их имен для человека, их не читавшего, не имеющего личного, непосредственного опыта общения с их искусством.

Между тем вопрос о классике есть вопрос о жизни и смерти цивилизации, и пусть читателю не покажется это преувеличением. В XX веке возник целый пласт философской, социологической и исторической литературы, подвергшей критике современную цивилизацию и предсказывавшей ей если не гибель, то глобальные катаклизмы, угрожающие человечеству.

Одним из первых, а может быть, первым был Л. Толстой, еще в XIX веке прозорливо увидевший опасность, грозящую культуре и просвещению с совершенно неожиданной стороны: «Я все больше и больше удивляюсь тому не невежеству, а “культурной” дикости, в которую погружено наше общество. Ведь просвещение, образование есть то, чтобы воспользоваться, ассимилировать все то духовное наследство, которое оставили нам предки, а

¹⁸ Бунин И. А. Собр. соч. : в 9 т. – М. : Худож. лит., 1965 – 1967. – Т. 6. – С. 232.

мы знаем газеты, Золя, Матерлинка, Ибсена, Розанова и т. п. Как хотелось бы хоть сколько-нибудь помочь этому ужасному бедствию, худшему, чем война, потому что на этой дикости самой ужасной культурной, и потому самодовольной, вырастают все ужасы, в том числе и война...»¹⁹.

Перед нами фрагмент из письма Л. Толстого, в котором писатель делает настоящее открытие, указывая на совершенно новое явление в истории человечества и европейской цивилизации, и дает ему поразительное по точности и глубине определение – «культурная» дикость. Дикость не из-за недостатка книг, журналов, газет, а из-за их переизбытка – раз. А вторая причина деградации, связанная с первой, – непонимание того, что «просвещение, образование» – это прежде всего «ассимиляция», усвоение «наследства», т. е. всего того, что лучшие умы создали за всю историю человечества. «Культурная» дикость – более страшное (Л. Толстой называет ее «ужасной») явление, чем просто дикость, поскольку первая неколебимо уверена в своей культурной состоятельности и потому безнадежна. С невежеством, дикостью можно бороться просвещением, распространением культуры, а как противостоять культурной дикости? Тем более необходимо осознать само явление, открытое Л. Толстым. В наше время, можно сказать, ситуация ухудшилась. Все меньше понимается необходимость и ценность культуры для существования общества. Еще в середине XX века было популярно понятие «культурный человек», совершенно исчезнувшее из лексикона современности. Раньше были все же, пусть и не очень ясные, критерии общего, культурного развития, предполагающие знание истории, литературы, искусства, отечественного и мирового. Считалось неприличным не знать произведения русских и зарубежных классиков.

Сейчас человек, публично проявивший глубокое невежество на телевидении или в газете, не испытывает никакого неудобства. Считается, что нужны только специальные знания и навыки, обеспечивающие успешную профессиональную деятельность. Очевидно, что и проводимая реформа образования заботится

¹⁹ Толстой Л. Н. Указ. изд. – Т. 75. – С. 169.

прежде всего о подготовке будущих специалистов, а не людей, приобщенных к культуре.

Л. Толстой считал, что в его время книгопечатание «служит главным орудием невежества», но сейчас, в XXI веке, в нашей стране главным орудием невежества и невиданной пошлости стало телевидение. В популярной программе «Культурная революция» обсуждаются порой серьезные темы, в частности русская классика: «Анна Каренина», творчество Чехова, Пушкина, но не с целью просвещения, а чтобы развлекать и потешать почтенную публику.

Ведущий и участники не пытаются поднять зрителя на более высокую ступень, а сами опускаются до потребностей и вкусов массы. Поэтому уровень обсуждения чрезвычайно низок, да и трудно это назвать обсуждением, это просто болтовня, безответственная и бессмысленная: смесь банальностей, глупостей и эффектных пустых фраз. Разумеется, все это действие преподносится как живой, непринужденный разговор, лишенный педантизма и академической скуки. Очевидно, что передачу было бы правильнее назвать «Антикультурной революцией», победоносно идущей в нашей стране.

У Саши Черного есть замечательное стихотворение «Читатель», лирический герой которого с горькой иронией признается, что читает современную чепуху и не знает классики, т. е. того, что единственно и заслуживает нашего времени и внимания.

Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии
И не менее точно знаком
С настроением поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.

Герой пристает к своим приятелям с вопросом, кто читал Ювенала, Вергилия? «Оказалось, никто не читал».

Утешенье, конечно, большущее...
Но в душе есть сознание сосущее,
Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
В суете моих пестренских дней!²⁰

Диагноз поставлен точно: беда в том, что мы питаемся «трухой», классика же – всегда настоящая, здоровая пища, и в этом ее педагогическое значение. Великие писатели прошлого не роскошь, а самая насущная, необходимая потребность. Мы живем тем, что было создано лучшими умами человечества; духовное богатство образуется тысячелетиями, гении рождаются редко. Современный человек, особенно молодой, ориентирован на новое, ищет и жаждет его, так как глубоко и неколебимо убежден: новое, значит, лучшее.

Жизнь подтверждает его правоту ежедневно, ежечасно. Новый автомобиль, новая стиральная машина, новый телевизор, новый покрой брюк лучше старых. Но в искусстве, философии, религии мерка нового в качестве лучшего не годится, там она недействительна. Духовная культура – это не поверхность, не тонкий слой в несколько десятилетий, а объемное образование, имеющее глубину, измеряемую тысячелетиями, и все, что сохранилось в памяти человечества, определяет, направляет, движет его жизнь.

Поэтому так насущно необходимо изучение классики.

²⁰ *Саиша Черный*. Стихотворения. – М.; Л. : Сов. писатель, 1962. – С. 143.

Т. Ф. Пирожкова

*доктор филологических наук, профессор
кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ*

Переиздание дневника Веры Сергеевны Аксаковой



В настоящее время я готовлю к переизданию в серии «Литературные памятники» в издательстве «Наука» Дневник Веры Сергеевны Аксаковой (1819 – 1864), который она вела в годы Крымской войны (1854 – 1855).

Дочь знаменитого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова была незаурядной, разносторонне одаренной личностью: знала иностранные языки, глубоко интересовалась литературой и историей, обладала литературными способностями, музицировала, превосходно рисовала (некоторые ее живописные работы хвалил Н. В. Гоголь).

В семье она занимала особое, даже исключительное положение; старшая дочь была «товарищем и советником» матери (О. С. Аксаковой), ее опорой, делила с ней семейные труды и заботы: помогала воспитывать младших братьев и сестер, ухаживала за больной сестрой Ольгой, принимала гостей, вела переписку с родственниками и знакомыми. Поэтому смерть Веры Сергеевны в 1864 г. подорвала здоровье О. С. Аксаковой даже в большей степени, чем кончина ее первенца Константина в 1860 г.

Вера Сергеевна являлась и деятельной помощницей отца: катастрофически быстро терявший зрение писатель в 1850-е годы

вынужден был диктовать свои сочинения, которые Вера переписывала. В Третьяковской галерее хранится картина художника К. А. Трутовского «С. Т. Аксаков диктует дочери Вере в Абрамцеве» (1892). Отец любил и уважал ее, свою «умницу Веру», «милую душеньку», ценил в ней тонкий литературный вкус, продуманность суждений. На равных с отцом и первым биографом Гоголя П. А. Кулишем она обсуждала вопросы публикации переписки писателя.

Вести дневник 1854 – 1855 годов Вера Сергеевна начала, глубоко осознав величие и трагизм совершавшихся в России событий: Крымская война, смена царствований, переговоры о мире.

Дневник чрезвычайно важен в общественном и культурном плане, ибо отразил настроения общества, в умственной жизни которого Вера Сергеевна принимала деятельное участие, настроения славянофилов, убеждения которых разделяла, факты московской жизни (празднование столетнего юбилея Московского университета, содержание читаемых в семье русских и иностранных газет).

Впечатляет характерная особенность дневника, не встречаемая в мемуарной и дневниковой литературе 1850-х годов, – Вера Сергеевна зафиксировала народные настроения во время Крымской войны, циркулирующие в крестьянской среде слухи (благодаря тому, что семья в эту пору жила в Абрамцеве).

В дневнике запечатлен и быт этой удивительной семьи на протяжении нескольких месяцев, круг общения Аксаковых, которых посещали в Абрамцеве А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, И. С. Тургенев, М. П. Погодин, М. С. Щепкин и другие.

Дневник важен и для понимания личности самой Веры Сергеевны, ее мировоззрения и нравственных качеств. Духовная красота этой женщины, интенсивность ее внутренней жизни, высокое благородство уникальны.

Созданный в 1854 – 1855 годах, дневник пролежал под спудом более полувека и стал известен русской общественности спустя сорок с лишним лет после смерти автора.

Появлением дневника в печати читатели обязаны племяннице В. С. Аксаковой Ольге Григорьевне (1848 – 1921). Ей также принадлежит заслуга публикации третьего тома писем Ивана Серге-

евича Аксакова к родным¹ и его писем к разным лицам (А. И. Кошелёву, А. Ф. Гильфердингу и др.) в журнале «Голос минувшего». Именно в ней жена И. С. Аксакова Анна Федоровна видела продолжательницу начатых ею трудов по изданию аксаковского наследия – весной 1889 года она вызвала О. Г. Аксакову из Самары в Троицу, где жила, для приведения в порядок семейного архива, на её попечение желала передать материалы И. С. Аксакова: «Я не уверена, что мне возможно будет довести до конца мою личную задачу касательно бумаг моего мужа»².

В рукописном отделе Пушкинского Дома хранится разорванный на четыре части проект духовного завещания Анны Федоровны, согласно которому переписка И. С. Аксакова с 1838 года до его кончины и дневник В. С. Аксаковой 1854 – 1855 годов предоставлялись «в полную собственность» О. Г. Аксаковой³.

Однако А. Ф. Аксакова умерла внезапно, не успев сделать завещания, и решением Московской судебной палаты единственной наследницей была объявлена ее сестра Дарья Федоровна Тютчева (1834 – 1903), камер-фрейлина, которая не хотела заниматься многотрудным делом издания сочинений Аксаковых.

Но значительная часть семейного архива (в трех сундуках) оказалась в руках О. Г. Аксаковой, в том числе и дневник В. С. Аксаковой 1854 – 1855 годов. Еще в 1889 г. Мария Сергеевна Аксакова, сестра В. С. Аксаковой, обратила внимание племянницы на этот дневник, который, как она считала, «очень интересен»⁴.

В 1891 г. исполнялось 100 лет со дня рождения С. Т. Аксакова, и вместе с двоюродным племянником, журналистом Вячеславом Сильвестровичем Россоловским, О. Г. Аксакова к юбилею задумала выпустить сборник, в котором дневник В. С. Аксаковой должен был занять первенствующее место. «...Если же Вы все-таки не решитесь его печатать, – писала она Россоловскому, – тогда я

¹ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. – М., 1892. – Ч. 1. – Т. 3.

² Письмо Н. М. Павлову без даты // Российский государственный архив литературы и искусства (далее РГАЛИ). Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 251. Л. 12 об.

³ Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Отдел рукописей) (далее ИРЛИ). Ф. 3. Оп. 6. Ед. хр. 131. Без даты.

⁴ Письмо от 30. 12. 1889 // Там же. Оп. 17. Ед. хр. 142. Л. 25.

лишаюсь своего главного козыря, так как именно на этот дневник рассчитывала, чтобы сделать этот “Сборник” выдающимся⁵.

Из-за смелости высказанных В. С. Аксаковой мыслей о внешней и внутренней политике России в годы Крымской войны возникли сомнения относительно благополучного прохождения дневника через цензуру. Но и Ольге Григорьевне, и ее отцу, Григорию Сергеевичу Аксакову, казалось, что «с некоторыми урезками» дневник может быть издан, так как в журналах «Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник» уже печатались критические материалы о царствовании Николая I и злоупотреблениях, совершённых во время Крымской войны.

Ольга Григорьевна переписала дневник – в Петербург Россоловскому было отправлено 33 бандероли с правом делать купюры в тексте⁶ и портрет С. Т. Аксакова из альбома, нарисованный В. С. Аксаковой⁷.

Ознакомившись только с первыми бандеролями, Россоловский огорченно сообщил О. Г. Аксаковой, что в значительной своей части дневник «совсем не цензурен и его нечего и пытаться ставить в сборник. Если выбросить все, что касается настроения общества по поводу Крымской войны – то что же останется?»⁸.

Поразмыслив, он решил, что дневник все-таки можно напечатать, сократив и подредактировав (вместо слов «правительство» и «министерство» написать «государство» и т. п.)⁹, и в августе 1891 г. отдал дневник на рассмотрение «лицу, от которого все зависит в цензурном отношении»¹⁰. Ответ получил неутешительный: целиком дневник не может быть допущен к публикации, о чём Россоловский и сообщил его владелице¹¹.

⁵ Письмо от 20. 06. 1891 // Там же. Ед. хр. 16. Л. 4.

⁶ Письмо В. С. Россоловскому от 26. 07. 1891 // Там же. Л. 16.

⁷ Письмо В. С. Россоловскому от 09. 01. 1891 // Там же. Ф. 262. Ед. хр. 67. Л. 1 – 1 об.

⁸ Письмо от 08. 06. 1891 // Там же. Ф. 3. Оп. 17. Ед. хр. 123. Л. 9 – 9 об.

⁹ Письмо В. С. Россоловского О. Г. Аксаковой от 22. 07. 1891 // Там же. Л. 11.

¹⁰ Письмо В. С. Россоловского О. Г. Аксаковой от 31.08. 1891 // Там же. Л. 21.

¹¹ Письмо от 19. 09. 1891 // Там же. Л. 25 об.

По-видимому, после резолюции цензора Россоловский, также рассчитывавший на дневник как на украшение юбилейного сборника, утратил интерес к его выпуску – он не вышел ни в 1891 году, ни в следующем. Россоловский медлил, сообщая, что составление сборника подвигается «туго», положение с его изданием не выяснилось¹². Дело остановилось.

По прошествии десяти с лишним лет, в 1903 году О. Г. Аксакова вновь вернулась к мысли опубликовать дневник, начала готовить его к печати, но так как на цензурные послабления в эту пору рассчитывать не приходилось, необходимость делать изъятия в тексте лишало ее работу смысла – приходилось убирать самые замечательные места.

После революции 1905 года и достигнутой в ее ходе свободы слова, отмены предварительной цензуры оживились надежды О. Г. Аксаковой на печатание дневника, и весной 1908 года она послала в журнал «Минувшие годы», публиковавший материалы по истории и литературе, переписанную ею самую копию дневника и часть семейных рукописей¹³. Подлинник дневника в журнал не посылался – Ольга Григорьевна ссылалась на то, что он писан «очень неразборчиво», но ручалась за точность переписки.

Редактор журнала В. Я. Яковлев-Богучарский, историк русского освободительного движения, заинтересовался прежде всего дневником. Он привлек его своим критическим пафосом, смелыми оценками действий правительства и производимого ими на общество впечатления: «Везде ропот, негодование»; «Душегубство есть единственная цель нашего правительства»; «Всякая мысль, всякое живое движение преследуются как преступление» и др. «В первую голову хотелось бы пустить именно дневник», – писал О. Г. Аксаковой П. Е. Щеголев, которому, как занимавшемуся XIX веком, передали материалы¹⁴. Он просил Ольгу Григорьевну написать «небольшой вступительный очерк»

¹² Письма О. Г. Аксаковой от 04. 04 и 20. 06.1892 // РГАЛИ. Ф. 3. Оп. 17. Ед. хр. 123. Л. 35, 39.

¹³ Письмо О. Г. Аксаковой В. Я. Яковлеву-Богучарскому от 25. 04. 1908 // Там же. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 181. Л. 1, 1 об.

¹⁴ Письмо от 05. 06. 1908 // ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 17. Ед. хр. 166. Л. 3 об.

об авторе дневника¹⁵, которым редакция осталась очень довольна: «Вы написали о Вере Сергеевне как раз то, что нужно было для предисловия»¹⁶.

В двух номерах (8 и 12) журнала «Минувшие годы» дневник впервые напечатали, однако в сокращённом виде – в тексте имелись купюры, главным образом редакционного характера, составившие два с половиной листа¹⁷, – публикация заняла в журнале 100 с лишним страниц. Характер купюр не оговаривался, но все резкие высказывания В. С. Аксаковой были сохранены: о николаевском царствовании, рождающем общий ропот и негодование, о правительстве, названном немецким, исключившим заботу о славянах из своей политики, о том, что правительство на таких противоестественных основах долго не удержится, что наследник Александр Николаевич не отличается особенным умом, а его рескрипт Дубельту после восшествия на престол вызвал возмущение в обществе и т. п.

Разрыв в публикации (август, декабрь) вызван тем, что издание журнала прекращалось в 1908 году и редакция спешила напечатать материалы, обещанные авторам еще два – два с половиной года назад¹⁸.

В предуведомлении к журнальной публикации редакция отмечала, что «вдумчивость и проникновенность обеспечивают дневнику видное место в литературе русских мемуаров», что дневник ярко отражает «своеобразную и привлекательную личность автора», вписывает «новую страницу в историю русской женщины»¹⁹. Здесь же сообщались сведения, полученные от О. Г. Аксаковой: о воспитании Веры Сергеевны, более серьезном, чем у остальных дочерей и более похожем на воспитание братьев, о ее особом месте среди сестер, о ее богато одаренной натуре, об увлечении рисованием и религией²⁰.

¹⁵ Письмо от 06. 05. 1908 // Там же. Л. 1 об.

¹⁶ Письмо П. Е. Щеголева от 22. 06. 1908 // Там же. Л. 5.

¹⁷ Минувшие годы. – 1908. – Август. – С. 101 – 149; Декабрь. – С. 210 – 264.

¹⁸ Письмо П. Е. Щеголева О. Г. Аксаковой от 18. 11. 1908 // ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 17. Ед. хр. 166. Л. 8.

¹⁹ Минувшие годы. – 1908. – Август. – С. 101.

²⁰ Там же. – С. 101, 102.

Появление дневника вызвало интерес у читателей, которые отзывались о нем благожелательно, в том числе и исследователи: Н. Л. Бродский в книге «Ранние славянофилы» отметил, что дневник – «чрезвычайно интересный материал для характеристики семьи Аксаковых, их настроений и взглядов в период 1854 – 1855)»²¹.

Дневником заинтересовался Е. А. Ляцкий, историк литературы, критик, сотрудничавший в журналах «Вестник Европы», «Мир Божий», член редколлегии журнала «Современный мир», один из руководителей историко-литературного издательства «Огни». Он увлекался историей славянофильства, в 1915 году выпустил первый том сочинений Константина Сергеевича Аксакова. Оценив уникальность дневника, Ляцкий решил издать его отдельной книгой. Переписку с О. Г. Аксаковой он начал в 1911 году²². В следующем году О. Г. Аксакова передала в редакцию петербургского книгоиздательства «Огни» оригинал и копию дневника.

Примечания готовились Н. В. Голицыным и П. Е. Щеголевым. Биографические сведения об авторе дневника были скудными, и Ляцкий просил Ольгу Григорьевну поделиться своими воспоминаниями об В. С. Аксаковой – вплоть до мелочей, чрезвычайно важных для освещения ее личности: «Личностью же она была такою, что заслуживала бы цельной биографии; к сожалению, известно о ней чрезвычайно мало»²³.

Ольга Григорьевна прислала предсмертное письмо В. С. Аксаковой М. Г. Карташевской, фотографии, запечатлевшие автора дневника в молодости и зрелом возрасте, фотографии родителей – С. Т. и О. С. Аксаковых. Никаких новых сведений о В. С. Аксаковой в издании Ляцкого нет – повторено то, что было в предуведомлении к журнальной публикации, но информация, там содержащаяся, чрезвычайно важна, поскольку исходила от человека, непосредственно общавшегося с Верой Сергеевной (из

²¹ Бродский Н. Л. Ранние славянофилы. – М., 1910. – Вып. 5. – С. 204.

²² Письма Е. А. Ляцкого О. Г. Аксаковой 1911 – 1915 гг. // ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 17. Ед. хр. 94; Ответные письма 1913 – 1915 гг. // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. Ед. хр. 151.

²³ Письмо от 26. 12.1912 // ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 17. Ед. хр. 94. Л. 7.

многочисленной аксаковской семьи в ту пору в живых уже не было никого).

Дневник, ожидаемый в печати весной 1913 года, задержался с выходом, и О. Г. Аксакова сердито выговаривала Щеголеву, что он обещал выпустить его к 15 марта, «между тем сегодня 16-е, и не только нет дневника, но нет даже от Вас ответа на посланный Вам список аксак<овских> писем»²⁴.

Книгоиздательство «Огни» выпустило дневник летом 1913 года – без купюр, сделанных в журнальном варианте, небольшим тиражом в 1 500 экземпляров, что сразу сделало его библиографической редкостью.

Книга вышла в мягкой обложке, украшенной изящной виньеткой. На обложке значилось: «Редакция и примечания кн. Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева». По всей вероятности, князь Голицын отказался от денежного вознаграждения за труды, ибо при подсчёте стоимости дневника на бланке Ляцкого плата выставлена только Щеголеву (150 рублей)²⁵. Текст был прокомментирован выборочно, имелся указатель имен (не аннотированный).

Ольга Григорьевна, получив книгу, послала благодарственное письмо издателю, который отвечал: «Бесконечно рад, что Вам понравилась внешность “Дневника”. Хотелось бы достичь лучшего, но что сделать с нашими типографиями! (дневник напечатан в типографии Б. М. Вольфа. – Т. П.) – они стали положительно невозможны, и с ними уходит много сил, если не обращаться в типографии Стасюлевича или Суворина, где цены совсем неприступные... поэтому, если Вы усмотрели в книге какие-нибудь недочеты – простите»²⁶.

Выход дневника отдельной книгой современники сумели оценить по достоинству: Ляцкий сообщал Ольге Григорьевне, что

²⁴ Письмо от 16. 03.1913 // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 183. Л. 11.

²⁵ ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 17. Ед. хр. 94. Л. 6. Возможно, участие Н. В. Голицына было незначительным, поскольку в пору подготовки текста еще для «Минувших годов» П. Е. Щеголев 22. 06.1908 сообщил О. Г. Аксаковой, что уже откомментировал первую треть дневника и отправил в типографию – о причастности Н. В. Голицына к этой работе не упоминает. (Там же. Ед. хр. 166. Л. 5).

²⁶ Письмо от 28. 06. 1913 // Там же. Л. 11 об.

«Петербург брал дневник довольно охотно»²⁷. Продажная цена его была 1 р. 25 к. На 1 января 1914 года из 1 500 экземпляров продали 518²⁸.

Однако никакими сведениями о том, как дневник покупали в следующем году и как скоро разошелся тираж, мы не располагаем. Возможно, запыхавший тогда мировой пожар потеснил интерес современников к Крымской войне, бывшей перед тем больше чем за полвека.

Публикаторы дневника 1913 г. в предуведомлении к нему совершенно верно написали: «В русской литературе мемуаров и записок дневнику В. С. Аксаковой принадлежит одно из первых мест»²⁹. Это мнение разделяют и исследователи славянофильства. «...Чрезвычайно содержательный дневник», – писал В. И. Кулешов³⁰; «Ее дневник... это именно хроника жизни семьи и подробная, пристрастно написанная хроника сложного переходного исторического периода», – замечает Е. И. Анненкова³¹.

Однако, несмотря на значительность дневника, его высокое достоинство, он не переиздавался почти 100 лет, до 2004 года, когда появились сразу два переиздания, вероятно, приуроченные к 150-летней годовщине защиты Севастополя или к 140-летию со времени смерти В. С. Аксаковой: дневник выпустили издательства «Аст» и «Астрель», а также «Московские учебники и Картолитография»³².

В обоих переизданиях воспроизведён текст, появившийся в 1913 году. Заявление подготовителей Голицына и Щеголева, что дневник «печатается по подлинной рукописи, предоставленной в распоряжение редакции Ольгой Григорьевной Аксаковой»³³, не

²⁷ Письмо от 28. 06. 1913 // ИРЛИ. Ед. хр. 166. Л. 12.

²⁸ Там же. Л. 6.

²⁹ Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. 1854 – 1855. – СПб., 1913. – С. III.

³⁰ Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. – М.: Художественная литература, 1976. – С. 264.

³¹ Анненкова Е. И. Аксаковы. – СПб.: Наука, 1998. – С. 256.

³² В. С. Аксакова. Дневник 1854 – 1855. – М. : Аст : Астрель, 2004; Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. – М. : ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2004.

³³ Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. 1854 – 1855. – СПб., 1913. – С. VI.

вполне соответствует действительности. Сделанное нами сравнение издания 1913 года с оригиналом, хранящимся в РГАЛИ³⁴, показывает, что имело место редакционное вмешательство в текст и слова на обложке «Редакция... кн. Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева» поставлены не случайно.

Несомненно, редакторы стремились смягчить резкость характеристик, данных В. С. Аксаковой официальным лицам. Так, в дневнике от 17. 03.1855 сообщалось, что Я. И. Ростовцева все считают «подлецом» – это слово в печатном тексте отсутствует, как и слово «осел» применительно к министру народного просвещения А. С. Норову в записи от 6 сентября того же года – вместо бранных слов поставлены отточия.

Встречаются пропуски отдельных выражений и даже предложений: так, в записи от 12. 04. 1855 выпущены слова, свидетельствующие о недовольстве Александром II в окружении великого князя Константина Николаевича: «как напр<имер> А<лександра> О<сиповна>» (то есть Смирнова. – Т. П.) – этого добавления нет. Рассуждая о принятии Александром II четырех уступок, на которых настаивали западные державы, 18. 04. 1855 Вера Сергеевна прибавила: «Что и говорить, что в<еликий> к<нязь> К<онстантин> не так бы поступил» – данных слов мы не находим в печатном тексте. В записи от 13.09.1855 выпущены слова о причинах, по которым Самарин не хотел отпустить в ополчение младшего брата: «общество офицеров отвлратительное». А 16. 10. 1855 при упоминании о желании великого князя Константина завербовать Самарина в ряды своих сторонников убраны строки о том, что Самарин «ни от кого из них не ожидает добра» и не хочет связывать себя «с правительством» (последнее слово заменено более нейтральным – «службой»).

Редакторы стремились «причесать» текст Веры Сергеевны, обнаружив при этом, с нашей точки зрения, излишний педантизм – вряд ли оправданы замены «тот» на «этот», «чтоб» на «чтобы», «покуда» на «пока», единственного числа существительных на множественное, и наоборот. Вера Сергеевна писала: «Вот теперь время общественному покаянию, молитве», в печатном тек-

³⁴ РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 173.

сте читаем «молитвы». У Веры Сергеевны: «Как жаль, что не захотели употребить Ермолова», в печатном тексте: «Как жаль, что не захотели поручить дело Ермолову»; у Веры Сергеевны: «Люди готовы подать ему руку», напечатано: «Люди готовы предложить ему руку». Севастополь Вера Сергеевна называла в большинстве случаев «фортом», редакторы заменили слово на «порт», слово «лучше» на «вернее», «общее» на «общественное» и т. п.

Удивительно, что редакторы не замечали, что утяжеляют текст. У Веры Сергеевны читаем: «Взятие его (Севастополя. – Т. П.) никогда не было целью их» (западных стран – Т. П.), в печатном тексте: «... не было целью их намерений».

Иногда появлялись дополнения, отсутствующие в тексте дневника. К примеру, слова Александра II генералам при вступлении на престол в печатном издании звучат так: «...будем защищать до последней капли крови нашу милую Россию», тогда как Верой Сергеевной написано просто «Россию».

С другой стороны, в печатном тексте от 13. 09. 1855 по неизвестным причинам исчезло сообщение Веры Сергеевны о том, чем закончилось предложение великой княгини Елены Павловны познакомиться с Константином Аксаковым. По печатному тексту складывается впечатление, что знакомство состоялось: «...Константин и написал к М<ихаилу> Оболенскому, что соглашается». Не напечатано следующее: «Но, видно, не судьба была этому устроиться. В 3 часа перед отъездом заезжал Обол<енский> (нас не было дома) и написал к Константину записочку самую искреннюю, горячую, полную самого искреннего сожаления, что не устроилось это свидание, которого он так желал, потому что Константин лучше других мог бы объяснить ей все современное положение и все требования русского духа –». В наборном экземпляре эти слова не зачеркнуты; неясно, почему их не набрали.

Нами замечено, что в печатном тексте иногда отсутствуют добавления, сделанные автором на полях рукописи, и нет даже двух отдельных листов (л. 51 и 51 об.), вложенных почему-то в апрельский текст дневника, но относящихся, несомненно, к более позднему времени, ко времени оставления нами южной стороны Севастополя: речь идет об отчаянном сопротивлении Курского

ополчения и об ужасном унынии, в котором находятся государь и государыня³⁵, – Аксаковы их видели в Кремле и Троице, и соответствующие записи об этом имеются в дневнике от 03 и 08. 09. 1855.

Кто такой «Велик.», упомянутый в записи от 10. 10. 1855, то есть Великопольский, поэт, драматург, знакомый аксаковской семье, публикаторы, вероятно, не знали и слово убрали совсем.

Иногда записи Веры Сергеевны неверно расшифрованы: она пишет в ноябре 1854 года, что Пальмерстон поехал к императору «Фр.»; редакторы решили, что к Францу, тогда как в это время Пальмерстон посетил императора Франции, то есть Наполеона III.

Неясно, почему на с. 144 – 146 издания 1913 года один и тот же текст, написанный на лл. 100 об. – 101 об., напечатан дважды: якобы в краткой и более пространной редакции: в дневнике текст не имеет редакций, а своим чередом идут записи, почему-то набранные на с. 145 – 146 более мелким шрифтом. Возможно, в момент печатания дневника эти записи существовали в разных редакциях (предположим, существовал еще текст на отдельном листе, но в настоящее время листок утрачен).

В издании Ляцкого к записи от 18. 08. 1855 имеется сноска, в которой сообщено: «На отдельном клочке бумажки, едва видно, набросан карандашом следующий отрывок: О посещении Васькова; об ополчении» и т. д. (см. далее по тексту). Однако ни «отдельного клочка» нет, ни текст дневника не прерывается³⁶, и то, что по неизвестным нам причинам набрано на с. 117 – 118 мелким шрифтом и якобы содержится «на клочке», написано как обычно, но не Верой Сергеевной, а кем-то другим, очевидно, боявшимся, что «отдельный клочок» потеряется (после переписывания листок, похоже, уничтожили, его в дневнике нет).

Текст писался Верой Сергеевной густо, почти без абзацев, редакторы, по всей вероятности, для удобства чтения, произвольно поделили его, и абзацы появились там, где их не было, а иногда отсутствуют там, где имеются в оригинале.

³⁵ РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 173. Л. 51, 51 об. Заметим, что листы в дневнике архивистами ошибочно пронумерованы: сначала следует читать текст, написанный на Л. 51 об., а затем на Л. 51.

³⁶ Там же. Л. 63 – 63 об.

Не везде поставлено тире в конце фраз – эти тире в XIX веке играли роль как бы маленьких абзацев, отделяя одно высказывание от другого, одну мысль от другой.

Курсивом иногда выделены слова, совсем не подчеркнутые автором.

Некоторые фамилии, обозначенные начальными буквами, не расшифрованы (Г. – Гиляров, Т. – Томашевский, М. Самб. – Машенька Самбурская и др.). Вера Сергеевна 13. 10. 1855 записала в дневнике: «Получено письмо от Макарова...», редакторы заменили: «От Кулиша», не объяснив, что это одно и то же лицо: Кулиш – фамилия, Макаров – псевдоним.

Существенно, что в издании 1913 года изменен эмоциональный строй дневника: наборный экземпляр³⁷ буквально пестрит восклицательными знаками, поставленными красными чернилами. Однако Вера Сергеевна писала дневник для себя, это неторопливая беседа с собой, дневник прекрасно передает несуетность ее рассуждений о происходящем. По всей вероятности, редакторам дневник показался монотонным, и они постарались «оживить» его с помощью восклицаний. Восклицательные знаки в тексте Веры Сергеевны случаются, но там, где обыкновенно в оригинале стоит восклицательный знак, в печатном тексте он убран. Налицо несоответствие тональности текста дневника и его издания 1913 года.

Предоставляя дневник для журнальной публикации еще в 1908 году, О. Г. Аксакова ручалась за точность копии, слово в слово, без пропусков³⁸.

Но при снятии копии могли быть допущены ошибки, которые обычно возникают при переписывании (это хорошо знают медиевисты): пропуск отдельных слов, изменение их порядка. Вероятно, отдельные слова не были прочитаны и потому не напечатаны, а иногда прочитаны неверно, поскольку почерк Веры Сергеевны не отличался разборчивостью. К примеру, у Веры Сергеевны в дневнике: «на редане» (полевое укрепление с двух

³⁷ РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 174.

³⁸ Письмо П. Я. Яковлеву-Богучарскому от 25. 04. 1908 // Там же. Ед. хр. 181. Л. 1 – 1 об.

сторон, образующих угол), напечатано: «на редуте» (полевое укрепление, обычно квадратное, охваченное бруствером и рвом), у Веры Сергеевны: «искренна», напечатано: «проста».

Но все другие погрешности, о которых шла речь выше, допущены редакторами дневника.

Наконец, важный вопрос, возникающий при рассмотрении печатного текста и заслуживающий особого внимания, – вопрос о временных границах дневника. И в издании 1913 года, и в переизданиях 2004 года дневник начинается с записи от 14. 11. 1854 и заканчивается 15. 11. <1855> во вторник словами: «Еще не устроились» (имеется в виду переезд семьи из Абрамцева в Москву).

Однако в дневнике есть еще одна запись, сделанная «в среду, утром» (на л. 126 об. –128 об.); по предположению редакторов, она завершает дневник, так как следует за записью от вторника, то есть дневник оканчивается 16 ноября 1855 года в Москве.

Кроме того, она написана почему-то «верхом вниз», наоборот, а не обычным порядком – обстоятельство, которое должно было бы навести на размышления. К этому мы еще вернемся.

Но главное – содержание записи, которое нельзя отнести к 16 ноября 1855 года.

В ней сообщается о приезде Щепкина и Погодина «после присутствия» к Аксаковым «в 6 час<ов> утра», затем о прибытии к завтраку Самарина. Если семья уже переехала в Москву, выбрано странное время для визитов – даже для близких людей. Ясно, что гости ехали из Москвы всю ночь и утром добрались до Абрамцева. Значит, запись не могла быть сделана в Москве 16 ноября 1855 года.

Она не могла быть сделана в это время и потому, что в ноябре 1855 года Самарина не было в городе: выбранный капитаном Симбирской дружины (№ 272), он еще в сентябре уехал набирать ратников в ополчение³⁹.

Далее в тексте упомянут Хомяков, с которым встречались Аксаковы, – в ноябре 1855 года свидание не могло состояться, по-

³⁹ Самарин Ю. Ф. Записки ратника // Российская государственная библиотека (далее РГБ). Ф. 265. Карт. 90. Ед. хр. 3; а также воспоминания В. Д. Давыдова об этом периоде его жизни // Русский архив. – 1877. – № 5.

скольку осенью Хомяков жил в своем имении Богучарово Тульской губернии⁴⁰: собираясь приехать в Москву после праздников, то есть после Рождества, но извещенный А. И. Кошелёвым о разрешении славянофильского журнала «Русская беседа», он поспешил явиться раньше, и уже 3 января 1856 года выехал в Петербург⁴¹. Это еще одно подтверждение того, что запись в дневнике не могла появиться в ноябре 1855 года.

В ноябре 1855 года, то есть в конце Крымской войны, Вера Сергеевна не могла испытывать надежд на мирный исход отношений России и Турции («Турция на все согласна, что Россия требует»), на помощь Австрии («Австрия прилагает деятельное участие за нас»), отношения с ней испортились уже в начале войны. «Войска еще идут на Дунай», – писала Вера Сергеевна. По этому маршруту русские войска начали движение в первых числах марта 1854 года. «Паскевича нет; при Силистрии командуют Лидерс и Хрулев» – фельдмаршал И. Ф. Паскевич, в марте 1854 года назначенный главнокомандующим русской армией на Дунае, прибыл к войскам 3 апреля, а в начале мая, контуженный при Силистрии, покинул их.

И планы Меньшикова идти на Константинополь, а Паскевича – на Вену, о которых писала Вера Сергеевна, могли иметь место только весной 1854 года. Находясь в феврале в Петербурге, Паскевич изложил царю свой план действий: завоевать Австрию, затем при поддержке сербов через Вену двинуться на Константинополь⁴².

⁴⁰ См.: Хомяковский сборник. – Томск : Водолей, 1998. – Т. 1. – С. 136. Прим. 3 к письму 34. Публикация Е. Е. Давыдовой; письмо К. С. Аксакова А. С. Хомякову от декабря 1855 // Там же. – С. 165 – 167. Публикация Т. Ф. Пирожковой; письмо С. Т. Аксакова И. С. Аксакову от 22. 12. <1855 > // Наше наследие. – 1991. – V (23). – С. 60. Публикация Т. Ф. Пирожковой.

⁴¹ См.: Письмо С. Т. Аксакова И. С. Аксакову от 05. 01. 1856 // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 23 об. – 24; Письмо М. П. Погодина К. С. Аксакову от 13. 10. 1856 из Москвы, в котором он осведомлялся, где находятся Ю. Ф. Самарин и А. С. Хомяков // Там же. Оп. 1. Ед. хр. 108. Л. 5.

⁴² Шильдер Н. К. Фельдмаршал Паскевич во время Крымской войны. 1854 – 1855 гг. / пер. с нем. // Русская старина. – 1875. – Август. – С. 613.

И восстание греков против Турции, о котором ведет речь Вера Сергеевна, тоже было в начале, а не в конце войны.

Итак, отнесение последней записи к 16. 11. 1855 находится в явном противоречии с реальными фактами. Это не последняя, а напротив, первая запись в дневнике Веры Сергеевны, сделанная весной 1854 года.

Можно назвать точную дату начала дневника – 23. 05. 1854, основываясь на дневниковой записи М. П. Погодина от этого дня: «С Щепкиным к Аксаковым. По пути переговоры о войне, о Силистрии и пр. Так или не так ли, а все-таки приехали»⁴³. В обратный путь – в Москву – гости отправились ночью 31 мая.

Итак, вести дневник Вера Сергеевна начала 23 мая 1854 года, вероятно, в ожидании благоприятных и даже радостных известий, но последующие события (снятие осады Силистрии, отход русских войск за Дунай) не оправдали ее ожиданий.

Дневник возобновился только 14. 11. 1854, когда военные дела приняли угрожающий для страны характер (высадка союзников в сентябре 1854 года в Крыму, поражение русских войск в сражениях на Альме и в Инкерманском).

Дневник, веденный в продолжение года, составил две тетради («1 Дневник», «2 Дневник») и, когда подошел к концу, первая запись от 23. 05. 1854 оказалась сделанной наоборот, «верхом вниз». Так что последняя точка в дневнике была поставлена автором 15 ноября 1855 года, во вторник, а то, что запись «верхом вниз» от среды – простое совпадение, а никак не продолжение предыдущей.

Текст дневника частично прокомментирован Голицыным и Щеголевым: пояснения хотя и немногочисленны, но составлены квалифицированно. Неточности редки, но случаются: в первой же сноске из членов семьи «потерялись» две дочери Аксаковых, Софья и Мария; на с. 6 гвардейский капитан лорд Дункельн, попавший в плен, перепутан с английским послом, который в плену не был; на с. 10 произошла путаница с двумя Княжевичами: в 1854 году Аксаковы не могли получить письмо от Д. М. Кня-

⁴³ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. – СПб., 1899. – Кн. 13. – С. 108.

жевича, умершего за десять лет до этого (в 1844), – речь идет об А. М. Княжевиче; на с. 13 перепутана дата смерти Н. В. Путяты (1877, а не 1878); Стоян Новакович (см. с. 14) не мог прислать в 1854 году письма Аксаковым, он родился в 1842 году, в 1854 году ему было всего 12 лет.

Переиздания дневника, осуществленные в 2004 году, повторяют издание 1913 года, хотя оно не принадлежит, как нами замечено, к числу образцовых в XX веке, причем, если в дневнике, выпущенном двумя издательствами – «Аст» и «Астрель», обращено внимание на некоторые погрешности, допущенные прежде, например относительно Княжевича, Новаковича⁴⁴, то в издании «Московские учебники и Картолитография» они, к сожалению, повторены⁴⁵.

Поэтому необходимость печатания дневника по подлиннику по-прежнему остается актуальной.

⁴⁴ В. С. Аксакова. Дневник 1854 – 1855. – М. : Аст : Астрель, 2004. – С. 368 – 369, 370.

⁴⁵ Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. – М. : ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2004. – С. 165, 167.

*Статьи
и
исследования*



Р. С. Спивак,

доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы
Пермского государственного университета

Возможность напечатать статью в юбилейном сборнике я ощущаю как радость и высокую честь. Нас связывают с Татьяной Федоровной Пирожковой сорок восемь лет дружбы: работа в Пермском университете, учеба в аспирантуре МГУ и затем долгие годы тесного душевного и духовного общения и в тесном общении – профессиональное и личностное становление.

Разное направление наших научных интересов нас не разъединяло, а наоборот, усиливало ощущение нужности друг другу, как и, волею судьбы, жизнь в разных городах. Татьяна Федоровна занималась фольклором, все последнее время – славянофилами и западниками, я – русской классикой XIX века, потом Серебряным веком. Понятно, что логика научного мышления формировалась разная. Но круг проблем, рассматриваемых Татьяной Федоровной, и точка зрения на них, их решение – все было мне близко и жизненно важно. Как-то не приходилось говорить это прямо, непосредственно, поэтому с большой радостью пользуюсь возможностью сказать сейчас, что работы Татьяны Федоровны считаю образцом историко-литературного исследования, той настоящей литературной наукой, которая, может быть, из всех современных направлений литературоведения единственная будет востребована нашими будущими коллегами.

Полвека нашей общей жизни – это полвека редкого в наши дни и дорогого взаимопонимания, очень ценимого нами. Возможно, по сложной ассоциации, именно ему я обязана выбором темы настоящей статьи на материале творчества нами обоими любимого Чехова, изучению которого отдает много сил и другой наш юбиляр, всегда интересный мне своими работами, – Владимир Яковлевич Линков.

Феномен непонимания в художественном мире А. П. Чехова

В последние годы внимание исследователей творчества А. П. Чехова привлекла проблема понимания в художественном мире писателя. Она интересно и убедительно рассматривается в работах В. Я. Линкова в связи с вопросом о месте сомнения и «руководящей идеи» в духовной жизни личности¹. Моя статья является продолжением изучения названной проблемы, но в другом аспекте – в связи с ситуацией отчуждения и экзистенциальным характером художественной системы Чехова.

Непонимание тесно связано с отчуждением. И в творчестве Чехова оно может выступать как следствием отчуждения, так и его причиной, а в определенных контекстах – синонимом отчуждения. И все же эти понятия не идентичны. Отчуждение может быть вызвано факторами, не объясняемыми непониманием, точно так же, как непонимание может быть следствием и показателем не отчуждения, а досадного случая, неразвитого ума, инфантильности и лежать в сфере не драматического и трагического, а комического. В этой связи, не обособляя непонимания от отчуждения, определим в качестве предмета изучения именно явление непонимания в художественном мире Чехова – непонимание «другого», себя, смысла и законов жизни.

Значимость феномена непонимания в художественном мире Чехова находит выражение в лексической маркированности этого явления. Непонимание маркируется в большинстве произведений Чехова разных лет, на протяжении всего творческого пути писателя, уже в ранних рассказах писателя, например в таких, как «Разговор человека с собакой», «В бане», «Канитель», «Нервы», «На гулянье в Сокольниках», «Дипломат», «Из воспоминаний идеалиста», «Злоумышленник», «Упразднили» и многих других. Раскроем для наглядности утверждения последний.

¹ См.: *Линков В. Я.* Скептицизм и вера Чехова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. – С. 62 – 63, 19 – 22; *Линков В. Я.* История русской литературы XIX века в идеях. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – С. 153.

«Я Вас, майор, *не понимаю*», – пугается Вывертов в рассказе «Упразднили», услышав об отмене старых военных званий. И ниже: «Опять-таки я *не понимаю*. <...> Вывертов *не понимал*, не чувствовал и глядел на все, как через решетку»².

Не меньше лексических маркеров ситуации непонимания в зрелых произведениях Чехова. В рассказе «Беда» член ревизионной комиссии банка купец Авдеев «*не понимал* своих судей, а судьи, казалось ему, *не понимали* его...». На самом суде он «слушал и *ровно ничего не понимал*. <...> Он сердился,.. что защитник *не понимает* его. <...> Когда он порывался говорить о своих... убытках,.. защитник оборачивался и делал *непонятную* гримасу. <...> В те страшные часы, когда присяжные совещались,.. он... совсем не думал о присяжных. Он *не понимал*, зачем они совещаются так долго, <...> он не слушал, *ничего не понимал* и невыносимо страдал... Наконец... встал прокурор судебной палаты и сказал *что-то непонятное*» (5; 433, 434). Молодой учитель литературы Никитин («Учитель словесности») при полном, как ему казалось, благополучии на службе и семейном счастье вдруг почувствовал «на душе неприятный осадок и никак *не мог понять*, отчего это...». А в разгаре свадьбы со старшей сестрой невесты случается истерика. «*Никто не может понять!* – бормотала она потом в самой дальней комнате... *Никто, никто! Боже мой, никто не может понять!*» (5; 396, 399). В повести «Моя жизнь» Мисаил тщетно пытается объяснить отцу свое решение стать рабочим: «Продолжать разговор было бесцельно и неприятно, но я все сидел и слабо возражал, надеясь, *что меня, наконец, поймут*» (8; 107). «Непонимание» составляет доминанту отношений всех персонажей повести: «...люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды... Я не любил и *не понимал* их. Я *не понимал*, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей. <...> Лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой,.. но они *не понимали* жизни...» (8; 117).

² Чехов А. П. Собр. соч. : в 12 т. – Т. 3. – М. : Худож. лит., 1961. – С. 83, 85, 86. Ниже ссылки на это издание даны в тексте: в скобках указаны том и страницы. Курсив всюду мой. – Р. С.

Подобные лексические маркеры ситуации непонимания мы встречаем в таких широко известных произведениях писателя, как «Зеркало», «Страхи», «Верочка», «Враги», «Спать хочется», «Бабе царство», «Скучная история», «Попрыгунья», «На подводе», «Дама с собачкой», «Супруги», «Новая дача», «Жена», «Тяжелый характер», «В ссылке», «Чайка» и многих, многих других.

Феномен непонимания маркируется и другими средствами: риторическими вопросами, повторами, алогичностью диалогов, гротеском, выразительной чеховской деталью. Яков Бронза в «Скрипке Ротшильда» думает: «*Как это вышло*, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке. <...> И *почему* человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков. *Спрашивается, зачем* срубили березняк и сосновый бор? *Зачем* даром гуляет выгон? *Зачем* люди всегда делают именно не то, что нужно? <...> *Зачем* люди вообще мешают жить друг другу?» (7; 372).

В рассказе «Темнота» деревенский парень умоляет доктора отпустить домой из арестантской палаты его брата, потому что без него дома «с голоду вседохнут! Мать день-деньской ревет, Васькина баба ревет... просто смерть!». У парня *своя правда*: «...а отец какой работник? Не токмо, скажем, работать, путем есть не может, ложку мимо рта несет». Но у доктора *тоже своя правда*: «Как же я могу его отпустить? Ведь он арестант!» (5; 49, 50). Эти *разные правды* при их включении в один диалог рожают абсурд. Аналогично на разных языках говорят прожившие совместную жизнь мужья и жены в рассказах «Жена» и «Супруга», художник и Лида Волчанинова в «Доме с мезонином», интеллигенты и крестьяне в «Новой даче», дядя Ваня и Серебряков в драме «Дядя Ваня», даже влюбленные друг в друга Вершинин и Маша в «Трех сестрах». Каждый живет в своем мире, верен своему характеру и слышит только себя.

Алогичность диалога может быть подчеркнута *гротеском*. В нем едва ли не преобладает лирическое начало, но не заглушает абсурдности ситуации. Такой гротеск встречаем в повести «Новая дача». Молодой хозяин купленной дачи после бесплодных попыток найти общий язык с крестьянами объявляет войну

деревне: «Я просил не собирать грибов у меня в парке и около двора, оставлять моей жене и детям, но ваши девушки приходят чуть свет, и потом не остается ни одного гриба. Проси вас или не проси, – это все равно. <...> Он остановил свой негодующий взгляд на Родионе и продолжал: – Я и жена относились к вам как к людям, как к равным, а вы? Э, да что говорить! Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас *презирать*». Придя домой, Родион так передает смысл речи барина: «Девочку чуть свет видел... Отчего, говорит, грибов не несут... жене, говорит, и детям. А потом глядит на меня и говорит: я, говорит, с женой тебя презирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел... Дай Бог здоровья... господи добрые, простоватые. – “*Презирать* будем...” – при всех обещал. На старости лет и... оно бы ничего. Вечно бы за них Бога молил» (8; 370).

Мы с детства знакомы с рассказом Чехова «Ванька» и, может быть, именно поэтому сочувствие мальчику мешает увидеть комическую основу сюжета, гротесковую ситуацию с большим масштабом обобщения. У сироты Ваньки Жукова одна родная душа на белом свете – дедушка. Только он может понять, как тяжело и горько сироте в чужих людях, пожалеть и помочь. Связаться с ним представляется мальчику единственным шансом выжить. Поэтому он и пишет письмо, функция которого, по определению, – связать отправителя с адресатом. Но Ванька посылает письмо без адреса, то есть что угодно, только не письмо. На свете нет адреса той силы, показывает писатель, которая могла бы защитить человека от его жестокой судьбы, и надежда на помощь откуда-либо и на понимание беспочвенна.

В форме трагикомического гротеска феномен непонимания предстает в рассказах «Горе», «Смерть чиновника», «По делам службы», «На святках», в повестях «В враге» и «Дуэль», в драме «Вишневый сад» и «Три сестры».

Перерастанию общего образа действительности в образ гротескный в художественном мире Чехова способствует жанровостилевая тенденция соединения трагического с комическим, особенно заметная в драматургии. Комедия и трагедия заключены автором в рамки одного целого, но сохраняют в нем свою от-

дельность, четкие границы. Читателю и зрителю оставлено ощущение нелогичности, непонятности основания, на котором они соединены. Это структура гротеска, фиксирующая абсурдность, отсутствие упорядоченной структуры самой действительности, предвещающая стилизованный гротеск Ж.-П. Сартра и А. Камю³.

Выше непонимание в художественном мире Чехова рассматривалось в рамках конкретных бытовых, психологических, социальных ситуаций. Причиной можно было считать случай, воспитание, характер, уровень развития личности, инерцию сложившихся классовых отношений, бюрократическую государственную систему. Настораживает, однако, сама частотность явления непонимания, хотя и представленная в разных вариантах. И настаораживает неслучайно. Постоянная повторяемость ситуации превращает ее в метафизическую величину, атрибут жизни человеческой. Маркером метафизической сущности феномена непонимания выступают перенос ситуации в границы универсального времени и пространства, неопределенность субъекта непостижимого абсурда жизни, фиксирование метафизической природы непонимания не только сознанием персонажей, но авторским сознанием посредством введения в косвенную речь персонажа слова повествователя.

Мужики в деревне, где учит крестьянских детей Марья Васильевна («На подводе»), «ей не верили; они *всегда* так думали, что она получает слишком большое жалованье... и что из тех денег, что она собирала с учеников на дрова и на сторожа, большую часть она оставляла себе» (8; 258). Старый сотский в затерянном среди российских просторов селе Сырне («По делам службы») объясняет московскому следователю Лыжину свою версию случившегося самоубийства местного земского агента и приходит к выводу: «Нескладно, ваше высокоблагородие, неправильно это самое и *не поймешь*, что оно такое *на свете*, господи милостивый» (8; 378). В рассказе «Случай из практики» владелица фабрики госпожа Ляликова в крайней тревоге за жизнь единственной

³ См.: Великовский С. И. В поисках утраченного смысла (Очерки литературы трагического гуманизма во Франции). – М.: Худож. лит., 1979. – С. 167.

дочери, тем большей тревоги, что доктора не находят признаков болезни, а что-то, что невозможно понять, лишает ее здоровья, делает несчастной. «Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи! Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтобы обучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашая для нее учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку, и теперь *не понимала*, откуда эти слезы, зачем столько мук, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение, *точно она упустила еще что-то* очень важное, чего-то еще не сделала, *кого-то* еще не пригласила, а *кого – неизвестно*» (8; 337). В «Даме с собачкой» читаем: «Анна Сергеевна и он [Гуров – Р. С.] любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было *непонятно*, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы самец и самка, которых *поймали и заставили жить* в отдельных клетках» (8; 405).

В ряде случаев субъект действия, неуправляемого и непостижимого с точки зрения целесообразности и логики, присутствует в виде конкретного образа, но образа внесоциальной, субстанциальной природы – Дьявола, образа стихии, т. е. хаоса как субстанции бытия. В сознании доктора в рассказе «Случай из практики» этот непонятный, иррациональный субъект действия, своеобразный распорядитель жизни человеческой, предстает в облике Дьявола, «той неведомой силы, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы... но в той... каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то *направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку*» (8; 341). В рассказе «Гусев» символом неподвластной человеческому разуму «логической несообразности» всего сущего выступает разрушительная стихия, заложенная в основу бытия. При

этом слово персонажа уступает место слову автора: «*Неизвестно, для чего шумят высокие волны. На какую волну ни помотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит, и гонит другую; на нее с шумом, отсвечивая своей белой гривой, налетает третья, такая же свирепая и безобразная. У моря нет ни смысла, ни жалости. Будь пароход поменьше и сделан не из толстого железа, волны разбили бы его без всякого сожаления и сожрали бы всех людей, не разбирая святых и грешных*» (6; 362). В рассказе «По делам службы» образ стихии, хаоса как модели бытия вырастает из размышлений следователя Лыжина о том, что невозможно понять смысл социального неравенства, обрекающего одних на «самое тяжелое и горькое» ради того, чтобы другим досталось «легкое и радостное». Мысли эти рождаются под вой метели, который преследует Лыжина во сне и наяву, и приводят его к выводу: «*Ну, какую тут можно вывести мораль? Метель и больше ничего...*» (8; 387).

Позднее русские и западные экзистенциалисты определяют эту увиденную уже Чеховым действительность как мир объективации, в котором нет субъектов, а лишь объекты действия.

Как известно, автор в творчестве Чехова часто доверяет высказывать собственную точку зрения своим персонажам. Но и в общем потоке мыслей персонажа можно различить авторское слово, стилистически в большей степени близкое слову повествователя и отличающееся более высоким уровнем обобщения⁴. Путь определения авторской позиции через сопоставление слова персонажа и повествователя под углом их стилистической характеристики автор как будто подсказывает нам в повести «Новая дача». Повесть заканчивается констатацией непонимания причины раздора деревни с молодыми хозяевами дачи. Это непонимание излагается в двух периодах текста. В первом оно предстает читателю в виде несобственно-прямой речи крестьян. Во втором – в форме прямой речи одного из мужиков. Но уже в первом периоде можно различить два отрезка текста по содержащемуся в нем уровню обобщения и приближению к литератур-

⁴ О субъектной организации произведения см.: *Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения.* – М. : Просвещение, 1972. – С. 32 – 33, 41 – 43.

ному стилю: «В их деревне, думают они, народ хороший, смиренный, разумный, Бога боится, и Елена Ивановна тоже смиренная, добрая, кроткая, было так жалко глядеть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, как враги? *Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только по-травы, уздечки, клещи и все эти мелочи, которые при воспоминании кажутся теперь таким вздором?* Почему с новым владельцем живут в мире, а с инженером не ладили?

И не зная, что ответить себе на эти вопросы, все молчат, и только Володька что-то бормочет.

– Что ты? – спрашивает Родион.

– Жили без моста... – говорит Володька мрачно. – Жили без моста и не просили... и не надо нам.

Ему никто не отвечает, и идут дальше молча, понуриив головы» (8; 372).

Нетрудно заметить также, что тот отрезок, который несет в себе будущее обобщение и стилистически дальше от разговорного стиля, ближе стилистически и семантически словам повествователя, завершающим каждый из периодов. Мы выделили его курсивом. Он представляет сознание автора. Второй период, представленный прямой речью одного из крестьян, стилистическим контрастом подтверждает принадлежность выделенного текста не крестьянам, т. е. автору. Автор, а не только герои чеховских произведений, фиксирует метафизическую сущность феномена непонимания как атрибута существования человечества.

Как следует из приведенного выше анализа творчества Чехова, феномену непонимания принадлежит важная роль в формировании экзистенциального характера художественного мышления писателя. С ситуацией непонимания прямо связан мотив «логической несообразности» жизни, по выражению Чехова, или абсурда, получивший распространение в литературе европейского экзистенциализма XX века, как и тема Сизифова труда.

Думается, прав В. Я. Линков, что мотив абсурдности бытия впервые получает существование в творчестве Чехова⁵. В рас-

⁵ Линков В. Я. Скептицизм и вера Чехова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. – С. 7.

сказе «Зеркало» Нелли видит, как умирает ее муж: «К чему это? Для чего? – спрашивает она, *тупо глядя* в лицо мертвого мужа. И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти» (3; 401). Подобное непонимание происходящего мучит профессора в повести «Скучная история», и даже преосвященному Петру в рассказе «Архиерей» не все понятно в логике общего миропорядка. Он инстинктивно отталкивает мысль о смерти: «...он веровал, но *все же не все было ясно*, чего-то еще недоставало, не хотелось умереть...» (8; 460).

Именно непонимание смысла происходящего предстает в художественном мире Чехова источником страха и ужаса и заставляет вспомнить известный труд С. Кьеркегора «Страх и трепет». В двух рассказах Чехова понятие «страх» вынесено в название («Страхи» и «Страх»), и это позволяет считать эти произведения программными в рамках названной темы. «Наша жизнь и загробный мир одинаково *непонятны и страшны*, – признается герой рассказа «Страх». – Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. <...> Когда я лежу на траве и долго смотрю на козьяку, которая родилась только вчера и *ничего не понимает*, то мне кажется, что ее жизнь состоит из *сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя*» (7; 185). Центральные персонажи обоих произведений видят источник страха в «непонятности» объекта восприятия, иррациональности, неразумности жизни: «Все *непонятное* таинственно и *потому страшно*» (4; 215); «*Страшно то, что непонятно*» (7; 184). Эту точку зрения можно считать разделяемой автором. В обоих произведениях ее субъектами являются рассказчики. В рассказе «Страхи» образ рассказчика не объективирован, и, следовательно, сознание рассказчика максимально приближено к сознанию автора; в рассказе «Страх» рассказчик объективирован, но жизненным опытом (а наличие его внесено в рассказ автором) подтверждает свою правоту.

Онтологический статус феномена непонимания порождает бесплодность попыток понять другого человека, логику социальной организации жизни, законы бытия, смысл смерти каждого индивидуума. Продолжительные споры, дополнительные аргументы своей правоты, бесконечное разъяснение своей позиции,

личный пример не могут снять непонимания (см., например, рассказы «Злоумышленник», «Темнота», «Беда», «Враги», «Княгиня», «Тяжелые люди», «Жена», «Попрыгунья», повести «Моя жизнь», «Новая дача» и многие другие). Гармония как венец понимания между людьми, человеком и обществом, личностью и мирозданием в подавляющем большинстве произведений Чехова оказывается недостижимой.

Ярким символом безуспешности что-то объяснить и вызвать отклик в душе другого, добиться понимания посредством слова можно считать известный краткий разговор между Гуровым и партнером по клубу, в котором фигурирует «осетрина с душком» (8; 398). Гротескным символом недостижимости понимания выглядят диалоги Соленого с Чебутыкиным и Андреем в драме «Три сестры»: «Чебутыкин...И угощение тоже было настоящее кавказское: суп с луком, а на жаркое – чехартма, мясное. Соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение, вроде нашего лука. Чебутыкин. Нет-с, ангел мой. Чехартма не лук, а жаркое из баранины. Соленый. А я вам говорю, черемша – лук. Чебутыкин. А я вам говорю, чехартма – баранина» (9; 565). Аналогично построен диалог Соленого с Андреем (9; 566). Наконец, едва ли не самым выразительным символом тотального непонимания звучит повторяющаяся абсурдная реплика старого Чебутыкина, отказывающегося от самой попытки что-либо понять: «Тара...ра...бумбия...сичу на тумбе я...» (9; 586, 589, 600, 601).

Если же чеховским персонажам и дано понять себя, другого, безжалостную самодостаточность стихийного, иррационального характера бытия, то понимание приходит под воздействием критической ситуации – приближения смерти, потери близкого человека – и слишком поздно, когда исправить уже ничего нельзя. Такое горестное, ни к чему не ведущее понимание озаряет Ольгу Ивановну в «Попрыгунье», профессора в «Скучной истории», Якова в «Скрипке Ротшильда», Павла Андреевича в «Жене», Алешина в рассказе «О любви», дядю Ваню в драме «Дядя Ваня».

Но художественный экзистенциализм Чехова, при его типологической близости европейскому экзистенциализму XX века, имеет отличающую его особенность, которую можно определить

как антиномичность авторского сознания. Она была акцентирована Достоевским в романе «Братья Карамазовы» в главе «Pro et contra». Но Достоевский, если принять во внимание задуманное продолжение романа, намеревался антиномичность снять, в то время как русское художественное сознание рубежа двух столетий и первой трети XX века антиномичность культивирует. Наличие в творчестве Чехова полярных, но равно близких автору точек зрения давно отмечено литературной критикой и наукой и чаще всего объясняется, если не принимать во внимание известную статью Л. Шестова «Творчество из ничего», эволюцией мироощущения Чехова «в сторону более бодрого, оптимистического восприятия действительности»⁶. Мне представляется подобная интерпретация неубедительной и, наоборот, очень точным – определение А. П. Чудакова художественной системы Чехова как адогматической, а самого автора – как «человека поля»: «Главное... – несведенность двух высказываний, равновозможность для их автора обоих противоположных взаимоисключающих мнений. Обе точки зрения допустимы равно: объект мысли является феноменом такой сложности, что может быть описан только при помощи двух полярных характеристик, причем каждая в отдельности не может претендовать на полноту описания, но только – по принципу дополнительности – обе вместе»⁷. Чудаков рассматривал эту особенность художественного мышления Чехова на материале его отношения к вопросу веры. Но антиномичный принцип мышления писателя распространяется и на отношение к вопросу о будущем человечества, прогрессу, культуре, роли идеи в судьбах общества и личности⁸. Антиномичен в художественном мире Чехова и феномен непонимания.

Выше анализ многочисленных и разных ситуаций непонимания в художественном мире Чехова свидетельствовал о том, что барьер непонимания не устраним усилиями личности. Однако

⁶ Родионова В. М. Примечания // Чехов А. П. Собр. соч. : в 12 т. – Т. 8. – М. : Худож. лит., 1962. – С. 571.

⁷ Чудаков А. П. «Между “Есть Бог” и “Нет Бога” лежит громадное поле...» Чехов и вера // Новый мир. – 1996. – № 9. – С. 187.

⁸ См.: Спивак Р. С. Чехов и экзистенциализм // Философия Чехова. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 2008. – С. 201 – 208.

в небольшом числе произведений писателя авторская точка зрения на проблему понимания кардинально иная: есть несколько персонажей, которые могут преодолеть непонимание, изменить свою жизнь и себя, согласно новому взгляду на себя и окружающих. Никитин в «Учителе словесности» осознает бездуховность, пошлость своего образа жизни и совершает решительный шаг к спасению своего «я», уходя из дома. Гуров в «Даме с собачкой» впервые за долгую жизнь испытывает глубокое чувство и видит в женщине «то единственное счастье», без которого не может жить. Кардинально изменяется Лаевский в повести «Дуэль», меняется его видение мира, образ жизни, отношение к Надежде Федоровне и отношение к нему окружающих. С ужасом «отшатывается» «от прежнего самого себя», с его «не настоящей душой», Павел Андреевич в рассказе «Жена», возвращая в свою жизнь смысл и покой. При этом сам процесс понимания не рационален и в изображении Чехова скрыт от посторонних глаз. Его эвристичность Чехов неизменно и сознательно акцентирует. «...Под этот неистовый шум, – читаем о «превращении» главного героя в рассказе «Жена», – я вспоминаю все подробности этого странного, дикого, *единственного* в моей жизни дня, и мне кажется, что я в самом деле *с ума сошел* или же *стал другим человеком*. Как будто тот, кем я был до сегодняшнего дня, мне уже чужд» (7; 47). Всеобщее удивление вызывает перемена в Лаевском («Дуэль»), фон Корен признается, что никак «*не мог ее предвидеть*». Никитин («Учитель словесности») записывает в своем дневнике: «Где я, боже мой?! <...> Бежать отсюда, *бежать сегодня же*, иначе я сойду с ума!», потому что накануне, когда он ложился, как обычно, в постель, «ему страшно, до тоски *вдруг* захотелось в... другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, утомляться, страдать...» (7; 403, 401). Неожиданно совершается душевный переворот в Гурове («Дама с собачкой»): дважды автор использует наречие «вдруг» и добавляет к нему «теперь» (8; 399 – 401).

Из того, как Чехов изображает выход героев из ситуации непонимания, опуская мотивировку и сам процесс преодоления отчуждения, свертывая его до точки решения, следует вывод,

что писатель хочет сосредоточить внимание читателя более всего на результате: вопреки нашему отчаянию от того, что мы видим каждый день, и одновременно с ним автор все же надеется, что преодолеть тотальное непонимание и царящую в мире дисгармонию в силах человечества. Художественный мир писателя свидетельствует, что процесс преодоления непонимания сугубо индивидуален и самостоятелен. Каждый должен сам понять себя и свои обязанности перед другими, выстроить свою систему жизненных ценностей. Здесь бессильны уговоры, внушения и «общие идеи», какими бы благородными они ни были, потому что они – чужие⁹. Поэтому просьбы Лизы и Кати в «Скучной истории» к профессору о помощи, надежда, что он, умный, скажет им нечто, что даст возможность понять главное в их жизни, просто лишены смысла. В произведениях Чехова все такого рода «общие» идеи, претендующие на то, чтобы суметь помочь всем, декларируемые его персонажами как оправдание жизни, автором неизменно дискредитируются: Чехову чужда мысль о возможном общем рецепте спасения. Так, идея технического и научного прогресса, развиваемая доктором Благово («Моя жизнь»), снижается его эгоистическим, нравственно безответственным поведением и тем исключительным вниманием, которое он уделяет своему гардеробу. На идею исторического поступательного движения общества к торжеству красоты, справедливости и счастья каждого, декламируемую Вершининым («Три сестры»), бросают иронический свет авторские ремарки и реплики Маши, как и некоторые фразы самого Вершинина: «Ольга (*утирает глаза*). Что ж это Маша не идет?». Вершинин. «*Что же еще Вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать?.. (Смеется.)* Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем свет-

⁹ См.: Корсемова Р. «Черный монах» и относительность границы между нормальностью и сумасшествием // Диалоги с Чехов: 100 години по-късно. – София : Факел, 2004. – С. 122 – 126. О пагубности влияния «внешних» идей на материале анализа «Огней» см. также: Линков В. Я. Скептицизм и вера Чехова. Цит. соч. – С. 21.

лой. (*Смотрит на часы.*) Пора мне, пора! Прежде человечество было занято войнами...теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить; человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее! (*Пауза.*) <...> (*Смотрит на часы.*) Мне, однако, пора <...>. Маша (*смотря ему в лицо*). Прощай <...>. (*Маша сильно рыдает.*) <...> Маша (*сдерживая рыдания*). У лукоморья дуб зеленый... Я с ума схожу <...>. Неудачная жизнь... ничего мне теперь не нужно...» (9; 597). Перед нами самая драматическая сцена во всей пьесе – сцена прощания с последними надеждами и иллюзиями, может быть, с самой жизнью. Но такова она только для Ольги и Маши. Монолог же Вершинина в контексте всей сцены начинает выглядеть безответственной, пустой болтовней, призванной заполнить время ожидания Маши, которая где-то досадно задерживается. Вершинин говорит о будущем, не вдумываясь в свои слова, «на автомате», соответственно давно выбранному им амплу романтика-идеалиста.

Ироническому снижению народнической идеи малых дел способствует набившая оскомину со школы басня И. А. Крылова «Ворона и сыр», ассоциирующаяся с азами начального образования (8; 103). Революционную и либеральную идеи в «Вишневом саде» и «Невесте» дискредитируют их носители. Аня проявляет равнодушие к тому самому бедному человеку, интересы которого революция декларирует. Петя Трофимов в 30 лет еще не знает любви, т. е. лишен жизненной силы, – автор маркирует безжизненность идеи, предупреждает читателя о сомнительности ее блага для человека. В «Невесте» образ носителя либеральной идеи, Саши, отмечен знаком приближения смерти: у юноши бледные, холодные пальцы, он смертельно болен.

Неверие Чехова в спасительность для личности «общей» (в смысле – чужой, не ее собственной, «внешней», по выражению Чехова) идеи находит выражение в диалоге Маши с Ольгой о Машинной «незаконной», т. е. нарушающей общие представления о нравственности, любви к Вершинину: «Маша. Глухая ты, Оля. <...> Не хорошо это? <...> Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо и все так понятно, а как сама по-

любимый, то и видно тебе, что никто ничего не знает и *каждый должен решать сам за себя...*» (9; 582). Практически то же самое говорит профессор в «Скучной истории». Он тоскует об общей идее как стержне личности. Но такой стержень в художественном мире Чехова создается только потайной внутренней духовной работой человека. Вспомним, какое место уже после Чехова, или вслед за ним, занимал мучительный поиск путей обретения единства с миром и самим собой в духовной жизни и творчестве русских поэтов-символистов.

Антиномичность феномена непонимания принимает разные формы. Она находит выражение также в способности некоторых душ жить в гармонии с самим собой и окружающим миром без потребности понимания его разумом, без внутреннего напряжения и борьбы с собой, благодаря глубокой вере в целесообразность Божьего мироустройства и создание Творцом человека по Божьему подобию. Таких персонажей в творчестве Чехова очень немного, но автор испытывает к ним острый интерес, их образы согреты лиризмом и часто теплым юмором. Оба компонента значимы. Это люди народной православной веры и провинциальные служители церкви: Липа, Прасковья, Костыль и старик-крестьянин в повести «В овраге», Ольга Чикильдеева в рассказе «Мужики», дьякон в «Дуэли», отец Христофор в «Степи», преосвященный Петр в «Архиерее». Для них обычно не существует проблемы понимания, как и метафизического страха и ужаса, а также чувства одиночества, им чужды скука, тоска, обида, агрессивность, порождаемые непониманием. Им в произведениях Чехова даны радость жизни и непоколебимая доверчивость по отношению к людям и судьбе. Обращусь, для примера, лишь к одному произведению – «В овраге». Потеря ребенка не озлобляет Липу: она не пытается свести счеты с Аксиньей, не держит зла на старого Цыбукина. Горе не замутняет ее души, не разрушает согласия с миром и Богом. Ни она, ни Прасковья не понимают, почему и зачем так устроен мир, но не подвергают необходимости подобного устройства сколько-нибудь глубокому сомнению. Удивительно передано Чеховым состояние органического, просветляющего душу слияния с универсумом, которое испытыва-

ют Липа и Прасковья по пути с богомолья и которое не требует от них никаких усилий, а сам универсум не вызывает никаких мучительных вопросов. «...Быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то; им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз [т. е. в дом Цыбукиных. – Р. С.] все-таки надо» (8, 431). Поразительно в этом плане и мироощущение Липы и Прасковьи ночью, в сарае, где они становятся свидетелями признания Аксиньи, что она расплатилась с косарями фальшивыми рублями.

« – И зачем ты отдала меня сюда, маменька! – проговорила Липа.

– Замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено.

И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью.

И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули» (8; 434).

Способность Липы обходиться без «понимания» в собственном смысле этого слова, строя свои отношения с людьми на душевном тепле и доверии к Божьему подобию любого человека, Чехов заостряет до гротеска. Одна в поле, на темной ночной дороге, под небом со звездами, с мертвым ребенком на руках, Липа неожиданно слышит человеческую речь и видит телеги и двух человек. «– Вы святые? – спросила Липа у старика. – Нет. Мы из Фирсанова. – Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягло. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые. – Тебе далече ли? – В Уклееве. – Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево» (8; 443). Автор отмечает, что взгляд старика выражал «сострадание и нежность». Можно сказать, что эти чувства излучает и приведенный чеховский гротеск. В нем есть

и лиризм, и юмор. Автор любит героев, но все же смотрит на них извне их мира. Они воспринимают свою жизнь как миф, авторскому сознанию такое восприятие мира, может быть, к его сожалению, недоступно. Старик делится с Липой своим, народным, опытом приятия людей и жизни «в обход» пониманию происходящего. У Липы, по ее выражению, «сердце трясется», она недавно теряла сознание у постели умирающего сына, и даже в ее сознании возникает вопрос, «зачем маленькому перед смертью мучиться», «когда у него нет грехов». «— А кто ж его знает! — ответил старик. <...> — Всего знать нельзя, зачем да как. — Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух летать способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает». Жизненная философия Вавилы укладывается в простую, но необыкновенно емкую формулу: «Это ничего, милая. Божья воля» (8; 443, 442).

Есть в художественном мире Чехова еще один вариант антимичности феномена непонимания — ситуация, когда непонимание спасительно для счастья, даже для жизни. Такой вариант встречается редко, но все же встречается. В рассказах «Ненастье» и «Живая хронология» непонимание женой неверности мужа и мужем — неверности жены сохраняет семью. Для Наденьки в рассказе «Шуточка» «самым счастливым, самым трогательным и прекрасным воспоминанием в жизни» остается воспоминание о словах любви, непонятно кем произнесенных, — молодым человеком или ветром (4; 47). Кроме того, сама ситуация непонимания в художественном мире Чехова, как это ясно из всего сказанного выше, может быть представлена автором и в трагическом, и в комическом духе. Наконец, есть в творчестве писателя рассказ «Белолобый», где ситуация непонимания спасает жизнь всем ее участникам: щенку, не понимающему, что волчица близка к решению съесть его, волчатам, не понимающим, кем является собака для волка; непонимание сторожем, кто виновник переполоха в овчарне, сохраняет жизнь и волчице, и собаке.

Феномен непонимания составляет органическую часть целостной художественной системы Чехова и демонстрирует ее важней-

шие особенности. Помимо рассмотренных выше особенностей феномену непонимания принадлежит едва ли не первостепенная роль в формировании многополярной, полиголосной структуры художественного мира писателя. Но это – тема отдельного разговора.

И. В. Кондаков,

кандидат филологических и доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории культуры РГГУ, зам. председателя Научного совета РАН «История мировой культуры», действительный член РАЕН

По берегам «Русского моря»

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос.

А. С. Пушкин. Клеветникам России

Этот вопрос волновал, по-своему, и славянофилов, и западников; он занимал русских мыслителей почти одинаково – как в XVII, так и в XXI веке. Сам драматизм пушкинской формулировки выдает и трудность его постановки, и трудность разрешения, и невозможность ответить на него – ясно и просто, и необходимость найти на него ответ. Впервые этот вопрос встал передо мной во весь рост под влиянием Татьяны Федоровны Пирожковой – ее лекций, ее публикаций.

1. У Пермских берегов

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..

А. С. Пушкин. Клеветникам России

Да, нас немало, – тех, кто в стенах филфака Пермского университета и журфака Московского – учился у Татьяны Федоровны Пирожковой. Наверное, несколько сотен, а может быть, и тысяч начинающих филологов или журналистов. Полагаю, что и до Китая дотянулись ученики Пирожковой, если и у меня уже есть ученики – и в КНР, и на Тайване.

Я стал учеником Татьяны Федоровны в 1966 году, сразу же после поступления на филфак Пермского университета. Читала нам она тогда курс фольклора, или, как тогда предпочитали его называть, – русского устного народного творчества. И, надо сказать, «дела давно минувших лет» сразу предстали перед нами, первокурсниками-филологами, как животрепещущая реальность, как проблема, требующая своего осмысления.

Татьяна Федоровна была в наших глазах настоящей легендой: она совсем недавно возвратилась с «Острова Свободы»... И вдруг – русский фольклор! Когда мы ненароком побывали в небольшом, чисто русском домике в Мотовилихе, где Татьяна Федоровна жила с родителями, нам стало ясно, что здесь «дышит почва и судьба». И мы с головой окунулись в пучину русской фольклористики.

Лекции Татьяна Федоровна читала увлеченно, даже восторженно. Позднее я понял, что эта манера чтения была усвоена Татьяной Федоровной у нашего с ней общего Учителя – профессора Риммы Васильевны Коминой, буквально «горевшей» во время лекций, свободно импровизировавшей, но не отступавшей от жесткой логики заранее продуманного плана. Чего только мы ни узнали из лекций Татьяны Федоровны! И об открытии русскими славянофилами русского фольклора, и о взглядах на фольклор братьев Аксаковых, братьев Киреевских, А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина, В. И. Даля и А. Ф. Гильфердинга, О. и В. Миллеров, и о том, что многие славянофилы вовсе не были русскими людьми. Увлечение текстами русского фольклора внезапно охладилось дискуссией о том, жили ли русский фольклор в 60-е годы XX века. Довольно дружно мы согласились с тем, что русский фольклор мертв и представляет собой культурный реликт, некое археологическое ископаемое.

А советский фольклор – это какое-то искусственное образование, смесь политической конъюнктуры со стилизацией, часто неумелой, доморощенной (новины, частушки, рабочие песни, фольклор Великой Отечественной...).

Вскоре на фольклорной практике, возглавляемой Татьяной Федоровной, мы сами убедились в справедливости этой гипотезы. Фольклор мы собирали в далеких уголках Пермской области, на Верх-Язьве. Дальше шли лагерь и Уральские горы. На практике мы узнали много интересного: и о раскольничьих молельных домах, и о местных нравах и обычаях, и о тропе, по которой Богородица пересекала Уральский хребет. Слышали мы рассказы участников Гражданской войны о том, как воевали с Колчаком (постепенно выяснилось, что «с Колчаком» означало не «против Колчака», а «вместе» с ним). Поняли, почему на Уральском Севере так популярна песня: «По Дону гуляет...», – все это были потомки раскулаченных с Тихого Дона, шолоховские персонажи.

Чего мы не обнаружили на фольклорной практике – так это русского фольклора. Записанные нами песни были помесью городского романса, массовых советских песен и искаженных отголосков полузабытого дореволюционного фольклора – «вселенская смазь». Если что и осталось самобытного, так это были топонимические легенды, которых, впрочем, никто и не собирал до нас, потому что было неясно, в какие жанровые ячейки это можно уложить. Словом, фольклорная практика дала массу новых впечатлений, но и множество разочарований. Последним из них было осознание того факта, что носителями русского фольклора в этом районе были либо ссыльнопереселенцы с Юга, толком не знавшие ни донского фольклора, ни северного, либо аборигены – верх-язьвенская разновидность коми-пермяков, т. е. вовсе не русские люди, не знавшие родного фольклора и довольствовавшиеся русским, позаимствованным у раскулаченных донских казаков, сосланных в Пермь.

Потом Татьяна Федоровна, уже москвичка, руководила нашей дипломной практикой в Москве, водила нас на экскурсию в ЦГАЛИ, обустроивала в залах Ленинской библиотеки. Для меня это было тоже важным стимулом: думаю, уже тогда у меня зародилась смутная мысль – продолжить обучение в аспирантуре в

Москве. Однако прошло еще семь лет, прежде чем эта мечта осуществилась. И мы снова встретились с Татьяной Федоровной на факультете журналистики МГУ. К этому времени она была уже известным исследователем славянофильства и славянофильской журналистики. Мой научный интерес к славянофильству был еще далеко впереди¹⁰.

2. Вокруг «Русского моря»

Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

А. С. Пушкин. Клеветникам России

Славянофильство и западничество были первыми философскими течениями в русской культуре, которые заявили о себе как оригинальные и национально самобытные, обратив на себя внимание европейских философов. Ни в одной стране Европы, пережившей Просвещение, не сложилось традиции философствования, основанной лишь на национальном самоутверждении или, напротив, национальном самоотрицании, лишь на сопоставлении или противопоставлении «своего» и «чужого». Только в России, с ее вторичным и подражательным, слабо подготовленным Просвещением, одновременно с процессами национального самосознания сложилось противоречивое, амбивалентное, романтическое отношение к Западу как центру культурного универсума, одновременно притягательному и отталкивающему¹¹.

¹⁰ См., например: *Кондаков И. В.* «Раздвоение единого» (Две линии в развитии русской культуры) // Вопросы литературы. – 1991. – № 7; *Он же.* Контрапункт: две линии в развитии русской культуры // Русская литература. – 1991. – № 3; *Он же.* Славянофилы и русские демократы в истории русской культуры // Славянофильство и современность. – СПб.: Наука, 1994.

¹¹ См. подробнее: *Лотман Ю. М.* Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении // *Он же.* Избранные статьи: в 3 т. – Таллинн: Александра, 1992. – Т. 1. – С. 127 – 128.

Полемика, развернувшаяся вокруг России и Европы как единства или противоположностей, и стала почвой для философской саморефлексии русской культуры под названием «западничества и славянофильства».

Несмотря на выраженное сочувствие представителей одной концепции – западников – к Западу (Европе), а представителей другой – славянофилов – к Востоку (России), несмотря на пафос апологии национальной самобытности и исключительности у славянофилов и, напротив, пафос национального самоотречения и утверждения единого пути мировой культуры и цивилизации у западников, – в обеих концепциях культурного и цивилизационного развития было много общего: и ощущение *выделенности*, обособленности России и русской культуры среди других наций и культур, и попытки объяснить это теми или иными историческими закономерностями (через категории отсталости, прогресса, традиции, самобытности, народности, общего и особенного в национальном развитии), и стремление тем или иным способом объяснить и преодолеть существующий разрыв между Западом и Востоком и в то же время оправдать его и закрепить.

Прав был А. Герцен, который писал в некрологе К. Аксакову, что западников и славянофилов объединяла «одна любовь, но не одинакая» – чувство безграничной любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. Противоречивое единство западничества и славянофильства Герцен сравнивал с мифологическим двуликим Янусом или двуглавым орлом, смотрящим в разные стороны, несмотря на то, что «сердце билось одно».

Русские западники, как и русские славянофилы, были идеалистами – в буквальном значении этого слова: одни идеализировали Запад, другие – Россию; те и другие предлагали заведомо утопические пути разрешения реальных проблем русской культуры и российской действительности. Русский западник был очень мало похож на реального «человека Запада» своей эпохи и, как правило, очень плохо знал Запад: он конструировал «идеальный Запад» по контрасту с наблюдаемой им русской действительностью. Большинство западников (П. Чаадаев и В. Белинский, К. Кавелин, Н. Чернышевский и др.) либо вообще не бывали за

границей, либо побывали на Западе считанное число раз (один или два), зато хорошо знали свое отечество и критически к нему относились. Аналогичным образом обстояло дело с представлениями о России славянофилов, которые были как раз именно «людьми Запада», прекрасно владели европейскими языками, гораздо лучше знали Европу (где они учились и подолгу жили), нежели собственную родину, которую они идеализировали и поэтизировали, глядя на нее из своего «чудного далека» (как выразился Белинский, характеризуя позицию Гоголя, писавшего о России из Италии).

Славянофилы апеллировали к «России», столь же идеальной, фантастической, вымышленной, как и «Запад» – в мечтах западников. Собственно, и «Запад», и «Восток» (Россия) были для русских мыслителей лишь условными знаками, символами «своего» и «чужого», зеркально отображающими полярные представления о «реальности», весьма далекие от самой реальности, были ее концептами, теоретическими моделями. Взаимоисключающие трактовки западниками и славянофилами и России, и Европы как «исключительных» явлений культуры, способных в конечном счете преодолеть реальность и радикальным образом изменить весь мир, выдавали неискоренимый романтизм и тех, и других.

Столкновение русского западника с реальным Западом, как правило, сопровождалось столь же трагическим разочарованием, как и столкновение их противников с реальной русской действительностью. Самая же полемика западников и славянофилов, принимавшая подчас очень резкие формы, во многом определялась *взаимодополнительностью* этих направлений русской общественной мысли: идейные противники нуждались друг в друге как в материале и поводе своего самоутверждения и борьбы с оппонентами; они только и могли существовать «в паре» – как бинарная смысловая структура русской культуры XIX в., как типичный для русской культуры «*взаимоупор*» (термин С. Аверинцева, предложенный им для характеристики византийской культуры), поддерживаемый резкостью полемики и доказательностью философского спора, с одной стороны, и незавершенностью диалога, неразрешимостью идейного противоборства, с другой.

Славянофильство и западничество были в России национальной формой романтизма, своеобразие которого заключалось именно в «парности» соответствующих устремлений и идеалов. Однако какие бы идеи и концепты ни избирались русскими романтиками, какие бы развернутые теории национальной или всемирной культуры ими ни выстраивались, их идеалы были в равной мере оторваны от действительности. Если западничество было безоглядно устремлено в идеальное будущее России, приобщившейся к уровню «мировой цивилизации» (в лице Европы), то славянофильство опрокидывало Россию и русскую культуру в столь же идеальное их прошлое, когда национальная самобытность еще не подвергалась столь разрушительным испытаниям и «чужеродным» культурным «прививкам». Современность же мало занимала и тех, и других: для того чтобы адекватно рефлексировать современность, нужно было быть куда более трезвым реалистом и прагматиком; между тем и славянофилы, и западники (в том числе радикальные западники левого толка) были по преимуществу мечтателями. Неосуществимость как того, так и другого идеалов была очевидна уже современникам теоретиков обоих лагерей, если они не были предубеждены в пользу какой-либо из этих двух противоборствующих концепций национальной самоидентичности. Но и взаимная критика западников и славянофилов, подчас весьма резкая и несправедливая, строилась прежде всего на изобличении утопизма и отвлеченного схематизма друг друга.

Сама «действительность», как ее понимали и как пропагандировали, с одной стороны, славянофилы, с другой – западники, была теоретически сконструированной, заданной (в соответствии с изначально облюбованным идеалом) и была весьма далека от реальной жизни. От личности требовались сверхусилия для воссоздания действительности в соответствии с высокими принципами и заявленными идеалами. По существу, «действительность», как ее моделировали западники и славянофилы, представляла собой также некий идеальный концепт реальности, тенденциозный и абстрактный, представляя собой искусственную конструкцию, своеобразно интерпретированную каждой из участвующих в полемике сторон.

Так, славянофилы, апеллируя к истории, доказывали, что возникновение государственности на Руси складывалось мирным образом, в то время как на Западе – завоеванием, насильственно; отношения между сословиями на Руси были естественные, свободные и любовные, а в Европе – договорные, враждебные и формальные; русская церковь не была смешана с «мирскими целями», а западная – соединилась с государством. Подобным же образом рассуждались власть и суд, семья и быт, личность и коллектив, причем каждый раз преимущества нравственного или общественного уклада склонялись в сторону России и славянства. Между тем западники, подчас на тех же самых примерах, доказывали обратное: что Россия либо ничем не отличалась от Европы в лучшую сторону, либо во всех отношениях отставала от нее. Каждый раз и культура, и история интерпретировались тенденциозно и субъективно, что лишь усиливало идейный спор и философскую конфронтацию дискутирующих сторон.

Своеобразие русских романтиков того и другого крыла заключалось в том, что романтические устремления в том и в другом случае сочетались с решением просветительских задач (недаром так много теоретизировали о просвещении – русском, европейском, народном и светском – и славянофилы, и прозападно настроенные радикалы; и утопизм романтический соединялся с утопизмом просветительским, тем самым как бы «удваивались» идеализм и «беспочвенность» затяжного спора).

Впрочем, именно то, что участники спора о путях развития России и русской культуры апеллировали к одной и той же действительности в ее национальной специфике, которой все они были по-своему не удовлетворены, коренного преобразования которой в ту или иную сторону жаждали, подкрепляя свои стремления ориентацией на свои романтические и просветительские идеалы, – не только их разделяло (в периоды обострения дискуссий и взаимно подогреваемого полемического ожесточения спорящих), но нередко и объединяло. В эти моменты обнаруживались «точки схождения» двух линий классической русской культуры, собственно, и доказывавшие стороннему наблюдателю, что перед нами не две разные культуры, а две стороны одной

культуры, хотя и противоречивой, драматически раздвоенной, подчас расколотой интерпретациями.

Очевидно, поляризация основополагающих идей, принципов, тенденций в конкретной истории культуры («бинарного» типа) не может длиться бесконечно, с одинаковым напряжением и пафосом, в форме безысходной конфронтации. Наступают моменты, когда «энергия противостояния» как бы иссякает и острое противоборство взаимоисключающих тенденций сменяется тягой к сближению, «снятием» противоречий, «сглаживанием» водораздела между противоположностями. Столкновение культур, как известно, – всегда приводит к диффузии идей, ибо противники хотя и по-разному решают выдвигаемые эпохой проблемы, но это одни и те же проблемы¹². Именно так происходило во взаимоотношениях между западничеством и славянофильством: когда предлагавшиеся оппонентами решения утрачивали свою актуальность или подтверждали свою несбыточность, утопизм, на первый план выступали сами проблемы России, единство и нерешенность которых сближали воюющие стороны. Единство предмета обсуждения в конечном счете оказывалось значительнее и важнее, нежели методы и приемы его осмысления, его интерпретации и оценки идейными противниками.

Западничество и славянофильство иногда кажутся какими-то стабильными и неизменными координатами русской общественной мысли, «интеллектуальными оковами», из которых она и стремится как-то вырваться, и не может это осуществить, все время возвращаясь к исходной дилемме русской истории Нового времени. На протяжении двух последних веков, а если отвлечься от самих этих ключевых понятий русской культуры, гораздо дольше, почти с середины XVII в., русская общественная мысль оказывается расколотой на два непримиримых идейных лагеря, между которыми практически нет никакого «зазора», никакого смыслового «промежутка», ничего «третьего» – практически до настоящего времени.

¹² См.: Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских реформ // Панченко А. М. О русской истории и культуре. – СПб. : Наука, 2000. – С. 60.

Более того, любая попытка выйти за пределы этой оппозиции приводит нас либо в «болото» равнодушных и непричастных к самой русской общественной мысли; либо в область такой мысли, которая не рефлексирует ни русскую культуру, ни российскую цивилизацию, ни то место, которое они занимают в мировом сообществе и всемирной истории. Между тем практически любая попытка культурно-философской рефлексии России и ее культуры – в историческом или современном контексте – возвращает нас к исходной дилемме и вынуждает присоединиться к той или иной из двух идеологических позиций, т. е. занять заведомо пристрастную и тенденциозную точку зрения в рассмотрении данной бинарной конструкции.

Если при рассмотрении западничества и славянофильства не занять какую-то *надрефлективную* точку зрения¹³, не выработать своего рода «взгляд сверху», то любая историко-философская рефлексия с необходимостью предстанет одной из разновидностей или позднейших модификаций либо западничества, либо славянофильства и, соответственно, другой из двух членов этой интеллектуальной оппозиции предстанет в свете интерпретаций и оценок, уже сформировавшихся на противоположном полюсе диады. Фактически именно это и происходит на протяжении без малого двух столетий во взаимоотношениях между всеми последователями, продолжателями и эпигонами западничества и славянофильства. В результате воспроизводится практически одна и та же система конфронтаций русской общественной мысли, одна и та же логика идейного раскола в российском обществе.

Выдающийся исследователь российского общества А. С. Ахизер, ныне, увы, покойный, отмечал, что в XIX веке раскол российского общества «проник в духовную элиту. Произошел *раскол самосознания*, проявившийся прежде всего в *расколе духовной элиты*. В результате рефлексии реального раскола сознания она предложила две противоположные его версии: *славянофильство* и

¹³ См. подробнее: Кондаков И. «Нещадная последовательность русского ума» (Русская литературная критика как феномен культуры) // Вопросы литературы. – 1997. – № 1. – С. 143 – 150.

западничество»¹⁴. Длительное идейное противостояние западничества и славянофильства было симптоматичным: «Славянофилы и западники воплощали раскол своей неспособностью к синтезу расколотых частей самосознания. Борьба этих двух течений русской элитарной мысли свидетельствовала о том, что два типа конструктивной напряженности обратились друг против друга и на элитарном уровне, что духовная элита оказалась неспособной дать власти и оппозиции реальное нравственное основание для конструктивных решений, преодоления раскола»¹⁵.

До тех пор, пока российское общество находится во власти тотального раскола, в нем будут жить и укрепляться предпосылки для его рефлексивного отображения в виде различных историко-типологических и функциональных версий западничества и славянофильства (или любых подражаний им). Поэтому Ахиезер был глубоко прав, когда утверждал, что «борьба славянофильства и западничества – не эпизод в истории духовной жизни России. Она – модель жизни духа в расколотом обществе. Принципиальная возможность синтеза заключалась в амбивалентности славянофильства и западничества как амбивалентности полюсов самосознания»¹⁶. Однако именно амбивалентность западничества и славянофильства, в глубинном их понимании, не была ими осмыслена и адекватно понята. «Славянофильство и западничество не осознали себя как равноправные взаимопроникающие голоса диалога»¹⁷.

Одну из первых попыток переосмыслить западничество и славянофильство как амбивалентное целое, выражающее глубинные интенции русской культуры, предпринял, вслед за Ап. Григорьевым, Ф. М. Достоевский. Великий писатель и мыслитель видел разрешение дилеммы, остро стоящей перед русской культурой и Россией (с одной стороны, самодовлеющего европеизма, а с другой, – столь же самоценного утверждения русской и славянской

¹⁴ Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Новый хронограф, 2008. – С. 226.

¹⁵ Там же. – С. 233.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

самобытности), прежде всего в «главнейшей способности нашей национальности» – в «способности всемирной отзывчивости»¹⁸. Впрочем, добавлял к сказанному Достоевский, «не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов»¹⁹. Оппозиция западничества и славянофильства, по Достоевскому, должна разрешиться в «самом жизненном воссоединении», в «единении всечеловеческом», к которому, по его словам, устремился в XIX веке русский народ.

Эти глобальные устремления (*глобалитет*) России, т. е. «готовность и склонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода», Достоевский считал объективной, исторически неизбежной альтернативой идейно-цивилизационному расколу русского общества и русской интеллигенции на западников и славянофилов. «Да, назначение русского человека, – восторженно восклицал Достоевский, – есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, *всечеловеком*, если хотите». «...Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей»²⁰. «Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено...»²¹. Гениальная интуиция Достоевского подсказала наиболее простой и радикальный выход из ситуации, казавшейся безысходной, – всемирность, глобальность. Уже в этом масштабе противоположности западничества и славянофильства терялись, утрачивая исторический смысл.

В XIX веке казалось, что первая ступень движения русской культуры к «всемирности» – *славянство* (восточное, южное, за-

¹⁸ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. – Т. 26. – Л., 1984. – С. 145.

¹⁹ Там же. – С. 146.

²⁰ Там же. – С. 147.

²¹ Там же. – С. 148.

падное, а там и до Европы рукой подать!). И славянофилы, и западники – по-своему – могли торжествовать: с точки зрения первых, без славянства русские могли оказаться один на один с Западом, а вместе с ним Россия была непобедима для Европы; с точки зрения западников, посредство славян, напротив, облегчало вхождение русских в Европу и объединение с ней. XX век развеял все эти надежды... Связь между «Русским морем», «славянскими ручьями» и европейским материком оказалась совсем не прямой, а посредничество между русской культурой и всем остальным миром – зыбким и мнимым.

3. «Спор славян между собою»: истоки и судьба

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозой
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре <...>?

А. С. Пушкин. Клеветникам России

Среди тех, кто пытался встать «над бездной» и преодолеть взаимополемичность западничества и славянофильства, были не только писатели, как Достоевский, не только философы, как Вл. Соловьев, или публицисты, как В. Розанов. Среди тех, кто оказался «*между*» западниками и славянофилами, был и великий русский историк В. О. Ключевский.

Ключевский не любил публично дискутировать с коллегами на философско-исторические темы. Он никогда не вступал в полемику ни с кем из своих знаменитых коллег – ни с Н. Кареевым, ни с А. Лаппо-Данилевским, ни с другими современными ему представителями академической науки – ни по конкретным, ни тем более по методологическим и философским вопросам. Не дошло до нас ни рецензий, ни отзывов, ни каких-либо откликов Ключевского на философско-исторические теории своих современников – упомянутых (и иных) историков, а также философов,

размышлявших об историческом процессе, – К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева, Н. Н. Страхова, П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, П. А. Кропоткина и др. Критикуя те или иные философско-исторические концепции, Ключевский обычно не называл имен и предоставлял своим читателям и слушателям лишь догадываться о подразумеваемых адресатах.

Даже по поводу западничества и славянофильства – двух важнейших историософских течений XIX века – Ключевский рефлексировал больше для себя, «в стол». Возможно, историк, достигший пика своей известности, по-прежнему испытывал серьезное предубеждение против отвлеченных философствований на исторические темы, которые считал уязвимыми для критики и соблазнительными для непрофессиональных историков, легко бравшихся философствовать в риторическом стиле на любые общеинтересные темы. С другой стороны, было очевидно, что Ключевский был убежден в архаичности и исторической «изжитости» самого этого спора и сам занимал в нем позицию «внеаходимости» (пользуясь известным выражением М. М. Бахтина). Поэтому ни вторгаться в дискуссию на той или иной стороне, ни пытаться «рассудить» обе стороны с точки зрения некоей объективной истины Ключевский не собирался. Он ограничивался лишь ироническими комментариями и философскими рассуждениями на соответствующие темы.

В своих заметках «Русская историография. 1861 – [18]93 [гг.]», написанных не ранее 3 декабря 1902 года и оставшихся неопубликованными, историк подытоживал свои наблюдения, например, следующим образом: «Работа русской историографии идет ровным ходом и в довольно миролюбивом духе. Былые богатырские битвы западников с славянофилами затихли и вместе с своими богатырями отошли в область героической эпопеи русской историографии [на полях приписано рукой Ключевского: «Забелин». – И. К.]. Постепенно растворяясь новыми влияниями и взаимными уступками, оба направления сближались и привыкали друг к другу, теряли сектантскую исключительность и, ассимилируясь, жизненной частью своего состава входили в общее сознание, даже становились общим местом, а что было в них

специфического, неуступчивого и нерастворимого, то пыталось кристаллизироваться в новые сочетания воззрений и гипотез под названиями государственников и народников или как еще они в свое время назывались. <...> Новых направлений с принципиальными разногласиями не заметно; слышны только споры методологического или экзегетического характера» (7; 388)²².

В качестве примера Ключевский сослался на пресловутый «варяжский вопрос», «имевший некоторое соприкосновение с обоими этими направлениями и так долго служивший пробным камнем историко-критической мысли для пришлых и туземных историков, вспыхивая по временам случайными столкновениями». Но и он, – ехидно комментирует сложившуюся в науке ситуацию Ключевский, – «кажется, убедился, что ему не выйти из области уравнений с тремя неизвестными, и утратил надежду и охоту сложиться в убежденную и научно формулированную [над строкой Ключевский вписывает: «*обоснов[анную]*». – И. К.] теорию» (7; 388).

Во многих иных случаях суждения Ключевского о западниках и славянофилах имеют еще более косвенную форму – афористических парадоксов, аккумулирующих в себе в «снятом» виде движущие силы и ключевые противоречия исторического процесса. В своих заметках «Об интеллигенции», впервые опубликованных фрагментарно в 1980-х – 1990-х годах, Ключевский выводит два исторически сложившихся еще в эпоху Средневековья типа русских интеллигентов. Хотя речь идет о типах древнерусских мыслителей, в подтексте Ключевский имел в виду прообразы будущих *западника* и *славянофила*, исторический взгляд на тот и другой тип русского интеллигента из глубины веков, полный многозначительной иронии и даже сарказма, содержит в себе не только обоснование культурного генезиса западничества и славянофильства как философских течений русской общественной мысли, но и скрытую, косвенную оценку и того, и другого.

²² Здесь и далее, кроме тех случаев, что оговариваются специально, ссылки на произведения В. Ключевского даются по изданию: *Ключевский В. О. Собр. соч.* : в 9 т. – М. : Мысль, 1988 – 1990, – с указанием тома и страниц.

Сначала рисуется образ древнерусского книжника, представителя христианской Киевской Руси, склонившегося перед западной мудростью; «самую глубокою чертою в характере этого книжника стало смиренномудрие личное и национальное». «Первый достоверно известный по письменным памятникам тип русского интеллигента» – «это был нищий духом, побивавшийся под окнами европейских храмов мудрости плодами чужого ума, крупницами с духовной трапезы, на которой ему не было места»²³. Здесь, конечно, заключена ироническая характеристика западника, каковым он остался и к XIX веку, не сильно изменившись за прошедшие со времени Крещения Руси девять веков.

Для этого типа интеллигента (на протяжении почти целого тысячелетия, как это подразумевал Ключевский) было характерно неразрешимое противоречие – между «книжным образованием» и «простым пониманием вещей». «Всякий обладатель книжной мудрости считался разумным и понимающим человеком; но бывали разумные и понимающие люди, не обладавшие книжной мудростью». Поначалу подобное «разномыслие» носило вполне мирный характер и не влекло за собой конфронтации «книжников» и представителей обыденного знания. Примирение того и другого знания произошло «с помощью церковного календаря»: «русский человек завел у себя два периодически сменявшихся порядка жизни, праздничный и будничный, два стола, два платья, наконец, два настроения, два прибора чувств и понятий. Весь приобретенный запас книжной мудрости пущен был в праздничный оборот; остатки простого житейского разумения, не основанного на книжном учении, положены были в карман будничного кожуха или сарафана и донашивались по будням»²⁴. В жизни древнерусских книжников надолго установилось мучительное двоемыслие, в целом аналогичное двоеверию.

Однако все это рассуждение Ключевского лишь отчасти является историческим экскурсом в предысторию западничества; в ином отношении оно представляет собой иносказание, выяв-

²³ Ключевский В. О. [Об интеллигенции] // *Он же. О нравственности и русской культуре.* – М.: Дрофа, 2006. – С. 215.

²⁴ Там же. – С. 216.

ляющее двоемыслие современного историку западничества. По-переменное обращение то к книжному западному знанию, то к простому здравому смыслу народа очень убедительно характеризовало, например, радикально настроенное западничество, начиная с Белинского и Герцена; в дальнейшем все демократы из «Современника», «Отечественных записок», «Русского слова» грешили именно таким двоемыслием.

Тем временем западническому прототипу русского интеллигента у Ключевского противостоял славянофильский прототип, обладавший своими противоречиями и недостатками. К XVI веку, т. е. к расцвету Московского царства, древнерусский книжник претерпел серьезную духовную эволюцию. «Взирая на подвиги своего народа в борьбе с врагами, совершенные без посторонней помощи, русский книжник XVI в. посредством странного логического скачка пришел к убеждению, что и ему, образованному русскому человеку, нечего искать на стороне, что у него дома есть все нужное для его умственного и нравственного преуспевания, что завет отцов и дедов дает ответы на все вопросы, какие могут возникнуть среди потомков»²⁵.

«Что же оставалось книжного и ученого в этом книжнике и учителе, который так презирал книги и всю книжную ученость?» – спрашивал себя Ключевский и отвечал: «Осталось одно мастерство чтения и письма, насколько оно требовалось в тогдашнем церковном и канцелярском обиходе, да еще осталась непреоборимая уверенность, что человек, обладающий этим мастерством, способен разрешить все житейские недоумения, все мировые вопросы». Одним словом, «этот самодельный грамотей-мастер, уверенный, что можно все понимать, ничего не зная, и был вторым типом русского интеллигента, и самой характерной особенностью этого типа были гордость личная и национальная»²⁶. (Как мы помним, для типа древнерусского «западника», по Ключевскому, было свойственно «смирennemудрие личное и национальное».)

²⁵ Ключевский В. О. [Об интеллигенции] // Он же. О нравственности и русской культуре. – М. : Дрофа, 2006. – С. 216 – 217.

²⁶ Там же. – С. 218.

Это «странное культурное явление», «книжник нового типа», древнерусский «славянофил» гордился тем, что понимание мира он почерпал из «разума Христова». «Этот разум Христов, т. е. христианское разумение жизни, было не столько разумением, сколько притязанием на разумение. Действительное разумение, простое, от предков унаследованное понимание вещей, только наряженное, подкрахмаленное в книжные фразы»²⁷. После завоевания турками Византии, «когда в пораженных внешними событиями глазах русского книжника весь мир пал и погрузился в неисходный мрак, а Русская земля осталась единственной светлой точкой во всей поднебесной, тогда исходischem света, ее озарявшего, признана была ее пятивековая христианская старина [с XI в. – И. К.]. В чем застали эту старину, в том и поставили ее, как светильник, долженствовавший освещать дальнейший путь русскому обществу. Говоря проще, образованный русский человек XVI в. решил, что впредь русское общество должно довольствоваться умственным и нравственным запасом, накопленным в эти пять веков, с его недодуманными и непримиренными представлениями, неясненными, хаотическими ощущениями, со всем его праздничным и будничным двоемыслием»²⁸.

Подтрунивая над «ленью» русского патриота XVI в. и сравнивая его с «евангельским рабом ленивым и лукавым, который закопал в землю вверенный ему господином талант, чтобы тем вернее сберечь хозяйское добро, да и самому не работать», Ключевский показал, как русского образованного человека того времени настигло историческое возмездие. «Продолжение тех же полит[ических] событий, к[ото]рые внушили ему такую гордость, послужили для него бичом. Он считал себя единственным в мире хранителем и носителем правой веры и разума Христова; но эту веру, этот разум он превратил в мертвый капитал; не пустил в житейский оборот, не хотел сотворить дел веры и разума». – И далее продолжал: «Когда Московское государство начало устраиваться после татарского ига, ему для своей защи-

²⁷ Там же. – С. 218.

²⁸ Там же. – С. 219.

ты понадобились разнообразные технические знания. Оказалось, что русский образованный человек не имел их и не хотел приобретать, считая их низкими и суетными: пришлось сманивать и выкрадывать техников из чужих земель»²⁹. Фактически здесь заключено объяснение ситуации, потребовавшей Петровских реформ, а вместе с ними и советов иностранных специалистов.

Не лучше обстояло дело и с «церковно-нравственным» порядком. Говоря о «бесчинии», выявившемся на Стоглавом соборе, Ключевский констатировал, что «из всего надменного благочестия русского книжника вышел один грех, соблазн, да посмех». Попытка же навести порядок в церкви, в частности исправить «испорченный невеждами текст богослужбных книг», привела к появлению множества вопросов, «касавшихся не только грамматики, риторики, но и философии, и богословия, а русский интеллигент не знал этих наук и, стоя перед новыми задачами, или остался нем, связан безгласием и пленен неразумием, или злился и кричал без толку о гибели древнего благочестия, о вторжении латинских ересей в Церковь Христову»³⁰. Ясно, что Ключевский здесь имел в виду не одних только старообрядцев (хотя, конечно, и их тоже), но и «староверов» XIX в. – классиков славянофильства.

Таким гротескным образом предстали в своей исторической ретроспекции у Ключевского славянофил и его характерная историософия. Формулируемые Ключевским общие выводы были еще более парадоксальными: «Так гордый русский интеллигент очутился в неловком положении: то, что знал он, оказалось ненужным, а что было нужно, того он не знал». Ехидный пример, который приводит Ключевский, гласит: «Он знал возвышенную легенду о нравственном падении мира и о преображении Москвы в Третий Рим, а нужны были знания артиллерийские, фортификационные, горнозаводские, медицинские, чтобы спасти Третий Рим от павшего мира»³¹. Книжные и сакральные знания оказа-

²⁹ Ключевский В. О. [Об интеллигенции] // *Он же. О нравственности и русской культуре.* – М.: Дрофа, 2006. – С. 220.

³⁰ Там же. – С. 221.

³¹ Там же.

лись не применимыми на практике, а знания научные, практически направленные – были неизвестны или недоступны русским образованным людям, наблюдавшим агонию и конец Древней Руси.

Размышляя о двойственной природе русской интеллигенции, Ключевский заметил фундаментальное противоречие, заложенное в этом типаже профессионала русской культуры. С одной стороны, интеллигентом, согласно латинской этимологии этого слова, должен называться «человек разумеющий, понимающий», а с другой, – обычно интеллигентом называют «человека, обладающего научно-литературным образованием»³². Ключевский зафиксировал характерное для России и представителей ее интеллигенции неразрешимое *противоречие* между *образованностью* и *пониманием* происходящего. Образованность характеризует *наличие системы знаний*, позволяющих познавать окружающий мир, а понимание – способность применять эту или какую-либо иную систему знаний к познанию мира.

Завершая анализ противоречий древнерусской «интеллигенции», Ключевский обозначил «недоразумение, которое состояло в неумении правильно определить отношение привозного книжного образования к простому доморощенному пониманию вещей. Образованный русский человек знал русскую действительность, как она есть, но не догадывался, что ей нужно и что с ней делать, т. е. не понимал ее, а не понимал потому, что ничего не признавал кроме нее, как своего рода единственного идеала, пока сама же она не раскрыла ему своих недостатков и не закричала о своих нуждах. Тогда впервые почувствовал русский интеллигент, что можно знать родную землю, не понимая ее, и что для понимания нужно знать еще нечто кроме нее; но как нужно знать, чтобы понимать, и что еще нужно знать – этого он не мог усвоить себе. В этом и состояло его недоразумение»³³.

Представление о своеобразной феноменологии подобного «недоразумения», колеблющегося между «*знанием*» и «*понима-*

³² Там же. – С. 213.

³³ Там же. – С. 321 – 322.

нием» российской действительности, относилось Ключевским, конечно, не только к различным модификациям древнерусского «интеллигента» и «хитростям» его разума, но и к современной ему интеллигенции. Здесь и намек на пресловутый вопрос: «Что делать?» (не только в чернышевском, но и в толстовском, тургеневском, гончаровском, некрасовском, лесковском и т. п. литературном понимании этого вопрошания). Сказанное о древнерусском прообразе интеллигента проецировалось у Ключевского не только на взаимную полемику западников и славянофилов (что делать с «привозным книжным образованием» и «русская действительность» как «единственный идеал»), но и на противостояние демократов и либералов (отношение к «простому доморощенному пониманию вещей», «знание родной земли», проблема «недостатков» и «нужд» действительности). Так в непритязательном ретроспективном анализе русской старины раскрывались многие злободневные проблемы современности, остававшиеся практически неразрешимыми.

В другом месте (заметка «Верование и мышление») проблема западничества и славянофильства, а также отношения к «чужому» (иной культуре, к заимствованиям и подражаниям) в качестве объяснительной модели была представлена типология *знания* и *веры*. Вспоминая с детства усвоенные принципы семинарского образования, Ключевский констатировал: «Нам твердили: веруй, но не умствуй. Мы стали бояться мысли, как греха, пытливого разума, как соблазителя, раньше, чем умели мыслить, чем пробудилась у нас пытливость. Потому, когда мы встретились с чужой мыслью, мы ее принимали на веру. Вышло, что научные истины мы превращали в догматы, научные авторитеты становились для нас фетишами, храм наук сделался для нас капищем научных суеверий и предрассудков. Мы вольнодумничали по-старообрядчески, вольтерьянствовали по-аввакумовски»³⁴. Речь здесь идет, как признается сам ученый, не о содержании мышления (оно постоянно менялось), а о методе мышления, который оставался неизменным из века в век. Причем имеется в виду от-

³⁴ Ключевский В. О. Верование и мышление // Ключевский В. О. О нравственности и русской культуре. – М.: Дрофа, 2006. – С. 222.

нюдь не только массовое обыденное сознание, но и состояние общественной мысли, философии и науки.

Итак, научное мышление и философия в России, по установившейся еще с Древней Руси традиции, систематически подменяются верой – некритически усваиваемыми стереотипами, готовыми научными формулами, традиционными идеологическими представлениями. Парадоксальность подобных контаминаций чужих идей и концепций в привычной, доморощенной интерпретации и выразилась у Ключевского в оксюморонах: «вольнодумство по-старообрядчески, вольтерьянство по-аввакумовски». Первое представляет ироническую трактовку славянофильства; второе – такую же трактовку западничества. Строго говоря, различия между обоими типами вольнодумства – никакой: и то, и другое – типичное раскольничество, заведомая архаизация современности и насильственная русификация инокультурного – в том или ином идеологическом ключе.

Затем следует жестокий приговор ученого, вынесенный самой русской ментальности, сформировавшейся исторически и установившейся в своем саморазвитии на достигнутом еще в древнерусские времена, а вместе с тем и самой российской цивилизации: «Под византийским влиянием мы были холопами чужой веры, под з[ападно]европейским стали холопами чужой мысли. (Мысль без морали – недомыслие, мораль без мысли – фанатизм.)»³⁵. Таким образом, русская общественная мысль, включавшая в свой состав и западнические, и славянофильские идеи, и философию, и науку, по Ключевскому, была обречена на «холопство» перед чужими верованиями и научными представлениями, на драматический выбор между «недомыслием» и «фанатизмом».

Выбор Ключевского как ученого и мыслителя пролегал в иной плоскости – органического соединения *мысли с моралью* и исключения любого идейного или нравственного «холопства» – перед мыслью (своей или чужой) и перед верой (во что бы то ни было). Однако этот выбор, сделанный великим русским историком еще в конце позапрошлого века, вовсе не очеви-

³⁵ Там же. – С. 223.

ден ни для русского менталитета, ни для современной российской цивилизации, вступившей в глобализированное мировое сообщество на рубеже следующих двух веков – XX и XXI. Мы по-прежнему стоим на перекрестке: с одной стороны, обновленного западничества, на сей раз ратующего за всемирную глобализацию, единую для всех народов и культур, и, с другой, – обновленного славянофильства, вынашивающего очередную версию «русской» или «славянской» идеи, призванной спасти остальной мир.

4. Куда впадают «Славянские ручьи»?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

А. С. Пушкин. Клеветникам России

Рассмотрение славянского мира в его современном ментальном измерении вскрывает множество острых проблем, разрывающих его и без того условные единство и целостность. Весь пучок социокультурных проблем, подрывающих славянское единство, коренится в типологическом различии менталитетов и разветвлении исторических путей славянских народов в Новое время. Между тем именно мечта о воссоединении славянства и составляла всегда сущность «славянской идеи», занимавшей славянофилов, панславистов, почвенников, великорусских националистов и империалистов и даже таких сторонников глобального «всеединства», как Вл. Соловьев.

Как известно, национальный менталитет включает в себя, в качестве наиболее фундаментальной, природную семантику – ландшафтную, климатическую, биосферную. Но эту, весьма разнообразную культурную семантику очень трудно обобщить применительно к любому межэтническому единству (например, славянству). Если, к примеру, русский менталитет (как это прекрасно показал еще Н. Бердяев в «Истоках и смысле русского коммунизма», называя менталитет «пейзажем русской души»)

опирается на восприятие и переживание бескрайней русской равнины, то югославский (скажем, сербский) менталитет отображает, с одной стороны, горный пейзаж тесного Балканского полуострова, а с другой, – включает в себя близость к южному морю (Адриатике). Словацкий менталитет также включает в себя семантику гор (Татры) и долин, но уже не имеет морского, средиземноморского компонента, а польский менталитет, будучи равнинным, не имеет масштаба бескрайности, как русский, но зато включает приморский (балтийский) компонент, крайне слабо выраженный в русском менталитете, притом исключительно на Русском Севере (Беловодье). Уже на уровне ландшафтных компонентов и природных ориентаций очевидно, что эти менталитеты трудно и даже невозможно соединить или непротиворечиво совместить между собой³⁶.

Не менее проблематично единство общеславянского менталитета в плане историко-архитектоническом. Строение национального менталитета можно представить в виде архитектоники эпохальных пластов культурно-исторической семантики. Так, архитектоника русского менталитета складывается из глубинного пласта языческой мифологии (в сильно редуцированном, стертом и символически замаскированном виде), над которым надстраивается пласт восточно-христианской, православной семантики (образующей вместе с язычеством «амальгаму» двояверной картины мира). Далее постепенно утверждается секуляризованная семантика, которая в «снятом» виде вбирает в себя и языческие, и православные ценностно-смысловые компоненты, экстраполируемые на нерелигиозные предметы окружающего мира. В заключение к поверхностным пластам русского менталитета присоединяются специфически преломленные компоненты политической идеологии тоталитарного государства, экономические и технико-технологические компоненты, в смысловом

³⁶ См. глубокое и разностороннее исследование, выполненное в Институте славяноведения РАН: Ландшафты культуры. Славянский мир. – М., 2007, где ландшафтное содержание разных славянских культур и менталитетов представлено с нескольких содержательных – географической, исторической, религиозной, фольклорной и художественно-эстетической – точек зрения.

отношении срастающиеся с нижележащими ментальными пластами – сакрального и секуляризованного мироощущения, образуя единое и относительно цельное пространство национального менталитета.

Если же, для сравнения, по той же схеме представить архитектонику западно-славянского (например, польского) менталитета, то очевидно, что общим с русским менталитетом будет лишь глубинный архаический пласт общеславянской мифологии и праславянские языковые конструкции (не самые, впрочем, влиятельные составляющие этого менталитета). Над ним в западно-славянском менталитете надстраивается мощный пласт христианской догматики (католического толка), затем – секуляризованной семантики, на которую сильно влияет та же католическая семантика, предстающая в «снятом» виде и экстраполированная на различные сферы – политики, нравственности, быта. И только в поверхностном слое западно-славянского (в частности, польского) менталитета мы встречаем экспансию общеевропейских ценностей и норм, исторически оседающих в Польше, начиная со Средневековья и кончая Европейским сообществом. Так что русский и, например, польский менталитеты (если даже отвлечься от природно-ландшафтных различий) «смотрят» в разные стороны и не совпадают ни в своей духовной направленности, ни в своем ценностно-смысловом наполнении, ни в цивилизационной перспективе. То же самое можно, например, сказать о чешском и словацком, о сербском и хорватском, о западно-украинском и восточно-украинском менталитетах, образующих дуальные оппозиции.

Невозможно представить сегодня, как, впрочем, и ранее, *общеславянский менталитет*, объясняющий историческое и современное значение славянских народов и их культур, поскольку и ранее, и теперь общеславянский менталитет если и существует, то, скорее, в мечтательном, гипотетическом, сослагательном наклонении, но не в исторической реальности. *Общеславянская солидарность* как всемирный проект, столь обнадеживавший славянские народы в конце XIX в. и во время Первой мировой войны, последний раз заявляла о себе бо-

лее или менее определено лишь в годы Второй мировой, да и это хрупкое единство было омрачено Катынской трагедией, надолго вбившей клин между русским и польским народами. Это трагическое событие, как и позднее – вторжение советских танков в Чехословакию в августе 1968 г. и борьба с польской «Солидарностью», надолго осложнили отношения между русским и западно-славянскими народами во второй половине XX в.

Кризис советской политической системы и распад военно-политического блока «Варшавский договор» (неслучайно намекавшего своим названием на «славянское единство», хотя Румыния, Венгрия и ГДР не были славянскими государствами, а Югославия не входила в советский военный блок) подвели окончательную черту под идеями политического и военно-стратегического партнерства между славянскими государствами и народами Востока и Запада. В XXI в. исторические пути славянских народов драматически разошлись, и пока не видно конца «спору славян» по множеству общеевропейских и глобальных вопросов. Одни из славянских государств уже вошли в состав объединенной Европы, в том числе в еврозону, другие даже вступили в НАТО, третьи далеки от подобных форм европеизации и сохраняют паритет между Европой и Россией; есть, наконец, и те, что сохранили приверженность политическому и экономическому альянсу с Россией. «Славянское единство» сегодня – это коллаж несовместимых стратегий культурно-исторического развития. И это вполне объяснимо.

Каждая локальная культура как бы видит себя одновременно в разных зеркалах: не только в зеркале своей специфики, не только в ряду смежных с нею сходных или противостоящих ей иных локальных культур (что существенно укрупняет масштаб осмысления ее своеобразия), но и в грандиозном зеркале мировой культуры как целого. Совокупность этих отражений, ментальных, локальных и глобальных, складывающихся на разных этапах исторического становления и развития этой культуры, обобщаются соответственно в ее *менталитете*, *локалитете* и в *глобалитете* как различных аспектах ее этно-

национальной, конфессиональной и цивилизационной *идентичности*³⁷.

Собственно, в случае славянского единства («славянства») мы имеем дело с *локалитетом* различных славянских культур (например, русской, сербской, украинской, белорусской, болгарской и т. п.), благодаря которому целая совокупность родственных культур не «поодиночке», не «порознь» включаются в мировой исторический процесс и во всемирную культуру, а «коллективно», в виде наднациональной, надэтнической общности (в качестве своего рода «суперэтноса»). Именно в таком, отчасти «глобализованном» виде славянское единство («славянство») может противостоять иным «суперэтносам» или просто быть сопоставлено с другими транснациональными общностями, например романо-германскими, англоязычными, тюркскими, семитскими народами и далее – «кавказцами», «азиатами», «африканцами», «латиноамериканцами» и т. д. Аналогичным образом в мире формируются все подобные сообщества – «арабское единство», «пантюркистское» движение, исламское, латиноамериканское, африканское единства. Естественной основой для формирования таких локальных «единств» является языковая, конфессиональная, территориальная, этнокультурная, историческая и отчасти психологическая общности. Однако в случае культурных, психологических и исторических оснований (тем более политических, экономических, военных и др. атрибутов локального единства)

³⁷ О соотношении понятий менталитет, глобалитет и локалитет см. подробнее в работах: *Кондаков И. В.* Глобалитет локальных культур (к постановке проблемы) // Сохранение и приумножение культурного наследия в условиях глобализации. – М.: МГУКИ, 2002; *Он же.* Россия в контексте глобализации // Глобализация и локальная культура. – М.: РГГУ, 2002; *Он же.* Глобалитет локальных культур (к постановке проблемы) // Традиционная культура. Научный альманах. – 2005. – № 2; *Он же.* Глобалитеты культур: общее особенного // Культура на рубеже XX – XXI веков: глобализационные процессы. – М.: Государственный институт искусствознания, 2005; *Он же.* Глобалитет России (к постановке проблемы) // Современные трансформации российской культуры. – М.: Наука, 2005; *Он же.* Мировое сообщество как соревнование глобалитетов // Вестник РАЕН. – 2006. – № 2.

в силу вступают уже в значительной мере искусственные, сознательно конструируемые факторы межкультурной интеграции.

Не исключены и драматические конфликты между компонентами культурологической триады (менталитет – глобалитет – локалитет). Так, в случае русской культуры на разных этапах социокультурной истории России возникали противоречия между национально-русским менталитетом (включающем такие свойства, как толерантность, инертность, пассивность, покорность и т. п.) и глобалитетом (религиозный и национальный мессианизм, этатизм, идеократия, всемирная отзывчивость, универсализм, идеалы имперского, державного величия и др.). Не менее конфликтны отношения между национально-русским менталитетом и славянским локалитетом (отсюда берет свое начало и знаменитый нелюбимый пушкинский вопрос: «Славянские ль ручьи сойдутся в русском море?..»). То, что нравится русским и России, вовсе не обязательно вызывает сочувствие у родственных народов, и наоборот. Для большинства славянских народов характерен европейский, а не российский глобалитет.

Глобалитеты различных локальных культур, как правило, весьма разнородны и не сводимы к одному «знаменателю». Во многом это объясняется тем, что, во-первых, история становления и дальнейших трансформаций каждого глобалитета различна и неповторима – по сравнению с другими судьбами локальных культур. Так, западно-славянские культуры явно тяготеют к европейскому глобалитету, а восточно-славянские – во многом к российскому. Южно-славянские культуры в своей глобальной ориентации колеблются между европейским и российским глобалитетами, что и определяет драматизм балканского региона.

Во-вторых, связка каждого глобалитета с соответствующим менталитетом также формируется своеобразно и непохоже на иные парные конструкции, составляющие смысловое «ядро» той или иной локальной культуры. Так, применительно к славянству религиозно-конфессиональный фактор служит не сближению, но противостоянию различных славянских культур: например, латинство и католицизм западных славян несовместимы с православием и «византизмом» славян восточных и южных.

Особенно трудноразрешим «балканский» («югославский») узел, где к расхождениям между западно-христианскими и восточно-христианскими моделями добавляется исламский фактор (Босния-Герцоговина, Косово, албанский вопрос).

Это же касается и судеб локалитетов. Если, например, исламский мир или европейское единство, несомненно, имеют огромные перспективы для своего развития в сторону сближения с глобальными параметрами мирового сообщества, то «славянство» до сих пор представляет локалитет с сомнительными надеждами на глобальность и даже на собственную стабильность. Распад Советского Союза, в частности выразившийся в размежевании трех восточнославянских народов, обретших собственную независимость и государственность (Россия, Украина и Белоруссия); распад Югославии на мелкие государства с различной цивилизационной и конфессиональной ориентацией; драматические процессы, происходящие сегодня на Украине и, по-своему, в Белоруссии, – все это подтверждает гипотезу, что «славянское единство» сегодня – это во многом виртуальное сообщество, представляющее собой не систему культур, а скорее «ризому» (по Ж. Делезу и Ф. Гваттари), чреватую расколами, разрастаниями и дальнейшей деструктуризацией целого.

Место русской культуры среди славянских культур в XXI в. довольно противоречиво. С одной стороны, русская культура, неоднократно переживавшая фазу глобалитета в своей истории, до сих пор полна надежд на возрождение своего всемирно-исторического значения – уже в постсоветский период. Что касается политического и культурного самосознания России как великой державы, то эта рефлексия (нередко представляемая как «Русская идея») никогда не утрачивала своих позиций в массовом и элитарном самоощущении русского народа, последовательно претендуя на национально-культурную и идейную гегемонию среди других народов – как славянских, так и неславянских.

С другой стороны, именно эта культурная саморефлексия России не только не содействует славянскому единству, но целенаправленно и постоянно его подрывает, потому что другие славянские культуры не обладают столь же высокой степенью гло-

бальных амбиций (а значит, и глобалитета). На фоне иных славянских культур русская культура с ее глобальными интенциями и устремлениями производит пугающее впечатление своими имперскими традициями и великодержавностью (нередко расцениваемыми другими славянскими народами как претензии на роль «жандарма славянства», управляющего и командного звена всего локального сообщества).

Кризис глобалитета, его крушение, падение или надлом всегда переживаются каждой локальной культурой, когда-либо вкусившей его, как тяжелое испытание, как национальная трагедия или катастрофа, окрашенная подчас в апокалиптические тона. Всякий кризис глобалитета почти неизбежно чреват необратимыми последствиями и разрушениями и чаще всего видится современниками как последний исторический период, как «конец истории», во всяком случае – национальной. Несомненно, что кризис глобалитета сегодня переживает и русская культура, и по-своему славянство в целом. Однако Россия переживает кризис своего глобалитета как временный, преходящий, в то время как славянство, внутренне дифференцированное и расколотое, готово присоединиться к различным глобалитетам – западноевропейскому, американскому, российскому, даже – в порядке исключения – к исламскому (Босния-Герцеговина).

Исторический опыт многократного обретения и утраты глобалитета русской культурой и соответственно преодоления ею ментальных кризисов уникален и не имеет аналогов среди других славянских культур, что, разумеется, ставит ее в особое положение в славянстве. Так, подъем глобалитета в истории русской культуры связан сначала с Крещением Руси; затем – со становлением универсального централизованного государства, после освобождения от монголо-татарского ига («Третьего Рима»); далее – в связи с обретением классической русской культурой в XIX в. «всемирной отзывчивости» и, наконец, – после победы во Второй мировой войне Советского Союза, вскоре получившего статус «сверхдержавы». Соответственно первый кризис глобалитета русская культура пережила в связи с монгольским завоеванием Руси; второй – в связи с династическим кризисом и борь-

бой за власть в Смутное время; третий – в связи с революцией и Гражданской войной в XX в. и четвертый – в связи с распадом СССР и крахом коммунистической идеологии.

Каждый из четырех кризисов русского глобалитета отбрасывал Россию далеко назад, а каждый подъем глобалитета в России сопровождался ростом имперских амбиций, мощи государства и комплексом мирового величия, далеко не всегда подтверждаемыми в реальности, но нередко пугающими и даже устрашающими – для ближайших соседей. В результате история русского глобалитета, неустойчивого, изменчивого, динамичного, носит явно выраженный циклический и «пульсирующий» характер. Отсюда идет объяснение его удивительной «стойкости» и исторической «живучести», а также непредсказуемости в контексте смежных культур, в том числе славянских.

Славянофилы, русские «антиглобалисты» XIX в., были правы в своей полемике с западниками (русскими «глобалистами» того времени), когда отказывались принять западно-европейскую культуру и цивилизацию за эталон всемирно-исторического развития, в равной мере пригодный для русских, других славянских народов, для неславянских и даже для неевропейских народов, т. е. отрицали единственность западно-европейского глобалитета и допускали возможность формирования нескольких глобалитетов помимо западно-европейского (в том числе и славянского, и собственно русского). Не принимали славянофилы и посредническую роль западной культуры, благодаря которой славянский мир стремился к формированию собственного глобалитета, но «не с позволения» Европы, не по европейской модели, а по своему выбору. Но и западники были по-своему правы – в отношении западно-европейского глобализационного опыта, остающегося во многом эталонным и приоритетным для многих культур и цивилизаций – вплоть до XXI в., в том числе в значительной мере и для русской культуры, и для России в целом, а уж тем более для славянства.

Предлагавшиеся славянофилами, а также почвенниками различные модели собственно славянского глобалитета, призванного противостоять западно-европейскому глобалитету и даже

в принципе превзойти его, были построены на фантастических допущениях: опоры всего славянства на принципы «византизма» (К. Леонтьев); создания Славянского союза в виде конфедерации славянских государств (Н. Данилевский); завоевания Константинополя (Ф. Достоевский); сближения русской и славянской культур с Востоком и борьба русской культуры с Западом (К. Леонтьев, Н. Страхов и др.), – а потому были нежизнеспособными. Более убедительной была попытка «евразийцев» (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский и др., позднее Л. Гумилев) обосновать принадлежность русской культуры не к славянским культурам, а к культурам туранским (тюрко-монгольским), особенно после монгольского завоевания Руси, а русскую государственность и цивилизационные начала – выводить из «наследия Чингисхана» и ключевых атрибутов кочевничества. Однако и эта попытка отличалась чрезмерным схематизмом и ригоризмом, склонным выдавать желаемое за действительность, а локалитет – за глобалитет.

Вслед за расхождением глобалитетов разных славянских народов мы наблюдаем и расхождение их локалитетов. Так, южнославянские народы оказываются вписанными в балканскую специфику, полиэтничную, по своей сути; западные славяне включены в восточно-европейский контекст, наряду с Германией, Венгрией и Румынией. Восточные славяне заняты переживанием постсоветского опыта, также пронизанного полиэтничностью, имеющей евразийские истоки. От «славянского единства» остаются одни воспоминания.

Конечно, всего этого не могли предвидеть славянофилы, державшиеся за «славянскую идею». Не могли предсказать такого исторического сюжета и западники, отстаивавшие преимущества европеизма. Тем более не мог знать этого Пушкин, предвосхитивший своими взглядами в чем-то и западничество, и славянофильство, на что справедливо указывал Вл. Соловьев. Но кто, в самом деле, мог предположить, что «славянские ручьи» протекают уже сами по себе, не впадая в «Русское море» и не вытекающая

из него. И пресловутое «Русское море» не иссякло, не обмелело, несмотря на непричастность к нему «славянских ручьев», разбегавшихся в разные стороны, скорее *от* «Русского моря», нежели к нему.

Заболоченные берега «Русского моря» свидетельствовали против славянства как культурного эскорта России. В семантическом и историческом плане «Русское море» все больше и чаще питалось «ручьями» отнюдь не славянского происхождения. Сначала это было византийское и «варяжское», т. е. скандинавское влияние; затем наступила длительная полоса монгольского владычества; наконец, настала пора западно-европейских воздействий на русскую культуру, нараставших, начиная с XVII века.

Но главным источником пополнения «Русского моря» оказались реки *не* индоевропейского происхождения. Это были потоки финно-угорских, тюркских, а позднее кавказских и среднеазиатских народностей, входящих в состав самой России. Сегодня на горизонте «Русского моря» – новые вливания, на сей раз китайского, корейского и, может быть, вьетнамского происхождения. Та «всемирная отзывчивость» русского человека, о которой говорил Достоевский, прежде всего сказалась на *полиэтничности* русской и тем более российской культуры, чем и стало впредь определяться их национальное своеобразие и культурная идентичность, все более размывающиеся на наших глазах.

Б. Ф. Егоров,

*доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института истории РАН (СПб.), член Независимой академии
эстетики (Москва), член редколлегии серии
«Литературные памятники»*

Бытование «Ф. И. О.» в русской культуре нового времени

Об именах в широком смысле, как и о «тройчатке» фамилия-имя-отчество, существует обширная научная литература, в том числе и философско-теоретическая (достаточно назвать выдающиеся труды С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, А. Ф. Loseва). Грандиозный этимологический словарь (11 тысяч фамилий!) с теоретическими экскурсами создал Б. О. Унбегаун¹. К этой книге приложена ценная историческая статья Б. А. Успенского: «Социальная жизнь русских фамилий». Исследования на данную тему постоянно продолжают появляться. Отмечу хотя бы очень содержательный сборник статей: пушкинодомский альманах «Канун», выпуск 6 – «Чужое имя» (СПб., 2001).

В предлагаемой статье автор занимается более конкретной областью: структурное соотношение трех именных элементов, получивших в советское время аббревиатуру «ф.и.о.», в различного рода названиях. Имеется в виду не первоначальное именование человека, скажем, при рождении и крещении, а конкретные названия при устном обращении к нему, а также в письменных и печатных документах, в эпистолярном жанре и т. д.

¹ Унбегаун Б. О. Russian Surnames. – London, 1972; Унбегаун Б. О. Русские фамилии / пер. с англ. – М., 1989.

О типах называния конкретного человека тоже можно написать целую книгу². Различные национальные традиции и историко-культурные изменения создают богатый спектр вариантов, из которых для восточного славянства (Россия, Украина, Белоруссия) важна прежде всего «тройчатка» имен: кроме имени и фамилии еще узаконено отчество, в отличие от большинства других современных народов земного шара, где преобладает «двойка» («двойчатка»?), имя и фамилия. Интересен контрастный «перевертыш»: для западного христианства характерны культурные промежуточные зоны между противоположными областями, например наличие на «том свете» чистилища между раем и адом, в то время как для православия существуют только две контрастные крайности и нет никакого чистилища между ними: не «тройчатка», а бинарность. Об этом много писали Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский³.

Однако отчество как промежуточный элемент полного, тройного называния человека у восточных славян возникло далеко не сразу, как, впрочем, и фамилия, по-настоящему укоренившаяся в народной среде еще позже, фактически в XIX веке. Предшественниками фамилий не только в России, но и во всем мире были так называемые прозвища, которые позднее, со времен средневековья, стали перетекать в область фамилий. Ведь в древности человечество вообще называло своих членов одним словом, одним именем, без всяких отчеств, прозвищ и фамилий. Таковы самые древние персонажи Ветхого Завета (Адам, Ева, Каин, Авель, Сиф и т. д.), древние греки (Гомер, Эсхил, Сократ, Платон и т. д.). Но уже в Библии возникали одноименцы, например Иисусы (Иисус означает «спаситель»), и поэтому к имени прилагался второй элемент, как бы прозвище: Иисус Навин, Иисус Сирахов, Иисус Христос (названия Навин и Сирахов произошли от имен отцов, а Христос означает «помазанник», конечно, подразумева-

² См., например, несколько конспективную статью: *Адоньева С. Б. Имя и обращение // Чужое имя : сб. – СПб., 2001.*

³ См. хотя бы статью: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б. А. Избранные труды. : в 3 т. – Изд. 2-е.– М. : Языки русской культуры, 1996. – Т. 1.*

ется «Божий»). В Древнем Риме уже значительное распространение получили прозвища в виде особого элемента наименования (Тарквиний Гордый, Юлий Цезарь, Юлиан Отступник), как стали существовать наращенные первого имени, т. е. человек получал еще и второе имя (Гай Юлий Цезарь, Тит Флавий Веспасиан), хотя распространенным оказывалось только одно, как бы самое главное имя (Гай это личное имя, а Юлий – родовое, т. е. этот человек принадлежит к роду Юлиев, и это имя оказалось более значительным). Позднее католическая церковь ввела уже правило: именовать родившихся младенцев двумя именами, которые, впрочем, могут быть совсем не связаны с именами предков; придумывание имен и выбор главного из двух имен – дело родственников. Потом дитя получает еще и третье имя, церковное, не включаемое в документы.

В Древней Руси имя было одно даже у властителей (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга), отчество появилось лишь несколько столетий спустя. Правда, применительно к властителям более употребительны были не отчества, а прозвища, возникавшие главным образом в память военных побед (Александр Невский, Дмитрий Донской), но некоторые прозвища образовывались не только от военных побед: Всеволод Большое гнездо, Иван Калита (калита – мешок или пояс с деньгами), Василий Темный, Иван Грозный...

Однако в свете господства структуры патриархата в средневековой Руси все большее распространение получало отчество. Повсеместно господствовала краткая форма прилагательного от имени отца: Петров, Матвеев, Ильин, Никитин. И тогда «Иван Петров» означало «Иван, сын Петра», а не сочетание имени и фамилии (последней еще и не было). При безотцовщине и еще при каких-то обстоятельствах, выдвигающих на первое место мать, появлялись как бы матриархатные названия: Марьин, Надеждин, Марфин. Однако в некоторых случаях вторым элементом оказывалось не отчество, а именно прозвище: Даниил Заточник, Дмитрий Шемяка, Иван Можайский, Никита Кожемяка... Постепенно краткие формы отчеств и прозвища укоренялись и переходили в название потомков, т. е. превращались в будущем в фамилии. Растянувшиеся на несколько столетий образование и укоренение

фамилий вызывало много изменений. Краткие отчества оказывались рядом с прямыми прозвищами, и тогда получались как бы две фамилии. В жизни духовных учебных заведений вошло в привычку «банальные» фамилии учащихся (главным образом крестьянские) переделывать на более «возвышенные», взятые из религиозной области: отсюда пошли Рождественские, Пасхаловы, Крестовоздвиженские, Троицкие и т. п. Но не обязательно из религиозной жизни. Отец В. Г. Белинского имел фамилию Трифонов, но был в семинарии переименован в Бельинского (по родному селу Бельнь), а сыну эта фамилия, видимо, показалась неблагозвучной, и он заменил «ы» на «и». Редко, но встречались персональные, именные заимствования: мой минский коллега А. Л. Ренанский рассказывал, что его дед-семинарист очень увлекался чтением трудов Ренана и отсюда получил свое прозвание. Происхождение некоторых фамилий загадочно: моего отца в 1884 г. крестил священник А. Гибралтарский (как связать жителя уездного города Балашова со знаменитым проливом?!). С середины XIX века массовые перемены фамилий были запрещены, но фактически они продолжались до XX века включительно: во время Первой мировой войны немало немцев меняло свои фамилии на русские, в советские годы то же можно сказать о значительной группе еврейской интеллигенции. Все эти пертурбации делали в России фамилию весьма ненадежным историческим источником (чрезвычайная легкость перемен всех элементов «тройчатки» в первом советском десятилетии, как и придумывание новых «идейных» имен, часто приводило к совершенно анекдотическим сочетаниям: у моего отца была студентка Баррикада Ивановна Лепешкина).

А превращение кратких форм прилагательных в полные создавало третий (по счету он второй) элемент имени: «нормальное» отчество, стоящее между именем и фамилией. Полные формы отчества на *-ович*, *-евич*, *-ич* (Петрович, Матвеевич, Ильич) и на соответствующие женские суффиксы, видимо, естественно появлялись в верхних социальных слоях средневекового русского общества как подражание западным славянским (главным образом, польским) конструкциям, а также, психологически, как

более солидная и уважительная форма наименования. Для возможности употреблять полные формы отчества в следующих социальных слоях (придворные, чиновники, богатые купцы и промышленники) требовались специальные персональные указы. Тогда к понятию «величание» (восхваление, возвеличивание) прибавилось еще одно добавочное значение: называние не только по имени, но еще и по отчеству.

Простым мещанам и крестьянам полного отчества не полагалось, и лишь с постепенным закреплением фамилий и с постоянно возникавшими путаницами из-за частого сходства форм краткого отчества и фамилии (Иван Петров Максимов) полное отчество проникло без всяких указов и в простонародный мир нового времени, но все-таки оно употреблялось избирательно: применительно к почтенным старикам, зажиточным людям, в особых ритуальных случаях (например, называние молодых на свадьбе), обычные же граждане именовались по первому имени, да еще часто с уменьшительным суффиксом *-к-*. В. Г. Белинский в известном письме к Гоголю возмущался этими суффиксами, видя в их употреблении неуважение бар к простому народу или даже самонеуважение: «... люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками»⁴. «Неистовый Виссарион» преувеличил: суффикс *-к-* при назывании имени характеризует в народном быту не презрение, а скорее признак близкого знакомства и относительного равенства или старшинства по возрасту (молодой человек не мог старика назвать Ванькой). Характерно, что в школьном (и даже в вузовском) быту России до сих пор употребляются уменьшительные имена по отношению к товарищам.

Забавный случай недавно был обнародован в «Российской газете». К интервью В. Выжutowича с замечательным нашим танцором Н. Цискаридзе приложена следующая врезка: «Однажды Цискаридзе шел по коридору Большого театра со своим педагогом Мариной Тимофеевной Семеновой. И какой-то артист кордебалета окликнул его: “Колька!”. Семенова остановилась и спросила

⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. – Т. 10. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1956. – С. 213.

своего воспитанника: “Как твое отчество?” Тот сказал. Тогда она обратилась к его коллеге (он был старше Цискаридзе на десять лет): “Запомните: этого человека зовут Николай Максимович. Он ведущий солист Большого театра. И для вас он не Колька”. “А потом, – вспоминает Цискаридзе, – она мне прочитала большую лекцию о театральной субординации. Никогда, – говорила она, – не позволяй артистам кордебалета разговаривать с тобой запанибрата. Ты солист, у тебя другое положение. На улице – пожалуйста: Коля, Сережа... А в театре должна быть дистанция”⁵.

Учительница при справедливом возмущении амикошонством явно пытается возродить дореволюционную сословную субординацию, и сама как бы демонстрирует свою принадлежность к иерархическому миру: она обращается на «ты» к не очень близкому ученику (не знает его отчества!). Расширенное «тыканье» – укоренившийся отголосок раннего советского обычая нарочито противостоять «буржуазным» вежливости и неравенству; об этом у нас еще пойдет речь ниже. (Совершенно дикие обращения к незнакомым людям: «Мужчина!», «Женщина!», получившие широкое распространение в последние годы, я объясняю тоже подспудным протестным противопоставлением всем прежним обращениям: и дореволюционному «господин», и советским «гражданин» и «товарищ»).

Вернемся к имени-отчеству. Да, до революции даже совсем молодой человек, недавно окончивший гимназию, уже именовался по имени-отчеству, а сорокалетнего крестьянина называли если и не Колькой, то Николаем, но никак не Николаем Максимовичем. Впрочем, были исключения, как уже отмечено выше (обращения к почтенным старикам и ритуальные случаи). Еще в крестьянском быту полагалось жене обращаться по имени-отчеству к мужу (но не наоборот, хотя в знак уважения или, особенно, при людях муж мог назвать жену по имени-отчеству).

Заметим, что советское показное равенство значительно расширило и в возрастном, и в профессиональном диапазоне употребление лишь одного первого имени. Нередко, скажем, в поезде собеседник вполне солидного возраста и уважаемой профессии,

⁵ Российская газета. – 2008. – № 126, 11 июня. – С. 20.

знакомясь, протягивает руку и называет себя только по первому имени (еще замечу, что лучше так, чем добавления к имени-отчеству титулов и званий; уже дважды душа моя корежилась, когда один коллега при знакомстве добавил к «тройчатке» своих имен еще и «профессор», а другой, знакомя с женой, назвал ее имя-отчество и еще – «кандидат физико-математических наук»).

Сужение «тройчатки» до одного первого, личного имени приобретает массовый характер. Во многих фирмах и магазинах нагрудные этикетки (лейблы) у сотрудников и продавцов оповещают нас только о первом имени. У эстрадных певиц стало модным выдумывать псевдонимы (а может быть, иногда это и настоящие имена) без фамилии: Валерия, Земфира, Лолита (!). Вот уж где возникают клички (почти по Белинскому!), а не имена. Но вне всяких кличек в современной России идет массовое распространение одного первого имени при общении людей: например, в большой фирме, где работает уйма народу и где неоднократно повторы имен, все-таки сотрудники, в том числе и не совсем молодые, пользуются в общении только именами и лишь великовозрастные коллеги выделяются именем-отчеством; принято еще шефа, руководителя организации, называть инициалами, скажем, ВэИ (Валентина Ивановна). Консервативное сохранение имени-отчества наблюдается лишь в учебных заведениях и академических институтах.

Почти такой же массовый характер приобретает исчезновение вежливой формы «вы» при общении знакомых, о чем уже говорилось выше. В мои более молодые годы я всегда крайне удивлялся (не мог привыкнуть!) при знакомстве с некоторыми выдающимися представителями старших поколений (Р. О. Якобсон, московский профессор У. Р. Фохт) тому, что они были так склонны к «брудершафту»: я объяснял это раннесоветским культурным воспитанием. Однако можно ли считать Якобсона даже «раннесоветским»? И потом сюда надо присоединить моего ровесника и явного антисоветчика М. Л. Ростроповича. Так что, видимо, надо учитывать еще и личную психологию. В моем кругу бытовала противоположная крайность: я почти полвека дружил с Ю. М. Лотманом, но мы оставались на «вы» и при именах-отчествах.

Почти так же часто, как нынешнее бытование одного первого имени при общении, мы наблюдаем опускание отчества и сохранение только имени и фамилии в печати и в видеоинформации. Здесь явно сказывается влияние средств массовой информации (и печатных, и видео), которые в свою очередь находятся под сильным влиянием западных обычаев. Ведь отчество исчезает при назывании не только артистов (эта тенденция была характерна и для XIX века), но и политических деятелей, да и вообще почти всех лиц, упоминаемых в статьях, интервью, репортажах. Без отчества там оказываются как знаменитые спортсмены, так и почтенные академики. Эта тенденция вторгается и в консервативный академический мир: сейчас во многих журналах и научных сборниках авторы обозначаются без отчества.

Наверное, тут дело не только в Западе. И там, и у нас человечество давно уже стремится к «минимизации», к редукции, к сокращению длинных написаний (и произнесений): многословные названия учреждений, партий, стран подталкивают к сокращению слогов и слиянию слов (собес, завмаг, линкор), а особенно к аббревиатурам. В мои и моих знакомых школьные годы, когда это было внове, мы радостно смеялись над выдуманными сатириками и юмористами фантастическими сокращениями и довольно опасно расшифровывали знаменитые аббревиатуры: СССР – Сами Себя Сделали Рабами, РСФСР – Ребята, Смотрите: Федя Сопли Распустил.

Сокращения и усечения часто употребляемых слов, как и замены более длинных слов краткими, происходят во всех языках. У французов уже в XIX веке *rommes de terre* (картофель; буквально – яблоки из земли, земляные яблоки) превращается просто в *rommes* («пом»), американский *Gasoline* (бензин) – в *Gas* (есть легенда, что русский шпион был разоблачен, так как на бензоколонке попросил не *Gas*, а *Gasoline*). В русском языке уже давно «автомобиль» превратился в «машину» (а теперь даже в «тачку»); современные молодые люди называют компьютер «комп», а клавиатуру – «клава».

Интересно, что сокращение «тройчатки» наименований чело- века в народном быту последних двух столетий могло происхо-

дить с помощью оставления отчества как единственного элемента. Почтенного соседа или соседку могли называть «Петрович», «Тихоновна», без имени и фамилии. Такое выделение означает хорошее знакомство и уважительное отношение. Любопытно: в последние годы появились магазины с наименованием одним отчеством (хозяина? или просто придумано?). Почему-то особенно распространено «Петрович».

А в именовании русских царей с XVIII века, с Екатерины II, отчество исчезает, вероятно, под западным влиянием: у западноевропейских королей, естественно, никаких отчеств не было. И еще: при наличии повторных имен и при появлении чисел отчество могло мешать точности названия, ведь лишь случайно Екатерина Первая тоже была Алексеевной, а вот три наших Александра все были с разными отчествами (Павлович, Николаевич, Александрович), и тогда присутствие отчеств при именах царей не соответствовало бы порядковым числительным: Александр Николаевич никак не был бы Вторым, он должен был бы именоваться Первым.

В царское время в высших слоях общества при близком знакомстве тоже были распространены одни имена; правда, при наличии княжеского титула он прилагался к имени: князь Андрей (Болконский в «Войне и мире»). Любопытно, что титулы ни графа, ни барона, ни маркиза не прилагались: немыслимо сочетание «граф Пьер», хотя можно и даже должно сказать: «граф Пьер Безухов». В военной, а также в студенческой среде более распространены были обращения по одной фамилии. Еще более любопытно, как именовали своих героев наши знаменитые писатели XIX века. Германн (не забудем, что это не имя, а фамилия персонажа в «Пиковой даме»), Печорин, Грушницкий – понятно, это военные. Имена-отчества там сообщены мельком. А Пушкин в своем романе в стихах обходится вообще без отчеств, отчество Татьяны мы случайно узнаем по могильной плите над прахом ее отца: «Димитрий Ларин». Фамилии по ее мужу мы просто не знаем, она для Пушкина только Татьяна. Героя романа Пушкин именует неустойчиво: то «Онегин», то «Евгений», чаще все-таки «Евгений». А далее у наших классиков герои-мужчины

будут чаще всего именоваться по фамилии, а женщины – по имени. Скорее всего, это признак их душевной близости к авторам, они более близки, чем мужчины. А преобладание «именных» героев-мужчин у Пушкина, в «Войне и мире» Толстого, в романах Достоевского – тоже, видимо, свидетельство их душевной близости к авторам. У Достоевского наблюдается очень сложная вариативность в использовании «тройчатки», вплоть до опускания фамилии (образ Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании»), но, как правило, используется лишь один или два элемента, а не все три.

Очевидно, процесс «редукции» отечественной «тройчатки» будет продолжаться и дальше. Уже становится почти приличным писать в адресе на конверте полностью лишь фамилию, а имя-отчество сужать до инициалов. Термин «инициалы» становится чуть ли не более распространенным, чем бюрократическая аббревиатура «Ф. И. О.».

Недавно узнал о такой бытовой сценке. Один человек знакомился с другим, и тот, назвав свои имя-отчество (все-таки не одно первое имя!), спросил: «А как ваши инициалы?» – таким образом, «инициалы» становятся синонимом имени-отчества... Или даже заменителем? То ли еще будет! Процесс редукции, превращение сплошной линии в пунктир будет продолжаться и дальше... Последний образ я взял у покойного музыковеда и краеведа Г. А. Федорова, который объяснял мне особенности речитатива в опере Д. Д. Шостаковича: сплошная мелодия классических композиторов заменена у Шостаковича пунктиром...



И. Е. Прохорова,

кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ

Критические, публицистические и издательские опыты В. А. Жуковского в оценках П. А. Вяземского

Взаимоотношения В. А. Жуковского и П. А. Вяземского, их идейные, литературные, дружески-бытовые связи постоянно находятся в поле зрения отечественного литературоведения. Однако практически нет исследований, специально посвященных восприятию творчества Жуковского Вяземским (как, впрочем, и другими современниками), хотя, понятно, во многих работах эти темы так или иначе затрагиваются¹. Между тем Вяземский, постепенно становившийся одним из ведущих литературных критиков второй половины 10-х – 30-х годов XIX века, уделил личности и многогранной деятельности своего «друга от малолетства»² большое внимание в стихотворениях и прозаических статьях, письмах и «Записных книжках». Эти отзывы Вяземского, различные по времени и мотивам появления, по объему и общей направ-

¹ Особое место в этом ряду занимает подготовленная О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевичем книга «В. А. Жуковский в воспоминаниях современников» (М., 1999) с содержательными комментариями к собранным здесь мемуарным свидетельствам.

² Цит. по: *Лебедева О. Б., Янушкевич А. С. Комментарии // В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. – М., 1999. – С. 595.* На обеде в честь Жуковского в Москве в 1850 г. Вяземский также назвал себя «старейшим другом нашего первого современного поэта» – виновника торжества (*Вяземский П. А. Полн. собр. соч. : в 12 т. – Т. 2. – СПб., 1879. – С. 410 – 411*).

ленности, опубликованные и не появившиеся в печати, отразили не только определенную эволюцию в творчестве Жуковского и в отношении к нему критика, но и становление общей авторской стратегии и критической манеры самого Вяземского.

Соответственно они представляют значительный интерес и для исследователей творчества обоих писателей, и для историков русской литературы и журналистики в целом. В данной статье хотелось бы сосредоточиться на суждениях Вяземского-прозаика по поводу критических, публицистических, редакторских и издательских опытов Жуковского первой четверти XIX века, включая итоговый для этого периода том его «Сочинений в прозе», увидевший свет, правда, уже весной 1826 года.

Первая из дошедших до нас попыток Вяземского заявить о себе как о критике – «Нечто о 22 номере “Вестника Европы” за 1808 год»³, черновой неоконченный набросок разбора одного из номеров журнала, который перешел тогда к Жуковскому, уже довольно известному писателю. Совсем юный критик, игнорируя и их разницу в возрасте и, главное, в положении в «литературной табели о рангах», и их дружеские связи⁴, с первых строк позиционирует себя не как «новичок-послушник» (самоопределение Вяземского, правда, данное в другое время и по другому поводу⁵), а как беспристрастный судья, равный с издателем в понимании журнального дела. Думается, такая позиция исходила из представлений Вяземского о том, что они с Жуковским – оба птенцы

³ РГАЛИ. Ф. Вяземских. № 195. Оп. 1. Ед. хр. 930. Л. 1 – 1 об. Впервые этот отрывок проанализирован в статье: Прохорова И. Е. П. А. Вяземский: первые шаги литератора-публициста // Филологические науки. – 1999. – № 1. – С. 67 – 69.

⁴ При этом, судя по переписке Вяземского и Жуковского за 1808 г., к сожалению, до сих пор не опубликованной, именно Вяземский в первую очередь стремился к их сближению, переводу приятельских отношений в дружбу. Об этом свидетельствуют, например, его письма от 26 июля и 2 августа (РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 48 – 49 об). Пользуясь случаем, приносим благодарность С. И. Панову за помощь в работе с этими архивными документами.

⁵ Вяземский П. А. Автобиографическое введение // Вяземский П. А. Полн. собр. соч. – Т. 1. – СПб., 1878. – С. 20.

гнезда Карамзина, в равной мере ответственные за сохранение и развитие его общелитературных, в том числе журналистских традиций.

В рецензии подчеркивалась закономерность особого отношения к «Вестнику Европы», который был «в начале своем издаваем первым писателем России» и который впредь должен следовать установленным им принципам – служить «храмом одних отборных пьес», отличаться разнообразием материалов⁶. Рассматриваемый 22-й номер Вяземский судил, опираясь на эти критерии, подтвержденные Жуковским в программном «Письме из уезда к издателю» («Вестник Европы», 1808, № 1). Заметим, кстати, что подобные высказывания обоих друзей явно служили формированию тогда в их кругу особого культа Карамзина.

В то же время Вяземский сразу нарушил одну из журналистских установок Карамзина и Жуковского – отказ от критики, а если и обращение к ней, то лишь ободряюще-позитивной, что декларировалось и в программе «Вестника» Карамзина, и в названном «Письме...» Жуковского. Хотя неясно, осознавал ли юный рецензент свои претензии к 22-му номеру журнала как такое нарушение. Любопытно при этом, что сам Жуковский менее чем через год в статье «О критике» («Вестник Европы», 1809, № 21) внес некоторые поправки в свою концепцию значения и характера критики в структуре журнала, свидетельствующие о стремлении расширить границы критики, отражая новые вызовы времени. Видимо, Вяземский с его темпераментом публици-

⁶ Симптоматично, что и сам Вяземский как поэт и прозаик предпочел дебютировать в печати в «Вестнике Европы», когда им руководил Жуковский (1808, № 19, 24). Причем впервые он предложил себя как сотрудника, когда Жуковский еще только готовился возглавить издание. В письме, которое, очевидно, надо датировать концом 1807 г., Вяземский «объявлял»: «ежели позволите, в первых номерах вашего журнала помещу пиесу, то есть: Первая речь Цицерона против Катилины: скажите мне, пожалуйста, входят ли в план вашего журнала такие пиесы» (РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 101). По ряду причин этот перевод Вяземского остался неопубликованным (рукопись хранится в РГАЛИ).

ста, критика-полемиста, «бойца кулачного»⁷, столь отличавшимся от психологического склада Жуковского, оказался чуток к ним даже ранее, чем его старший друг.

Автор «Нечто...» весьма нелицеприятно высказался об одной из анонимных переводных публикаций номера – «Портрете». Это произведение, действительно мало интересное, видимо, принадлежало к тому роду переводов из «массовой» литературы, которые Жуковский, судя по его письму от 4 ноября 1810 года, вынужден был иногда делать исключительно «для кармана»⁸, ведь на них имелся достаточно большой читательский спрос. Правда, имя переводчика Вяземский не оглашал: возможно, он не был уверен в авторстве Жуковского⁹. Но уже сопоставление критиком этого произведения с теми, что наполняли негативно оцененные им журналы «Друг юношества» М. И. Невзорова и «Аглая» П. И. Шаликова, звучало горьким упреком Жуковскому-редактору, который такими публикациями мог уронить репутацию «Вестника».

К сожалению, из сохранившегося отрывка неясно, предполагал ли Вяземский, рассмотрев литературный отдел, обратиться к статьям на научно-популярные и политические темы. Как бы то ни было, его общая оценка подготовленного Жуковским номера была высокой: «один из лучших до сего времени вышедших».

«Бичом Аристарха» (выражение из «Письма...» Жуковского, устами Стародума предостерегавшего журналистов от того, чтобы им «вооружаться») юный Вяземский продолжал пользоваться и в следующем году. Причем выступая, как это ни парадоксально, одновременно и «за» и «против» издателя, а с середины 1809 г. соиздателя (с М. Т. Каченовским) «Вестника». В «Двух словах постороннего» он критиковал Жуковского за уход от назревшей, по его мнению, «войны двух издателей журналов, читаемых во всей империи» – имелись в виду «Вестник» и «Аглая» Шаликова. Конечно, заявление о масштабах распространения этих изданий

⁷ Русский архив. – 1900. – Кн. 1. – № 2. – С. 192.

⁸ РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1909. Л. 11.

⁹ Об авторстве Жуковского см.: Айзикова И. А. Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского. – Томск, 2004. – С. 185, 401.

(особенно «Аглаи») грешило преувеличением¹⁰, что вообще было характерно для складывавшейся критико-полемической манеры Вяземского и объяснялось его стремлением заострить внимание читателей на поставленном им вопросе.

Вяземский не принял позиции Жуковского, который сначала медлил с ответом на появившиеся в шаликовской «Аглае» выпады против напечатанной в «Вестнике» его собственной повести «Марьяна роща», а потом откликнулся на них «Благодарностью любезному издателю “Аглаи”». Ведь этот отклик ограничивался оправданиями за свои «ошибки» и мечтательно-сентименталистским призывом ко всему якобы «исполненному взаимного доброжелательства семейству авторов» писать замечания в адрес друг друга, только не «повелительным языком учителя» и не с «колкою насмешливостью соперника»¹¹. Здесь Жуковский продемонстрировал уже определенную эволюцию в своем отношении к критике и антикритике (признавалась их польза) и вместе с тем оставшуюся прежней приверженность «учтивости» и недопущению «сражения, междуусобий» – как это сформулировано в упоминавшейся выше его статье «О критике».

В заметке Вяземского содержалось не только осуждение «мирной» стратегии Жуковского-критика, но и стремление защитить его как автора от разного рода уколов Шаликова. При этом в своем «первом полемическом опыте», как он позднее назвал «Два слова постороннего»¹², Вяземский использовал известные тактические принципы «лучшая защита – нападение» и «око за око, зуб за зуб». Соответственно он включил в него несколько язвительных замечаний по поводу стиля появившейся в то время в «Аглае» шаликовской «Истории Полины».

¹⁰ Любопытно, что к теме популярности «Вестника» в стране Вяземский полушутя-полусерьезно вскоре вернулся. В письме из Перми от 16 сентября 1809 года он сообщил Жуковскому о разговоре с дочерью генерал-губернатора о «чтении русских книг»: «возрадуйся, счастливый питомец Муз, прекрасные глаза Пермьки обращаются на листы твоего Вестника <...>» (РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 60).

¹¹ Вестник Европы. – 1809. – № 10. – С. 283 – 284.

¹² Ясинский Н. Кн. П. А. Вяземский. В письмах его к С. Д. Полторацкому // Новь. – 1885. – № 9. – С. 93.

Кстати, по воспоминаниям старика Вяземского, в первой трети XIX века таких «ветхозаветных нравов и преданий», в отличие от Карамзина и Жуковского с их «священным равнодушием и мирным бездействием в виду нападавших на них противников», придерживался И. И. Дмитриев, который и «побуждал» его «к отражению ударов и к битве»¹³. В этой связи любопытно письмо начинающего литератора Жуковскому от июля 1808 г., в котором Вяземский упоминает о своих беседах о нем с Дмитриевым: «без сомнения, разговор наш был ничто иное, как похвала, однако ж нашли и у Вас нечто, к чему можно придраться»¹⁴. Возможно, через год Дмитриев и подтолкнул своего ученика к созданию «Двух слов постороннего», хотя в данном случае полемист, скорее всего, действовал без подсказок.

Свое восприятие сложившейся тогда ситуации Вяземский эмоционально передал в письме Жуковскому от 22 августа 1809 года: «Благодарю тебя и цалую за ответ Шаликову. Признаюсь, молчание твое бесило меня, и я уже брал оружие за тебя. Пиеса и написана, а может быть, будет и напечатана в Рус. Вестнике»¹⁵. Показательно, что одобрение самого факта ответа Жуковского вовсе не отменяет для Вяземского актуальности собственной заметки – полемической по отношению к содержанию этого ответа. В данном письме Вяземский не счел нужным раскрывать подробности своей позиции, возможно, опасаясь попыток Жуковского противодействовать, по крайней мере, отговорить его от публикации «Двух слов постороннего». Показательно и отправление заметки в «чужой» журнал¹⁶. Вяземский явно стремился дистанцироваться от своего старшего друга, от тех карамзинистов (и не только карамзинистов), которые по разным причинам скептиче-

¹³ Цит. по: *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. – Л., 1969. – С. 363.

¹⁴ РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 100.

¹⁵ Там же. Л. 56 об.

¹⁶ Правда, опубликовал её не заявленный Вяземским московский журнал С. Н. Глинки «Русский вестник», а петербургский «Цветник» А. П. Бенитцкого и А. Е. Измайлова (1809. – № 9. – С. 391 – 396). Она вышла там с примечанием «прислано из Москвы от неизвестного» – обстоятельства ее «пересылки» остаются неясными.

ски относились к боевой журнальной полемике – так начиналось затянувшееся на годы их противостояние, и свои резоны были у обеих сторон.

При этом в содержательном плане полемические выпады против шаликовской повести в «Двух словах постороннего», как и некоторые другие конкретные литературно-критические суждения Вяземского в первых его выступлениях не отличались глубиной и обоснованностью, не выходили за узкие рамки стилистической критики. Такова, например, рецензия Вяземского на перевод С. И. Висковатовым трагедии Кребийона «Радамист и Зенобия» (1810), которую он послал Жуковскому для «Вестника». Она не была тогда опубликована, как пояснил Жуковский в письме Вяземскому, ибо «пожаловала уже поздно», когда он отослал Каченовскому для печати свой критический разбор перевода¹⁷. Однако вполне возможно, что и при других обстоятельствах статья Вяземского не была бы принята редакцией «Вестника».

Не случайно в том же 1810 году Жуковский отсоветовал ему издавать том своих критических статей. Об амбициозном проекте начинающего критика и суровом приговоре ему можно судить по письму Жуковского от 4 ноября: «Плана твоего *собрать свои критики* [выделено здесь и далее Жуковским – И. П.] совсем не одобряю, ибо твои критики, любезный друг, (это сказано не в отместие) не годятся никуда: ты не разбираешь, не судишь и не доказываешь, а только замечаешь некоторые забавные стихи¹⁸ и прибавляешь к ним несколько едких сарказмов, не имеющих никакого достоинства, и особенно в критике не могущих составлять *единственное* достоинство. <...> в критике ты смотришь не на слог, не на общее, а только схватываешь мимолетом (мимоходом

¹⁷ РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1909. Л. 11 – 12. О различиях подхода к анализу данного перевода в статьях Жуковского и Вяземского (рецензия последнего под названием «Письмо Батюшкову» опубликована в первом томе его ПСС) см.: *Канунова Ф. З., Лебедева О. Б., Янушкевич А. С.* Примечания // *Жуковский В. А.* Эстетика и критика. – М., 1985. – С. 398.

¹⁸ Разборы Вяземского, как показано выше, касались отнюдь не только «стихов», но неудовлетворительность самого его подхода как критика Жуковский определил в целом верно.

слишком для тебя степенно) некоторые отдельные выражения и по ним заключаешь о целом. И при таких неосновательных правах на суждение ты позволяешь себе судить очень решительно и даже воображать, что мнение твое не может бы<ть> ложное»¹⁹.

Реакция Вяземского на этот жесткий отзыв о его критических выступлениях нам неизвестна, но определенные результаты отповедь Жуковского имела. Издание не состоялось. Да и критическая манера взрослевшего Вяземского совершенствовалась, очевидно, не без учета мнения старшего товарища. Недаром уже летом 1817 года Жуковский совсем в ином (и не арзамаскишутливым) тоне отвечал Вяземскому на предложение стать его издателем («об издании твоих сочинений я думаю»). Прося отсрочки окончательного решения, так как ждал служебного назначения, он начал обсуждение с автором конкретных издательских вопросов – формата, «расположения пьес»²⁰. По ряду причин не состоялся и этот проект, но показательно сочувственное отношение к нему Жуковского.

Совершенствуясь как критик, Вяземский сохранял верность своей общей авторской стратегии как журналиста-полемиста, отнюдь не избегающего «сражений» и допускающего публичную критику даже близких ему литераторов. Она отразилась и в написанных Вяземским в 1810 г. «Запросах г-ну Василию Жуковскому от современников и потомков». Придирчивое внимание Вяземского вновь вызвал Жуковский как редактор и издатель, но уже не «Вестника» (там он оставался лишь на роли автора), а «Собрания русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов» в пяти частях (М., 1810 – 1811). Заметка представляет собой десяток вопросов, нередко откровенно иронических, касающихся состава сборника.

Кстати, в письме Вяземского Жуковскому от 26 июля 1808 года есть упоминание об обсуждении ими подобного издательского проекта, но задуманного тогда самим юным литератором: «Я нынешнее лето буду заниматься собранием лучших стихотворных

¹⁹ РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1909. Л. 13-об.

²⁰ Там же. Л. 1.

пиес, о котором мы с вами говорили, и чаю, что мое намерение будет исполнено»²¹. Самонадеянным планам Вяземского не суждено было реализоваться. Но интересно другое – в их переписке 1808 – 1810 годов, насколько нам известно, вообще о замысле «Собрания...» больше не говорилось. Зато в письме А. И. Тургеневу от 15 сентября 1809 года Жуковский подробно остановился на задачах и трудностях готовившегося им издания и посылал своему адресату «на апробацию роспись всем назначенным пиесам» для просмотра с Д. Н. Блудовым²². Видимо, Вяземский, проявлявший интерес к изданию антологии, но не включенный Жуковским в список «внутренних» (как сегодня принято говорить) рецензентов его «Собрания...», взял на себя роль «внешнего».

В самих многосоставных вопросительных конструкциях заметки («Зачем не напечатали Вы <...>, а напечатали <...>?») содержатся резко сформулированные Вяземским упреки в произвольности подбора текстов издателем «Собрания...», т. е. весьма серьезном недостатке для книг такого типа. В центральном (четвертом из семи) абзаце Вяземский писал: «По какому непонятному капризу не хотели Вы нам показать лучшего нашего перевода из Горация, т. е. оды к Венере Востокова, а напечатали уродливейший, т. е. Боброва: О ты, Бландузский ключ кипящий?»²³. Вяземский с его вполне обоснованным неприятием творчества близкого архаистам С. С. Боброва²⁴ не мог одобрить предпочтения Жуковского, видя в нем «каприз».

Правда, в данном случае критик судил издателя, не «по законам, им самим над собою признанным», не понимая или не

²¹ РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 128. Стоит отметить, правда, что из слов Вяземского не совсем ясно, относился ли проект исключительно к русской литературе, но, судя по контексту упоминания, такой вариант кажется наиболее вероятным.

²² Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. – М., 1895. – С. 48 – 49.

²³ *Вяземский П. А. Полн. собр. соч.* – Т. 1. – С. 1.

²⁴ В эти годы Вяземский постоянно (в основном в эпиграммах) высмеивал «темные», проникнутые мистицизмом, консервативными идеями произведения Боброва – Бибриса. Тем удивительнее для критика было увидеть их в «Собрании...».

желая учитывать цель, которую тот перед собой ставил. Ведь Жуковский стремился к полноте репрезентации отечественной поэзии: «Я издаю не примеры, но полное собрание лучших стихотворений Российских <...> между превосходными я поместил и посредственные <...>, ибо хочу, чтобы в собрании моем были chefs-d'oeuvre всех наших стихотворцев без исключения»²⁵. Для Жуковского это прежде всего история поэзии в лицах, «Собрание стихотворцев» (так он не раз в процитированном письме Тургеневу его и называл), а для Вяземского – антология образцовых произведений лучших авторов.

Не совсем оправданными оказываются и «запросы г-ну Василию Жуковскому» относительно неудовлетворительной представленности в «Собрании...» некоторых «матadors нашей поэзии» (по образному выражению Жуковского), в первую очередь Г. Р. Державина²⁶. Такой недостаток действительно свойствен изданию. Однако, как показывает переписка между издателем, А. И. Тургеневым (взявшим на себя посреднические функции) и Державиным, минимизация, а в конце концов (с третьего тома), и отказ Жуковского от помещения сочинений этого поэта были вынужденными. Недаром Жуковский изначально опасался неприязненной реакции печатаемых им авторов (не только Державина) и 15 сентября 1809 года просил Тургенева о посредничестве. Письмо Державина А. И. Тургеневу от 18 марта 1811 года свидетельствует, что он расценил как нарушение предварительных договоренностей перепечатку «во множестве целых» его од, не в «выписках» и без «примечаний и комментариев», как он ожидал и «как то бывает в ученом свете», да еще в «окружении» произведений других авторов, не согласованном с ним. Не без «подсказ-

²⁵ Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. – С. 48.

²⁶ Кстати, сообщая Жуковскому о желании издать свою антологию в 1808 г., Вяземский тут же не преминул сказать о своем особом отношении к этому писателю: «Я теперь еще раз прочел Державина и нашел, что он точно поэт, наиболее сходный с душою моею: c'est le poète de mon ame! и уверяю вас, что он мне нравится более всех стихотворцев, которых я до сего времени читал на всех языках: а я удивительно как много читал стихов» (РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 128).

ки» своего книгопродавца И. П. Глазунова Державин даже обвинил Жуковского в nepoзвoлитeльнoй пpaктикe «пoxищaть чужие труды и oбoгaщaтьcя зa cчeт ближнeгo» и пoтpeбoвaл «впpeдь» нe включaть eгo пpoизвeдeний в «Сoбpaниe...»²⁷, чтo, eстecтвeннo, былo выпoлнeнo издaтeлeм.

Вязeмский, cкopee вceгo нe знaвший oб этoй пepeпoлкe и вo oбщe eщe плoхo paзбpaившийcя в пpoблeмaх aвтopcкoгo пpaвa, взaимooтнoшeний пocлaтeлeй и издaтeлeй, их нeурeгулиpoвaннocти в Poccии, сумeл увидeть лишь вepшину айcбepгa в истopии c oтбopом мaтepиaлa для cбopникa. В peзультaтe oн oкaзaлся в poли oбвинитeлa бeз вины винoвaтoгo Жуковcкoгo. Хoтя в тeopетичeскoм oтнoшeнии тpeбoвaния peцeнзeнтa к coстaвитeлю cбopникa впoлнe coстoятeльны.

«Запpocы...», кoнeчнo, стaвили пoд coмнeниe нe тoлькo тe или иныe peшeния Жуковcкoгo кaк peдaктopa и издaтeлa. Зaмeткa Вязeмcкoгo явнo вписывaлaсь в aктуaльную тoгдa пoлeмику кapaмзинистoв и aрxaистoв, cвязaнa c xapaктepнoй для нee ритopикoй. Aвтop нe cкyпилcя нa пpeвoсxoднoye стeпeни в oцeнкaх (пpoизвeдeния «cвoих» или «нeйтpaльнoх» aвтopoв – «пpeкpacнeйшиe», «чужих» – «урoдливeйшиe»), испoльзoвaл кapaмзинcкoe выpaжeниe «бoмбaст», высмeивaя c eгo пoмoщью cтиль aрxaистoв c их «гpoмoм слoв нe y мecтa»²⁸. Нeкoтopыe из eгo «зaпpocoв г-ну Вaсилию Жуковcкoму» нaпoминaли эпигpaммы в пpoзe, пpичeм coдepжaщaяcя в них иpoния дeлaлa их нaпpaвлeнными нe пpoтив издaтeлa, a пpoтив якoбы oбижeнных им пocлaтeлeй. Яpкий пpимep тoму – oстрoумный вoпpoc Жуковcкoму oтнoситeльнo П. И. Гoлeницeвa-Кутузoвa и Д. И. Хвoстoвa, нaибoлee oдиoзнoх фигур cpeди aрxaистoв: «Хoтeлocь бы oчeнь cпpocить y Вaс, зaчeм нe взяли Вы ни oднoй пьeсы ни из Кутузoвa, ни из Хвoстoвa, нo

²⁷ Державин Г. Р. Сочинения. – СПб., 1876. – Т. 6. – С. 242 – 243. Реакция Державина на «Собрание...» Жуковского отразилась и в его эпиграмме «На издателя чужих сочинений» (Там же. – Т. 3. – С. 352). В письме от 11 апреля 1811 г. А. И. Тургенев попытался объяснить с возмущенным автором, и, в конце концов, конфликт был улажен.

²⁸ Карамзин писал об этом в «Предисловии» к «Аонидам» (1797. – Кн. 2). Цит. по: Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. – М., 1982. – С. 56.

угадывая, что Вы сказали бы нам в ответ: *надобно бы было их прочесть, мы молчим*»²⁹.

Такую язвительную критику, изобилующую личностями, в 1810 году Вяземский опубликовать не смог. Но спустя более полувека он посчитал нужным именно «Запросами...» открыть первый том своего Полного собрания сочинений (их предваряло только «Автобиографическое введение»). И действительно, эта заметка, запечатлевшая как вполне справедливые полемические «запросы», так и неоправданно строгие, весьма показательна для начала становления Вяземского как критика-полемиста, формировавшегося в ходе осмысления в первую очередь литературной, критической и издательской деятельности Жуковского.

Если юный Вяземский подчеркнуто требователен, иногда и придиричив к Жуковскому, то со временем он стал его главным защитником и пропагандистом. Кстати, всего через несколько лет после «Запросов...» Вяземский именно Жуковскому предложил роль своего «архитектора и помощника» в работе над другим издательским проектом – «пристройкой» к «Пантеону иностранной словесности» Н. М. Карамзина. Причем Вяземский специально подчеркнул: «без тебя я ни за что не возьмусь, и если ты не одобришь моей мысли и не согласишься мне содействовать, мое *бы* останется навсегда *бы* [выделено Вяземским – И. П.]»³⁰. Грустное предположение Вяземского оказалось пророческим: издание тогда не было подготовлено³¹.

²⁹ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. – Т. 1. – С. 2.

³⁰ РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 80. М. И. Гиллельсон цитировал это письмо Вяземского в своей монографии «П. А. Вяземский. Жизнь и творчество» (Л., 1969. – С. 70), но датировал его, представляется, неточно – 1822 г. Как нам уже доводилось писать, оно, скорее всего, относится к 1813 г. (день и месяц проставлены самим адресантом – 18 ноября).

³¹ Сама же идея сотрудничества в издании «образцовых» сочинений (Вяземского особенно привлекала публикация переводов из прозы) долгие годы продолжала занимать обоих друзей. Видимо, к 1816 г. относится письмо Жуковского Вяземскому со следующей подобной инициативой, причем предполагалось участие уже и других арзамасцев (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1909. Л. 78). Ср. письмо Жуковского Дашкову, датируемое янв. 1817 г. (Арзамас. – Кн. 2. – М., 1994. – С. 347 – 348).

В 1827 году уже состоявшийся литератор и активно действующий публицист Вяземский в одной из программных медиакритических (если использовать современное понятие) статей в «Московском телеграфе» безоговорочно отнес Жуковского, к этому времени практически отошедшего от журналистики, к высшему «разряду» в отечественной «журнальной геральдике». Он был поставлен рядом с Сумароковым, Новиковым, Крыловым, Карамзиным, которые обеспечили России «успехи периодические». Теперь опыт «Вестника» Жуковского для Вяземского так же ценен, как и карамзинского, и, в свою очередь, служит точкой отсчета для довольно скептической оценки периодики второй половины 1820-х годов: «Жаль, что сия ветвь литературной деятельности не осталась у нас в подобных руках»³². Так суждение об издательской практике Жуковского вновь оказывается полемически окрашенным и включенным в дискурс литературно-общественной, в частности журнальной, борьбы, но теперь уже набирающим силу «торговым направлением».

Во второй половине века в отношении Вяземского к журналу Жуковского появились новые ракурсы. Усилились ностальгические ноты: «Вестник Европы» не мог не восприниматься как вестник их общей ушедшей молодости. Вместе с тем Вяземский не ограничивался лирическими воспоминаниями. Его все больше привлекали возможности периодического издания как важного исторического источника. Судя по одной из заметок в «Старой записной книжке», в Жуковском-редакторе критик также выде-

³² Вяземский П. А. Журналистика // Московский телеграф. – 1827. – № 5. – С. 40. Стоит отметить, что Вяземский опубликовал эту характеристику в лучшем тогдашнем журнале, в котором сам он играл одну из ведущих ролей и к участию в котором активно привлекал и Жуковского, в частности как прозаика. (См., напр., письмо от 28 ноября 1825 г. // Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество... – С.129). Интересно, что столь же высокого мнения о месте «Вестника Европы» Жуковского в истории журналистики был В. К. Кюхельбекер, который в 1832 г., перечитывая это издание в ссылке, отметил в «Дневнике», что некоторые его тома «чуть ли не занимают первого места между русскими журналами, не исключая и “Телеграфа”» (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. – Л., 1979. – С. 181).

лял стремление реализовать эту функцию журнала, что проявлялось в публикации разного рода «отголосков когда-то живой речи», «дробей жизни», столь важных для того, «чтобы проверить итоги минувшего»³³.

В «Старой записной книжке» обращено внимание еще на одну сферу деятельности Жуковского в «Вестнике» – театральную критику. Его «Московские записки» (1809, № 22, 23) о гастрольях «девицы Жорж» (так Жуковский называл знаменитую французскую актрису Жорж – М.-Ж. Веймер, выступавшую тогда в Москве) Вяземский справедливо квалифицировал как «мастерские и превосходные отчеты». Это действительно были «беглые», но удивительно содержательные (особенно для того времени) статьи «тонкого и пронизательного» критика о спектаклях с анализом и самих пьес, и особенностей их воплощения на сцене, психологической достоверности актерской игры, со сравнением разных творческих манер – драматургических и исполнительских.

Показательно, как Вяземский выстроил свое рассуждение о мастерстве Жуковского в «Московских записках». Отрицательная конструкция в начале («нет в них ни сухости, ни пошлой журнальной болтовни, ни учительского важничания») полемически заостряла следующее за ней утверждение главных достоинств Жуковского – непосредственности и одновременно основательности его критических высказываний. Ведь именно его, по Вяземскому, отличала «живая передача живых и глубоких впечатлений, проверенных образованным и опытным вкусом». Причем в последней формуле, скорее всего сознательно, почти дословно воспроизведено определение идеального критика из статьи Жуковского «О критике», написанной в том же, что и «Московские записки», 1809 году.

В конце же рассматриваемой нами записи Вяземский прямо артикулировал важную для него в поздние годы оппозицию литературная «классика» первой трети XIX века – литературная современность: «Перечитывая их [«Московские записки» – *И. П.*] и читая новейшие оценки театрального искусства и движения, нельзя не сознаться, что журналы и газеты наши, по крайней

³³ Вяземский П. А. Старая записная книжка. – Л., 1929. – С. 290.

мере, в этом отношении, ушли далеко, но только не вперед»³⁴. В результате в «Старой записной книжке» Вяземского соединились весьма точная ретроспективная оценка Жуковского как одного из зачинателей серьезной театральной рецензии в России и неоправданно негативная – театральных критиков позднейшего времени. Правда, достоянием более или менее широкой публики эти суждения Вяземского стали вообще в конце века, уже после его смерти³⁵.

Наибольшей полнотой, глубиной и взвешенностью разбора литературно-критических и публицистических опытов Жуковского первой четверти XIX века отличается развернутая рецензия Вяземского на второе издание «Сочинений В. Жуковского в прозе» (1826). Отклик на книгу, объединившую публикации «Вестника Европы» и статьи начала 20-х годов, появился в том же году в «Московском телеграфе» – как уже отмечалось, с основания журнала Вяземский был одним из его ключевых сотрудников³⁶. Задержка с публикацией рецензии (цензурное разрешение «Сочинений...» помечено мартом, а рецензия вышла в декабре), очевидно, обусловлена целым рядом обстоятельств, отнюдь не способствовавших творческому энтузиазму Вяземского в 1826 году. Он тяжело переживал потрясения декабря 1825 года, болезнь и смерть Карамзина, жестокий приговор декабристам, многие из которых были ему и лично близки, трагедию братьев Тургене-

³⁴ Вяземский П. А. Старая записная книжка. – Л., 1929. – С. 169 – 170. Заметку Вяземского, как и большинство текстов в «Старой записной книжке», точно датировать не представляется возможным. Судя по различным косвенным признакам, данная запись сделана не ранее 1840-х гг. Любопытно, что по горячим следам «Московские записки» Жуковского очень высоко оценил их общий с Вяземским друг – А. И. Тургенев, отметив в письме брату Н. И. Тургеневу от 20 дек. 1809 г., что это, по сути, первый опыт «умной и тонкой критики» на русском языке (Архив братьев Тургеневых. – СПб., 1911. – Вып. 2. – С. 406).

³⁵ Вяземский П. А. Старая записная книжка // Полн. собр. соч. – Т. 8. – СПб., 1883. – С. 253.

³⁶ Московский телеграф. – 1826. – № 23. – С. 169 – 181. Далее статья цитируется по: Вяземский П. А. Полн. собр. соч. – Т. 1. – С. 260 – 269 (в названии была допущена опечатка: «Сочинение В. Жуковского в прозе» вместо «Сочинения»).

вых, неуклучшающееся состояние здоровье Батюшкова, болезнь и отъезд за границу Жуковского³⁷. Незадолго до отъезда самого Вяземского на лето в Ревель (он сопровождал осиротевшую семью Карамзина) 3 мая 1826 года он писал Жуковскому: «Настоящее нестерпимо дурно, а в будущем никаких нет надежд, а напротив, одни утраты <...> Карамзины, Батюшков, Тургеневы, Жуковский, Вяземский – все эти деревья более или менее опалены молниею. В прежнем цвете уже никому не бывать»³⁸.

Рецензия на книгу прозы Жуковского вместе с другими публикациями в последней части «Телеграфа» за 1826 год стала своего рода знаком возвращения Вяземского к активной журналистской деятельности (1827 год – ее пик). Кроме того, рассматриваемая публикация обозначила и возобновление его участия в полемике о месте Жуковского в современной словесности. В нее Вяземский включился еще в первой части «Телеграфа» за 1825 год на шумевшей тогда антибулгаринской статьей «Жуковский. – Пушкин. – О новой пиитике басен», в которой отстаивалось значение Жуковского-поэта, «следствием» которого был А. С. Пушкин. Получивший за ту статью «выговор» от своего «подзащитного»³⁹, Вяземский после более полутора лет молчания посчитал нужным опять сделать выпад в адрес писавших о Жуковском, с его точки зрения, не должным образом. Неназванным Вяземским объектом его иронических высказываний, как нами установлено и как следовало ожидать, стала анонимная заметка в рубрике «Новые книги» «Северной пчелы»⁴⁰. В данном случае объект был не совсем удобен для полемиста – неудачный в отношении стиля и логики суждений, отзыв булгаринской газеты на том прозы Жу-

³⁷ Недаром в письме Вяземскому от 7 мая 1827 г. А. И. Тургенев определил 1826-й как «страшный прошедший год» (Остафьевский архив князей Вяземских. – Т. 3. – СПб., 1899. – С. 158).

³⁸ РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Л. 45. О только что вышедшем томе прозы Жуковского в данном письме нет ни слова, хотя обсуждались финансовые дела по распространению ранее изданных его «Стихотворений» (по просьбе автора Вяземский активно помогал ему в этом).

³⁹ См. об этом подробнее: Щукинский сборник. – Вып. 5. – М., 1906. – С. 271.

⁴⁰ Северная пчела. – 1826. – № 124, 16 окт. – С. 1 – 2.

ковского благоприятен. В результате часть рецензии, отведенная Вяземским антикритике, оказалась наименее содержательной: негде было развернуть его «бойцовскому» таланту.

В целом же разбор насыщен фактами, историко-литературными и актуально-публицистическими соображениями, полемическими замечаниями, весьма интересными и важными. Хотя зачастую эти высказывания оставались недостаточно связанными между собой⁴¹ и не вполне разработанными. Такая фрагментарность текста отчасти объяснялась «сборным» характером рецензируемой книги – критик переходил от одной публикации Жуковского к другой, «по ходу» делясь своими оценками и попутными рассуждениями с читателем. В то же время здесь проявилась особенность самой творческой манеры Вяземского – «поэта мыслей» (как его остроумно назвали в отличие от «поэтов мысли») не только собственно в поэзии. Из-под его пера нередко выходили пронизательные, глубокие, остроумные суждения, которые оставались почти необработанной драгоценной россыпью даже в статьях (не говоря уж о «Записных книжках»).

Так, на первой странице рецензии 1826 года прозвучала мысль о недостаточности развития русской прозы, ставшая одной из центральных в литературной критике второй половины 20-х – 30-х годов⁴². Правда, здесь она заявлена Вяземским лишь ради объяснения того, почему актуальна перепечатка известных публике прозаических произведений Жуковского. Более глубокой разработки ее в статье не последовало.

Представляя издание, Вяземский высказал ряд упреков составителю, в частности за несоблюдение хронологического порядка

⁴¹ Сам Вяземский еще в письме Жуковскому от 9 января 1823 г. признавал такой недостаток своей прозы: «с сцеплением мыслей связываю я неудачно и сцепление слов» (Русский архив. – 1900. – Кн. 1. – № 2. – С. 187). Правда, бороться с этим недостатком он, по сути, считал невозможным, да и не очень нужным.

⁴² Любопытно, что впервые Вяземский указал (пусть только а про-
pos) на неприемлемость ситуации, когда «никто» «у нас» не пишет «прозой», как раз в письме Жуковскому от 1813 г., отметив: «Ты бы мог, но не хочешь, и грех тебе, и грех смертельный!» (РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 113).

в расположении «писес». В такой дотошности рецензента, возможно, проявилась определенная ревность несостоявшегося издателя произведений Жуковского⁴³. Вместе с тем опытный журналист, он понимал, что подобная «критика типографическая» – «отступление от дела», и ограничил её заметками «мимоходом».

Рецензия строится довольно традиционно: от общего представления издания, его задач, отклика на уже появившийся в печати отзыв – к разбору конкретных произведений, составивших книгу. При разборе Вяземский развивал продекларированные еще Жуковским подходы «дельной критики», толкующей не только «о словах» и соответственно «поучительной и для писателей, и для читателей». Дав в самом начале рецензии понять, что продолжает относить Жуковского к «писателям, первенствующим в литературе», автор тут же подчеркнул свою приверженность взвешенной взыскательной критике, не позволяющей «оставаться при одних похвалах беспрекословных». Так, о повести «Марьяна роща» Вяземский справедливо заметил, что в ее «слоге отзывается молодость», пусть «многообещающая». Указывая на конкретные недостатки раннего произведения Жуковского («расточительность в описаниях», «невоздержность на прилагательные»), критик предостерегал от них «молодых авторов».

Основное внимание Вяземский уделил публикациям Жуковского в «Вестнике Европы» (это соответствовало их доминирующему положению в сборнике: семь из девяти), и прежде всего тем из них, в которых автор предстает как критик и публицист, а не беллетрист. Такой подход вполне закономерен в свете собственных творческих предпочтений рецензента. Его привлекала и просветительская, во многом дидактическая установка Жуковского-критика. Недаром в письме последнего «О критике» высоко ценилось «нравоучительное и литературное наставление всем, готовящимся на ее поприще». Вместе с тем перечитывая в 1826 году выступление Жуковского 1808 – 1809 годов сотрудник «Московского телеграфа» уже не мог не признать, что в некоторых из них «слишком отзывается Французская школа» с ее нормативно-

⁴³ Об издательских предложениях Вяземского см.: РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 6 – 6 об, 11 об.

стью. Литературная критика за полтора десятилетия ушла вперед, постепенно отказываясь от «безусловной покорности» прежним «правилам», и чуткий к этим тенденциям Вяземский стремился соотносить образцы «старой» критики с новыми требованиями.

Хорошо зная творчество Жуковского и историю «Вестника Европы», рецензент с сожалением писал об отсутствии в сборнике «Письма из уезда к издателю», «открывшего новую эпоху “Вестника Европы”». Вяземский почти дословно повторил пассаж об особой ответственности руководить начатым Карамзинным журналом из своего давнего отрывка «Нечто о 22 номере...». Правда, к нему критик сделал небольшое, но характерное для его либерально-просветительской идейной позиции второй половины 10-х – 30-х годов добавление, указав на ответственность возглавить журнал не просто начатый Карамзиным, но имеющий «происхождение европейское». Для Вяземского 1826 года «европейское» – синоним всего прогрессивного, просвещенного, противостоящего литературной и общественно-политической отсталости.

С такими критериями он подходил и к оценке журнальной практики Жуковского. Вяземскому должно было импонировать «Письмо из уезда к издателю» с его декларацией, что «обязанность журналиста – под маскою занимательного и приятного скрывать полезное и наставительное», иметь «в виду пользу, но угождая общему вкусу читателей, хотя не подчиняясь ему с рабскою робостью»⁴⁴. Несмотря на то, что в этом «Письме...» отвергалась идея включения литературно-художественной критики в состав журнала, в целом сформулированная здесь программа журнальной деятельности близка Вяземскому. Тем более естественно было вспомнить о ней в ситуации, когда нарастало противостояние с Ф. В. Булгариным, журнальная практика которого все ярче олицетворяла неприемлемое для Вяземского и Жуковского понимание «полезного» для читателя и рабское подчинение вкусам толпы.

Высоко ставя «Письмо из уезда к издателю» и первым отметив связь образов Стародума у Жуковского и Фонвизина, Вя-

⁴⁴ Жуковский В. А. Эстетика и критика... – С. 160.

земский не преминул упрекнуть обоих героев, что они говорят «иногда слишком плодовито и заговариваются от своего предмета». Любопытно, что здесь рецензент Жуковского возвратил ему тот упрек, который сам неоднократно получал от своего старшего друга (прежде всего в связи с многочисленными «пристройками» к «Известию о жизни и сочинениях Ивана Ивановича Дмитриева»⁴⁵). При этом Вяземский поторопился сразу оговорить незначительность такого авторского греха. Он выступил с принципиальным оправданием содержательных отступлений от основной темы в любом критическом и/или публицистическом тексте: «Были бы мысли, а времени у нас довольно на слушание».

Наиболее пространным в рецензии Вяземского (две страницы) стал отклик на статью Жуковского об А. Д. Кантемире. Он приветствовал ее как «прекрасную дань» несправедливо забытому в XIX веке «воспитаннику Петровской школы», во многом опередившему «свой век». За это рецензент прощал Жуковскому слишком, с его точки зрения, обширное вступление (статья начиналась важным для Жуковского критика теоретическим рассуждением о сатире, ставшим результатом изучения им классических работ Зильцера, Эшенбурга, Лагарпа) и слишком немногочисленные и краткие суждения собственно о произведениях Кантемира. А длинные выписки из его сочинений, которые «сделались редкостью в книжном обращении»⁴⁶, Вяземский готов был признать «находкой», полезной для современного читателя. Ведь хотя бы таким образом знакомясь с кантемировскими сатирами, совре-

⁴⁵ См. об этом письмо Вяземского Жуковскому от 9 янв. 1823 г.: «Перейдем теперь к другому обвинению твоему насчет моей биографии, о пристройках, о том, что, слишком часто удаляясь от главного предмета, заговариваюсь. Перекрестись и стыдись! Да что же могло взманить меня и всякого благоразумного человека на постройку, если не возможность пристроить?» (Русский архив. – 1900. – Кн. 1. – С. 186).

⁴⁶ Здесь же Вяземский подчеркнул необходимость переиздания сочинений Кантемира, ставших библиографическим раритетом. Насколько это было для него важно, показывает то, что в 1850-е гг. он повторил свое предложение (см. рукопись его записки по этому вопросу: РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1030).

менники Жуковского и Вяземского могли сравнить, «что у нас писалось в старину и что ныне пишется», и, следовательно, поубавить необоснованную гордость «успехами своими на поприще ума и образованности».

Вообще высказывания Вяземского в связи с этой статьёй Жуковского (да и другими) носили явно публицистический характер. Причем, согласившись с «похвалой» Жуковского Кантемиру как «остроумному философу», «стихотворцу искусному» и «живописцу», рецензент в своих размышлениях сфокусировал внимание на сохраняющейся общественной значимости и актуальности творчества этого литератора. То есть как раз тех его качеств, которые оказались практически вне поля зрения Жуковского.

Особое сочувствие Вяземского вызывала способность Кантемира «смело и без обиняков схватываться со всеми пороками, со всеми дурачествами и предрассудками, господствующими в обществе», и «побороть их силою истины и рассудка». Симптоматична разница в акцентах при определении целей сатирика Жуковским и его рецензентом. Жуковский видел задачу сатиры в «осмеянии человеческих заблуждений, глупостей и пороков» и только через несколько страниц уточнял: имевших «влияние и общее, и самое обширное». Необходимость сражаться с «гибельными для общества» пороками критик вообще относил лишь к «важным сатирам», в которых автор воодушевляется «негодованием», в отличие от сатир «веселых»⁴⁷. Для Вяземского всегда предмет сатиры – общественные пороки, причем не просто «гибельные» для общества, но и порожденные несовершенством социального устройства. Рецензент никак специально не оговаривал различия в их с Жуковским позициях, но они заметны, особенно если помнить, что это не первое их «столкновение» по вопросу о сатире⁴⁸.

⁴⁷ Жуковский В. А. Эстетика и критика... – С. 197, 200 – 201.

⁴⁸ См. об этом, в частности, статью: Прохорова И. Е. Социально-философская установка и творческая позиция писателя-публициста (полемика вокруг послания П. А. Вяземского «Сибирякову» // Вестн. Томского гос. ун-та. – 2007. – № 294, январь. – С. 73 – 78.

Показательна и реакция Вяземского на сравнение Жуковским сатир Горация с его «приятной и остроумной шутливостью» и Ювенала – «бича порочных и порока»⁴⁹. Умолчав о сказанном критиком о Горации, рецензент приветствовал «прекрасную, мастерскую характеристику Ювенала». Думается, такое предпочтение обуславливалось не качеством тех или иных конкретных высказываний Жуковского (кстати, обе характеристики, как известно, опираются на суждения Ж. Ф. Лагарпа), а литературно-общественной установкой самого Вяземского.

Главные тезисы в размышлениях Вяземского о Кантемире – сожаление, что тот «родился не нашим современником», поскольку он имел бы благое влияние «на мнение общественное», и одновременно сомнение, что в нынешних условиях ему позволили бы «давать свободное течение перу». Готовя рецензию для «Московского телеграфа», ее автор, разумеется, не мог прямо писать о причине такого сомнения – тяжелых общественных, в частности цензурных, обстоятельствах первого постдекабристского года. Он использовал довольно расплывчатые формулировки при характеристике современности: «многие перемены в нашем положении и во нравах наших», «литературные и различные преграды», «опасливость языка авторского». Но читателю журнала нетрудно было оценить оппозиционность Вяземского, сопоставлявшего уровень авторской свободы в их время и в эпоху Кантемира в пользу последней.

Интерес представляет также тезис Вяземского об определяющем воздействии на национальную литературу и историю тех писателей, которые стояли у ее истоков. Критик с сожалением писал, что в России преобладающее влияние имел М. В. Ломоносов, который в избранном им «роде сочинений» – оде – действовал, однако, «только в чисто литературном, а не гражданском смысле». Вяземский полагал, что, будь у автора сатир Кантемира «воля» Ломоносова, «поворотившего наш стихотворный язык», он сделал бы неизмеримо больше одописца, ведь одной рукой бы «изгонялись погрешности из языка и предрассудки из общества».

⁴⁹ Жуковский В. А. Эстетика и критика... – С. 201 – 204.

Обращаясь к статье Жуковского «Писатель в обществе», как и в случае с его работой о Кантемире, Вяземский не столько анализировал суждения критика, сколько ставил вопросы, волнующие его самого и актуальные для российского общества 1826 года. Хотя начинался отклик с одобрения Жуковского, сумевшего показать «все выгоды и невыгоды положения» писателя в обществе⁵⁰, тут же следовала оговорка, что автор рецензируемой статьи довольствовался «одними общими соображениями». Если Жуковский «не применял их к положению русских писателей в русском обществе», ограничившись несколько абстрактными морально-психологическими размышлениями, то Вяземского интересовали как раз конкретно-исторические и социальные применения «общих соображений». Вообще нельзя не заметить, что его размышления о томе прозы Жуковского, при всей их фрагментарности, все же в основном вписывались в парадигму рассуждений Вяземского на тему взаимоотношений писателя и общества – в прошлом и настоящем, в России и Европе.

Вывод Вяземского неутешителен: «По светскому уложению нашего общества, авторство не есть звание, коего представительство имеет свои права, свой голос и законный удел на съезде чинов большого света». Публицист не просто выступал в защиту литераторов в России. Для него принципиально важна идея благотворного воздействия писателя на общество. В качестве примера он ссылаясь на французский опыт эпохи Людовика XV и Людовика XVI «до начала революции», когда деятели литературы имели «всемогущее влияние» не только на «общую образованность народа, но и на частные мнения и привычки общества». Ради утверждения реализуемости своего идеала Вяземский был готов приукрасить ситуацию в предреволюционной Франции. Желаемое выдавалось за действительное: «Парижское общество было тогда республикою, управляемую олигархией нового рода, составленную из умных людей и литераторов». Хотя никакие

⁵⁰ Этим пассажем Вяземский развивал свою высокую оценку статьи Жуковского и вызвавшего ее одноименного перевода Д. П. Северина, которая впервые прозвучала в 1808 г. в рассмотренном выше наброске «Нечто о 22 номере...».

имена не назывались, сведущий читатель понимал, что речь шла об энциклопедистах, о Вольтере. На этом рассуждение Вяземского на тему «писатель и общество» обрывалось.

Незавершенность данного «сюжета» объяснялась, очевидно, не только торопливостью⁵¹ и общей, как отмечалось выше, установкой автора на фрагментарность текста, но и цензурным давлением⁵². Но даже в таком виде он подтверждал репутацию Вяземского как либерально настроенного публициста, что придавало его рецензии необычную для 1826 года политическую остроту. Причем некоторая недоговоренность могла даже усиливать такое впечатление.

Интересно, что в 1826 году и Жуковский в письмах из-за границы к друзьям неоднократно обращался к теме воздействия писателя на общество, причем именно в применении к современной России. В письме Вяземскому от 26 декабря 1826 года он подчеркнул: «Теперь более <чем> когда-нибудь знаю высокое назначение писателя (хотя и не раскаиваюсь, что покинул свою дорогу⁵³). <...> У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого». Определенная переключка между тогдашними высказываниями друзей по проблеме «писатель и общество» бесспорна. К сожалению, отношение Жуковского к рассматриваемой рецензии Вяземского и соответственно к его рассуждениям о французском опыте решения данной проблемы неизвестно.

⁵¹ Такой торопливостью могла быть обусловлена некоторая стилистическая невыверенность текста (например, довольно неуклюжее выражение «умные люди и литераторы»).

⁵² Правда, никаких следов непосредственного вмешательства цензуры в рассматриваемую статью Вяземского в архивных делах обнаружить не удалось, как, впрочем, и ее рукопись. Однако нельзя не учитывать практику самоцензуры, которая могла осуществляться автором и неосознанно, тем более свидетельствуя о неблагоприятности общественного климата в стране.

⁵³ Жуковский имел в виду, что впредь не сможет заниматься литературой, поскольку, взяв на себя роль воспитателя наследника престола, посвятит всё своё время её исполнению. Как известно, Вяземский такие его планы («отказ от пера», «авторское кастрато») не поддерживал (см., напр., его письмо А. И. Тургеневу в ноябре 1827 г. // Остафьевский архив. – Т. 3. – С. 166).

Однако трудно предположить, чтобы Жуковский разделил восхищение Вяземского деятельностью «олигархии нового рода» во Франции XVIII века – он продолжал исповедовать совершенно иные представления о том, в каком направлении должен влиять писатель на общество. Об этом свидетельствуют и включенные им в процитированное письмо Вяземскому наставления А. С. Пушкину: «Ты можешь сделать более всех твоих предшественников! <...> Не смешивай буйство со свободою, необузданности с силою! Уважай святое и употреби свой гений, чтобы быть его распространителем»⁵⁴.

Если литературно-общественные взгляды Жуковского и Вяземского нередко расходились⁵⁵, то в отношении нравственности Жуковский всегда оставался высочайшим авторитетом для своего младшего друга. Соответственно оценена Вяземским способность «нравственно-философического разрешения» Жуковским вопроса «Кто истинно добрый и счастливый человек?» в одноименном эссе. Разделяя точку зрения Бюффона, что «слог – это человек», критик находит в слоге Жуковского проявление «ума ясного и сердца чистого». Но и здесь рецензент не удовлетворился «похвалами беспрекословными».

Вяземский посчитал необходимым оспорить два утверждения Жуковского. Первое возражение касалось излишнего морального ригоризма писателя, заявившего, что «в обществе гражданском должно быть семьянином». В противоположность Жуковскому (кстати, тогда холостому) семьянин Вяземский, которого в трактовке и такого рода вопросов отличала широта взглядов, отстаивал возможность холостяку претендовать на звание «истинно доброго» и счастливого.

⁵⁴ Жуковский В. А. Соч. : в 3 т. – Т. 3. – М., 1980. – С. 492 – 493. Едва ли можно усомниться, что под неприемлемыми для Жуковского «буйством», «необузданностью» подразумевались не просто крайности, иногда свойственные поведению молодого Пушкина, но его наиболее радикально-либеральные высказывания как в поэзии, так и прозе (прежде всего эпистолярной).

⁵⁵ Вяземский не раз писал об их «различии мыслей» и «так сказать, исповеданий» (см., напр., письмо от 20 янв. [1824]: РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 3).

Второе возражение относилось к сомнению Жуковского, называть ли «истинно добрым» справедливого судью, действующего по «закону и совести». Вяземский, в те годы страстный сторонник либерально-конституционных ценностей, все больше осознававший, насколько трудно реализуемы в России идеи главенства закона, независимости суда, не принял логику Жуковского. Тем более актуальным для Вяземского было возвышение голоса в пользу справедливого судьи в конце 1826 года, после следствия и суда над «заговорщиками». Недаром в написанном тогда же письме Жуковскому он прямо заявил, что решениям судей, вынесших приговор декабристам, можно было бы доверять только в том случае, если бы среди них были заслужившие нравственный авторитет в обществе Н. М. Карамзин и И. И. Дмитриев⁵⁶. В данном контексте закономерно публицистически темпераментная реакция рецензента на двадцатилетней давности рассуждение идеалиста Жуковского, что суд «по закону и совести» – обычная норма поведения судьи, не дающая права на номинацию «истинно добрым» и счастливым. Причем реалистически мыслящий Вяземский особо подчеркнул ответственность общества за то, как себя ощущает и реализует свои функции судья: «горе обществу, которому он служит, если не дарует оно ему способов быть истинно счастливым, ибо для подобного судьи беспрепятственное исполнение обязанностей должно быть счастьем, т. е. высоким изящным удовольствием души».

Выстраивая рецензию в соответствии с последовательностью расположения статей Жуковского в рассматриваемом томе, заключительную часть (всего полстраницы текста) Вяземский посвятил его прозе послевестниковского периода. Хотя краткость отзыва о «Путешествии по Саксонской Швейцарии» и «Рафаэлевой “Мадонне”» не означала прохладного, тем более негативного к ним отношения.

Так, «отрывки из путешествий 1821 и 1824 годов» признаны «образцом прозы описательной», и высказано пожелание, чтобы Жуковский издал все свои путевые записки. Вместе с тем свойственный Вяземскому преимущественный интерес к обще-

⁵⁶ Остафьевский архив. – Т. 5. – СПб., 1911. – С. 158.

ственной проблематике⁵⁷ обусловил его предпочтения и в жанре путешествия. По его мнению, «приятнее и полезнее смотреть с наблюдателем на общество, вникать в нравы, сводить через него [путешественника-наблюдателя – И. П.] знакомства с знаменитыми современниками», чем с живописцем – «на природу».

Тем не менее рецензент по достоинству оценил мастерство Жуковского в передаче впечатлений от произведений искусства в его статье «Рафаэлева “Мадонна”». Вяземский, к 1826 году уже много размышлявший и писавший о романтизме, явно заметил романтическое начало в этом отрывке Жуковского, хотя и не педантировал данную тему. Но он удачно переадресовал определение Жуковского («Мадонна» Рафаэля – «не картина, а видение», ведь в ней есть чудо откровения) его собственному тексту и сумел, по крайней мере, намекнуть на особенность поэтики Жуковского-критика. Как и в заметках последнего об игре «девицы Жорж», в его статье о шедевре Рафаэля рецензента привлекало умение Жуковского не только дать «отчет о чувствах своих при созерцании» произведений искусства, но и понять и посвятить читателя в «тайнства» души, психологию самого творящего художника.

В конце рецензии Вяземский избегает делать какие-либо выводы, подводить итоги. Такой финал вполне органичен для фрагментарной структуры статьи. Это позволяло воспринимать ее как своего рода цикл комментариев – реплик «по ходу чтения» сборника, весьма содержательных, но не подчиненных жестко какой-либо одной теме, хотя и позволявших выделить важнейший для рецензента сквозной мотив «взаимоотношения

⁵⁷ Этот аспект творчества Вяземского уже рассматривался нами в ряде статей. Здесь упомянем только, что в конце 10-х – начале 20-х гг. Вяземский неоднократно позволял себе «пояриться» на «доброе мечтателя» Жуковского за недостаточно активную литературно-общественную деятельность, за уход от актуальной социально-политической проблематики, за «дворцовый романтизм» в поэзии. Причем такая критическая позиция Вяземского тогда разделялась не только литераторами декабристского лагеря с их безусловным идеалом поэта-гражданина, но и И. И. Дмитриевым, призывавшим «оторвать» Жуковского «от немчиzny», чтобы «описать что-нибудь поважнее» (Русский архив. – 1867. – № 7. – Стб.1113).

писателя и общества», не претендовавших на систематическое ее раскрытие, а соответственно предполагавших продолжение разговора. И, понятно, не только о прозе Жуковского. Текст статьи включался в метатекст – и публиковавшего её журнала, и творчества Вяземского в целом.

Итак, критические, публицистические, редакторские и издательские опыты Жуковского первой четверти XIX века нашли в Вяземском внимательного, дружески расположенного и одновременно строгого, иногда даже придирчивого судью. Всегда помня об их общих корнях – связи с Карамзиным, Вяземский считал возможным и даже необходимым открыто критиковать («бранить» и «тормошить»), как они сами полусуто-полусерьезно писали) собрата по перу, вступать с ним в нелицеприятные споры, нередко по довольно принципиальным вопросам.

Такая установка, по словам старика Вяземского в заметках «По поводу бумаг Жуковского» (1876), была вообще характерна для «литературных и литераторских отношений» в их «кружке». Как показано выше, она реализовывалась им и в письмах Жуковскому⁵⁸, и в «Записных книжках» (не рассчитанных на широкого читателя), а иногда и в выступлениях на страницах периодики. Причем литературно-общественные взгляды, авторская стратегия и тактика Вяземского во многом вырабатывались именно в связи с его размышлениями о деятельности Жуковского – критика, публициста, редактора и издателя.

Вяземский ценил, но не переоценивал мастерство и значение прозы своего старшего друга, созданной до выхода второго издания «Сочинений В. Жуковского в прозе» (1826). И все же критик был к ней снисходительнее и, думается, справедливее самого Жуковского, утверждавшего в «Конспекте по истории русской литературы» (1826 – 1827), что он «имеет свои индивидуальные

⁵⁸ Заметим в этой связи, что Жуковский не одобрял готовность Вяземского в эпистолярное общение переносить и арзамасскую практику язвительных нападок: «Я не должен быть для тебя буффоном, оставим это для Арзамаса... Полно, брат, острить об меня перо! <...> В этой принужденности часто бывает много оскорбительного» (письмо от 12 ноября 1818 г. цит. по: *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский. Жизнь и творчество... – С. 53 – 54).

заслуги», как и другие прозаики – последователи Карамзина, но в целом они «не достигли искусства своего учителя», а «то, что они написали, незначительно»⁵⁹.

И сегодня отзывы Вяземского помогают осмысливать деятельность Жуковского – прозаика, редактора и издателя как живое историческое явление. Отличающиеся особым публицистическим «градусом» суждения Вяземского актуализируют анализируемый материал, лишая его холодной окаменелости памятника. Данный эффект нередко достигался благодаря тому, что критик исходил из принципа создать «свое по поводу чужого», по известному выражению Жуковского. В таких случаях Вяземский либо использовал «чужой» текст для обозначения направления собственных рассуждений, «дописывал» начатое до него (например, в отклике на статью Жуковского о Кантемире), либо выстраивал свой отзыв как полемический «ответ» на высказывание рецензируемого автора (например, в ситуации со статьей Жуковского «Кто истинно добрый и счастливый человек?»). Наиболее ярко такая авторская стратегия проявилась в рецензии Вяземского на книгу прозы Жуковского 1826 года, но ее черты просматриваются и в более ранних его работах.

Подобная практика критика-публициста, как отмечалось, постоянно вызывала нарекания, в том числе и со стороны его старшего друга. С этим связана, возможно, и оценка Жуковским прозы Вяземского в уже цитировавшемся «Конспекте...»: «Его проза также очень сильна, но ей еще более свойствен недостаток его стихотворений – стремление вместить слишком многое в небольшом пространстве»⁶⁰. Вяземский же не мыслил своей прозы без этих недостатков. И незадолго до смерти, в 1870-е годы писал: «<...> проза моя не будет забыта <...> В прозе моей есть физиономия и самобытность. Она, разумеется, не идет в подметки прозе Карамзина и Жуковского, но именно тем и отличается, что пошла не их дорогою, а своими проселками»⁶¹.

⁵⁹ Жуковский В. А. Эстетика и критика... – С. 323.

⁶⁰ Там же. – С. 324.

⁶¹ Старина и новизна: Исторический сборник. – Кн. 2. – СПб., 1898. – С. 123.

Так, критикуя друг друга, друзья «от малолетства», но отнюдь не всегда единомышленники, шли все же в одном направлении – прокладывая каждый свой путь к истинной «славе своей и Отечества»⁶².

⁶² *Вяземский П. А.* Письмо В. А. Жуковскому от 16 февраля 1822 г. // Русский архив. – 1900. – Кн. 1. – № 2. – С. 183.

И. А. Сурнина,
*аспирантка кафедры истории русской литературы и журналистики
факультета журналистики МГУ*

История создания журнала «Вестник промышленности»

Федор Васильевич Чижов... Яркая, выдающаяся личность в истории России XIX века. Широко образованный человек, обладающий глубокими научными знаниями, твердой волей и целеустремленностью. Имя Федора Васильевича Чижова гремело при жизни, но в последовавшее столетие было забыто. Интерес к нему стал проявляться совсем недавно. Вызвано это в первую очередь тем, что в духовном завещании Чижов разрешил вскрыть свои бумаги (дневники, переписку, разрозненные документы) только по прошествии 40 лет со дня его смерти 14 ноября 1877 года. По-нятно, что осенью 1917 года было не до публикации дневника; он до сих пор не издан и хранится в рукописном отделе Российской государственной библиотеки в фонде Чижова (Ф. 332).

При жизни Ф. В. Чижов проявил себя в разных сферах деятельности. Окончив Петербургский университет магистром философии по отделу физико-математических наук, он начинает интересоваться словесностью, историей, философией, политикой, пишет ряд статей по религиозной живописи, занимается переводами. В середине 40-х годов XIX века Чижов становится активным участником славянофильского кружка. Живя в ссылке в Триполье в период мрачного семилетия (Чижов был арестован по доносу австрийского правительства, уличившего его в выгрузке оружия в Далмации, и по подозрению в принадлежности

к Кирилло-Мефодиевскому обществу), он занялся шелководством, за заслуги в этой отрасли сельского хозяйства он получил две медали. В последние годы жизни Чижов становится финансистом, строителем русских железных дорог, организатором срочного судоходства на Севере России, учредителем московского купеческого сообщества. Пройдя путь от ученого-математика до промышленника, обладателя миллионного состояния, Чижов вошел и в историю русской журналистики как талантливый публицист, редактор журнала «Вестник промышленности» и газеты «Акционер», активный сотрудник газет И. Аксакова «День», «Москва», «Москвич».

Темой для своей диссертационной работы я выбрала журналистскую деятельность Чижова, которая почти не изучена. В настоящий момент опубликованы несколько исследований по этой теме: статья Т. Ф. Пирожковой «История несостоявшегося “Русского вестника” (Ф. В. Чижов)»¹ научно-популярная книга И. А. Симоновой «Федор Чижов»², где на нескольких страницах дана суммарная и предельно сжатая характеристика тематики «Вестника промышленности» и «Акционера». А. А. Либерман³ и А. Чероков⁴, личный секретарь Чижова, в биографических очерках о нем также лишь вскользь упоминают об этих изданиях.

Кроме того, в справочной и научной литературе имеются неточности. Так, А. Г. Дементьев в справочнике «Русская периодическая печать (1702 – 1894)»⁵, назвал Ф. В. Чижова издателем-редактором «Вестника промышленности», однако этого быть не

¹ Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. – М.: Издательство Моск. ун-та, 1997. – С. 88 – 100.

² Симонова И. А. Федор Чижов. – М.: Молодая гвардия, 2002. – 335 с. (Сер. «Жизнь замечательных людей»).

³ Краткий биографический очерк Федора Васильевича Чижова с приложением его портретов, видов костромских просветительных учреждений его имени и кратких сведений об этих учреждениях / сост. А. А. Либерман. – М., 1905.

⁴ Чероков А. Ф. В. Чижов и его связи с Н. В. Гоголем. – М., 1902.

⁵ Русская периодическая печать (1702 – 1894). – Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1959. – С. 357.

могло из-за отсутствия у Чиждова средств на издание журнала. Такую же ошибку допустил и Л. Б. Генкин в статье «Общественно-политическая программа русской буржуазии в годы первой революционной ситуации (1859 – 1861)», написанной по материалам «Вестника промышленности», назвав Чиждова основателем, издателем журнала⁶.

Выход журнала «Вестник промышленности» в июле 1858 года в Москве был вызван несколькими причинами. Во-первых, востребованностью подобного рода изданий. После Крымской войны появление журналов, представляющих интересы торгово-промышленной буржуазии, обусловлено значительным повышением интереса к вопросам промышленного развития страны. Еще в 40-е годы XIX века вопросы экономики с заметной периодичностью начинали появляться на страницах ведущих газет, среди которых «Отечественные записки» А. А. Краевского, «Современник» Н. А. Некрасова.

Во-вторых, сам Чиждов страстно желал быть редактором журнала. Еще в середине 40-х годов он намеревался редактировать «Русский вестник», однако смерть Н. М. Языкова в 1846 году, обещававшего выделить деньги на издание журнала, а главное – арест Чиждова в 1847 году и запрет на журналистскую деятельность помешали осуществиться этим планам.

После воцарения Александра II на престол Чиждову разрешено в апреле 1856 года «представлять свои сочинения сразу в местную цензуру»⁷, он переехал в Москву, начал принимать активное участие в московской жизни: обсуждает со славянофилами издание журнала «Русская беседа». Именно Ф. В. Чиждова и И. С. Аксакова Кошелев планировал пригласить редакторами своего журнала, однако, получив первый номер «Русской беседы», Чиждов не посчитал его удачным: «... толстая книга, на первый раз она мне понравилась, стал читать, не пойдет она этак далеко»⁸. Чиждов

⁶ Проблемы социально-экономической истории России. – М.: Наука, 1971. – С. 91 – 117.

⁷ Цит. по: Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. – М., Издательство Моск. ун-та, 1997. – С. 98.

⁸ Там же. – С. 153.

сразу увидел ориентированность журнала на избранных, слабую связь с текущим моментом и «мыслительность» многих статей. Вероятно, по этой причине он и отказался от редактирования журнала.

Помимо всего прочего Чижов видел, что национальная промышленность в России не находит поддержки со стороны государства, понимал, что русскому обществу необходим журнал, в котором нашли бы свое отражение проблемы промышленности и торговли и были бы указаны пути их решения. Таким образом, не изменяя славянофильскому направлению, Чижов тем не менее посчитал, что более своевременно в конце 50-х годов издавать журнал промышленности и торговли, нежели «Русскую беседу», которая рассчитана на немногих. Славянофильство Чижова проявилось в защите прав отечественных производителей.

Необходимо отметить, что переход к экономическим темам среди славянофилов был закономерен. Например, А. И. Кошелев опубликовал две статьи о железных дорогах в первом номере «Русской беседы» за 1856 год; А. С. Хомяков изобрел сельскохозяйственную машину-сеялку, за которую получил патент в Англии, устроил в с. Вологи Тульской губернии винокуренный завод; И. С. Аксаков, в молодости автор романтических стихотворений, в последствии стал членом одного из купеческих банков в Москве и одним из основателей Московского купеческого общества взаимного кредита.

Получив от своих земляков – костромских заводчиков братьев А. П. и Д. П. Шиповых – предложение стать редактором ежемесячного журнала предпринимателей с отстаиванием фритредерства (свободной торговли) в экономической политике, Чижов незамедлительно согласился. Шиповы собрали капитал на издание журнала, а Чижов в свою очередь разработал программу будущего издания. Поэтому очевидно, что издателями «Вестника промышленности» необходимо совершенно справедливо считать братьев Шиповых. Об отсутствии средств у Чижова говорят разрозненные бумаги и отчеты по изданию «Вестника промышленности», хранящиеся в фонде Чижова в рукописном отделе

РГБ⁹. Так, из них мы видим, что от братьев Шиповых Чижев получил на издание журнала в период с 1857 по 1858 год включительно около 12 000 рублей серебром. И сам Чижев в своих дневниковых записях называет Шиповых «учредителями» журнала.

Программа «Вестника промышленности» подробно описана Ф. В. Чижевным в его письме к И. К. Бабсту (профессору политэкономии Московского университета, автору многих статей по проблемам экономики), которого он пригласил к сотрудничеству: «Здесь, в Москве, под моей редакцией начинается журнал “Вестник промышленности”... Цель его... – удовлетворить требованиям промышленности... известиями и указаниями по всем ее отраслям и обозрение хода ее как у нас, так и за границей... исследовать пустые края России в промышленном и вообще экономическом отношении. В направлении его [журнала – И. С.] не задается никакой системы, – его задачей будет стремление к истине»¹⁰.

В этом же письме Чижев подробно описал и структуру планируемого журнала: «Собственно... журнал будет состоять из семи отделов: I. Обозрение хода промышленности и торговли, как у нас, так и везде за границей; II. Наука – исследование России в отношении к производительности и все научные статьи по части общественной экономии; III. Современная промышленность...; IV. Жизнеописания деятелей... промышленности и торговли; V. Критика и библиография; VI. Смесь, заключающая в себе все, не входящие в другие отделы... известия; VII. Часть справочная... Журнал будет выходить ежемесячно...»¹¹.

Первый номер журнала, вышедший в свет в июле 1858 года, показал, что Чижев не отступил от четко заданной структуры издания, поместив все запланированные отделы, лишь немного поменяв их последовательность. Так, отдел «Науки» уступил второе место «Современной промышленности», заняв третье.

⁹ Разрозненные бумаги по изданию «Вестника промышленности» и «Акционера» за 1858 – 1862 гг. // РГБ. Ф. 332. Карт. 5. Ед. хр. 17; Отчет по изданию журнала «Вестник промышленности» по 1859 год // Там же. Ед. хр. 16.

¹⁰ Письма к И. К. Бабсту [1857 – нач. 1858] // Там же. Карт. 10. Ед. хр. 4. Л. 1 – 1 об., 2 об.; Письмо к И. К. Бабсту от 19 февраля 1857 г. // ГИМ. Ф. 44. Ед. хр. 1. Л. 103.

¹¹ Там же. Л. 2.; Л. 103 об.

Чижов ставил перед «Вестником промышленности» две задачи: «следить за современными явлениями промышленности» и «следить за ходом и движением той науки, которая извлекает свои данные из явлений полезно трудовой жизни»¹².

Весной 1857 года Ф. В. Чижов возбудил ходатайство о разрешении издавать в Москве журнал «Вестник промышленности». Главное управление цензуры в течение нескольких месяцев рассматривало его просьбу: вело работу с Третьим отделением по уточнению обстоятельств заведенного на него в 1847 году дела, выясняло степень его благонадежности у киевского губернатора.

22 марта 1857 года в дневнике Чижов так описал свои хлопоты в этот период: «Затеял я в Москве дело – издание “Вестника промышленности”, подал просьбу... не предоставил какого-то глупого свидетельства о благонадежности. Теперь делать нечего, надобно ехать... в Киев, хлопотать о свидетельстве...»¹³. Несмотря на препятствия, Чижов не отступал, ежедневно писал «около 25 писем» по поводу нового журнала, среди них и письма к будущим сотрудникам (И. К. Бабсту, А. Гуровскому и др.), и к различным лицам, от которых так или иначе зависела судьба будущего издания (братьям Шиповым, соседям по Триполью и др.). Чижов нуждался в людях, сведущих в вопросах политэкономии, в профессионалах своего дела, а не в «шарлатанах», именно поэтому он сам вел все переговоры.

В августе 1857 года главное управление цензуры вынесло положительное решение об издании журнала, утвержденное Александром II. Ф. В. Чижов незамедлительно отправился за границу для поиска иностранных корреспондентов для своего журнала. На это братьями Шиповыми ему было выделено около 1 000 рублей серебром.

В Брюсселе Н. П. Поггенполь, редактор «Le Nord», полуофициального дипломатического органа русского правительства, в котором с конца 1859 года был открыт особый отдел по вопро-

¹² Письма к И. К. Бабсту [1857 – нач. 1858] // РГБ. Ф. 332. Карт. 10. Ед. хр. 4. Л. 2.

¹³ Там же. Ф. 332. Карт. 2. Ед. хр. 9. Л. 2.

су об освобождении крестьян в России, был «очень рад журналу» и обещал Чижову «сделаться посредником... и поставщиком русских произведений для иностранцев и иностранных дел в России»¹⁴. У него же Чижов застал г. Де Молинали, редактора бельгийского политэкономического журнала «L' Economiste belge», который «взялся <быть> ... корреспондентом» и «обещал писать... обозрения промышленности»¹⁵ для журнала.

Уладив все дела в Бельгии, Чижов отправился в Англию на встречу с г. Каменским, состоявшим агентом русского министерства финансов в Лондоне, на которого Чижов возлагал большие надежды, касавшиеся экономической жизни Англии. Уже 3 ноября Чижов записал в своем дневнике: «В первый день мы долго толковали с Каменским, он взялся быть моим корреспондентом, писать <ежемесячные> обозрения, кроме того, написать о состоянии рабочего класса в Англии и <хотя бы> один раз в год <обзор> политико-экономической и промышленной периодической письменности и обзор всех второстепенных книг...»¹⁶.

Однако, продолжая разговор о сотрудниках «Вестника промышленности», Чижов не ограничивался только иностранными корреспондентами. Одним из первых, к кому он обратился в России, был упомянутый выше И. К. Бабст: «...Я как редактор только тогда буду убежден в его [журнала – И. С.] успехе, когда получу Ваше согласие на полное в нем участие... Только участие буду просить у Вас в двух видах. Во-первых, собственными Вашими статьями и, особенно, если бы Вы приняли на себя писать обозрения хода промышленности и торговли... Во-вторых, просмотриванием всех статей по части политической экономии...»¹⁷. На это в своем ответе от 3 марта Бабст дал полное согласие: «...Прошу Вас рассчитывать вполне на мою готовность содей-

¹⁴ Запись в дневнике Чижова от 31 <октября> 1857 // РГБ. Ф. 332. Карт. 2. Ед. хр. 9. Л. 6.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. Л. 7 об.

¹⁷ Письма к И. К. Бабсту [1857 – нач. 1858] // Там же. Карт. 10. Ед. хр. 4. Л. 2 об.; Письмо к И. К. Бабсту от 19 февраля 1857 г. // ГИМ. Ф. 44. Ед. хр. 1. Л. 104.

ствовать Вашему... в высшей степени полезному предприятию»¹⁸. И далее: «... Готов всеми силами содействовать статьями и согласен взять на себя просмотр, выправку и редакцию политэкономических и оригинальных статей, <присылаемых> в редакцию»¹⁹. Соглашаясь на редакторство журнала, Бабст не ограничился лишь написанием и обработкой статей, он также активно вел подбор сотрудников «со всех уголков нашей России» и искал «хороших переводчиков» для иностранных материалов.

Чижов основательно подходил к подбору сотрудников для своего журнала. Это были люди, имеющие непосредственное отношение к политэкономии, ведущие экономисты того времени, редакторы политэкономических газет и журналов Европы. Помимо перечисленных выше лиц корреспондентами «Вестника промышленности» были: г. Горн, один из редакторов французской газеты «Journal de' debats» во Франции, доктор Фрааз, управляющий сельскохозяйственным центральным обществом в Южной Германии, доктор Клун, профессор коммерческой Академии в Австрии, г. Мануччи, директор Туринского промышленного журнала «Giornale delle arti e dello industrie», граф Адам Гуровский, один из редакторов нью-йоркской газеты «New York tribune».

Именно всех этих корреспондентов перечислил Чижов в объявлении об издании «Вестника промышленности», вышедшем в «Московских ведомостях» 19 июня 1858 года²⁰. Чижов здесь же указал на своевременность выхода данного журнала: «В настоящее время промышленность, принимая ее во всей ее полноте и многосторонности более, нежели когда-либо, составляет одно из главных средоточений общественной жизни»²¹.

В том же объявлении о «Вестнике промышленности» Чижов призывал всех читателей к активному участию в журнале за вознаграждение, просил различных предложений и замечаний по изданию журнала, а также сочинений на промышленные темы:

¹⁸ Письма к Ф. В. Чижову [1857 – 1874] // РГБ. Ф. 332. Карт. 16. Ед. хр. 2. Л. 1.

¹⁹ Там же. Л. 1 об.

²⁰ Московские ведомости. – 1858, 19 июня. – № 73. (Особое приложение).

²¹ Там же.

«Только общими дружными усилиями можно двигать вперед общее дело»²².

«Вестник промышленности» был предназначен для людей торговых и промышленных, для фабрикантов и купцов, так как они – «первая основа нашей исторической жизни, то есть жизни собственно великорусской в лице Новгорода и Пскова»²³. Распространялся журнал и среди восточных славян. И. Аксаков выступал в этом деле посредником: «Федор Васильевич Чижов пожертвовал для славян 30 экземпляров “Вестника промышленности” за два года... Теперь я их все отправлю в азиатский департамент»²⁴.

Подписаться на журнал можно было в его редакции в Москве, расположенной в Газетном переулке, в конторе в Санкт-Петербурге на Невском проспекте и в ряде книжных магазинов, адрес которых был указан в объявлении. Периодичность журнала – ежемесячный, объем – 20 печатных листов. Что касается подписной цены, она составила 7 рублей серебром, с пересылкой и доставкой – 8 рублей серебром.

Итак, первый номер журнала «Вестник промышленности» вышел в июле 1858 года. Все семь заявленных в объявлении отделов читатель нашел в журнале. Первый отдел – «Обозрение промышленности и торговли» – из номера в номер открывала передовая статья, написанная Ф. В. Чижовым²⁵, в которой определялось содержание данного выпуска издания, далее следовали корреспонденции о состоянии промышленности и торговли за границей, например в Англии, Бельгии, Франции, Австро-Венгрии, Италии, Северной Америке. В отделе «Современная промышленность» приводились обстоятельные данные о развитии путей сообщения, различных отраслей промышленности в России и их перспективах. В отделе «Науки» журнал информировал читателей о технических открытиях и усовершенствов-

²² Там же.

²³ Запись в дневнике Чижова от 22 марта 1857 // РГБ. Ф. 332. Карт. 2. Ед. хр. 9. Л. 2.

²⁴ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. – СПб., 1896. – Т. 4. – С. 59.

²⁵ Об этом можно судить по его письму к И. К. Бабсту, где он пишет, что написание передовых статей возьмет на себя. См.: Письма к И. К. Бабсту [1857 – нач. 1858] // РГБ. Ф. 332. Карт. 10. Ед. хр. 4. Л. 2 об.

ваниях за рубежом, которые, по мнению редакции, можно было применить в России. Здесь же печатались статьи русских ученых и экономистов; например, в № 3 за 1859 год была опубликована статья Д. И. Менделеева «О происхождении и уничтожении дыма». В отделе «Критика и библиографии» анализировались политико-экономические и промышленные издания, в «Смеси» публиковались письма заграничных корреспондентов, происшествия на железных дорогах и др., «Справочная часть» состояла из объявлений акционерных обществ, различных дополнений к статьям, предложений услуг и др.

Таким образом, видно, что журнал четко следовал направлению, заданному в объявлении и не раз подчеркивавшемуся Ф. В. Чижовым в его переписке и дневниках, – показать «развитие промышленности русской», а также «постоянно следить за развитием ее (промышленности – *И. С.*) и вне пределов России»²⁶. Итак, в июле 1858 года вышел первый в России журнал по вопросам промышленности. Все аналогичные ему издания, например «Производитель и промышленник», «Промышленность», «Промышленная газета», появились позже.

²⁶ Цит. по: *Симонова И. А.* Федор Чижов. – М., 2002. – С. 133.

И. Л. Волгин,
доктор филологических наук,
профессор кафедры истории русской литературы и журналистики
факультета журналистики МГУ, академик РАЕН

Метаморфозы личного жанра («Дневник писателя» Ф. М. Достоевского и «Опавшие листья» В. В. Розанова)

I

В одном современном романе герой, случайно обнаружив дневник своей жены, открывает первую страницу и видит написанное большими красными буквами: «ЗАКРОЙ!». Перевернув страницу, он обнаруживает следующее: «Я СКАЗАЛА – ЗАКРОЙ!».

Это – своего рода ловушка для «грабителей пирамид»: оберегание главного принципа дневниковости – сугубой интимности ведущихся записей. Тем интереснее наблюдать те перевоплощения, которые претерпевает дневниковый жанр, становясь средством коммуникации или, говоря точнее, публичного собеседования.

У истоков этой метаморфозы стоят Ф. М. Достоевский и В. В. Розанов.

Их духовная близость настолько очевидна, что нет необходимости лишний раз указывать на это обстоятельство. И «как литератор», и «как частное лицо» Розанов, конечно, «человек Достоевского». «Мне всегда казалось, – говорит Н. А. Бердяев, – что он зародился в воображении Достоевского, и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего писателем»¹.

¹ Бердяев Н. А. Самопознание. Цит. по: В. В. Розанов: pro et contra. – Кн. 1. – СПб.: РХГИ, 1995. – С. 254.

Несмотря на некоторую сомнительность комплимента, вряд ли он мог бы смутить Розанова. Ибо, безусловно, живущее в нем карамазовское начало (в первую очередь острый интерес к «тайнам пола» и «изгибам» человеческого духа, «безудерж» и кощунство) преобразалось розановской гениальностью, придававшей многозначный *мерцающий* смысл самым категоричным его суждениям.

Связь между двумя писателями возникает прежде всего в сфере художественного мироощущения. Не «убеждения», не «миросозерцание», а нечто более трудноуловимое, ментальное сближает авторов «Дневника писателя» и «Опавших листьев».

Эта метафизическая близость «на физическом плане» нашла воплощение в А. П. Суловой. Кстати, нет сведений о том, как относилась она к «Уединенному» и «Опавшим листьям», которые теоретически могла читать. Зато известно другое. «Что ты за скандальную повесть пишешь?.. – обращается к Достоевскому его «подруга вечная» (прочитав, очевидно, в журнале «Эпоха» первую часть «Записок из подполья»), – мне не нравится, когда ты пишешь циничные вещи. Это к тебе как-то не идет...»².

«Скандальность» и «циничность» – можно сказать, видовые признаки розановской «уединенной» прозы, которая вряд ли могла состояться как литературный факт, не опираясь на художественный опыт автора «Записок из подполья». С той, пожалуй, разницей, что дистанция между автором и героем у Розанова, казалось бы, короче.

«Уединенное», «Опавшие листья», «Мимолетное» и др., с одной стороны, и «Дневник писателя», с другой, к одному виду словесности можно отнести только с большими оговорками³.

² Сулова А. П. Годы близости с Достоевским. – М. : Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928. – С. 171.

³ В 1990 г. в Италии состоялся посвященный Розанову конгресс (организован Институтом языка и литературы Восточной Европы Миланского университета). В докладе Н. Каприоли (Милан) «Розанов и “Дневник писателя”» утверждалось, что главный труд Розанова – трилогию «Уединенное», «Опавшие листья» и «Мимолетное» – «можно прочитать» как продолжение «Дневника писателя» (см.: *Иванова Е. В.* Италия – В. В. Розанову // Вопросы философии. – 1991. – № 3).

Разумеется, ни розановские максимы, ни «Дневник» Достоевского не есть те произведения, в которых соблюдается чистота жанра. «Дневник писателя», как и «Опавшие листья» (под этим именем мы числим всю группу родственных между собой розановских текстов), не представляет собой дневника в настоящем смысле этого слова – то есть того, что пишется исключительно «для себя» и не предполагает немедленного обнародования. В обоих случаях это искусные жанровые имитации. Оба автора имеют в виду *Другого* – значительную по размеру аудиторию, которая, желает она этого или нет, воспринимает их «дневниковые усилия» именно как литературу. И если Достоевский указывает на дневниковость самым названием своего моножурнала, то у Розанова нигде нет подобных определений. Хотя по форме его малая проза более тяготеет к поденным дневниковым записям, нежели «Дневник» Достоевского. Эти записи, как в «настоящем» дневнике, носят обрывочный, «случайный», несистематизированный, фрагментарный характер. Это не «стационарный» дневник, а скорее походная записная книжка, где текст дан *в динамике* – часто с указанием места и времени его возникновения («за пашками с детьми», «вагон», «на извозчике», «за нумизматикой», «в клинике», «бреду по улице», «в казначействе перед решеткой», «в постели ночью» и т. д., и т. п.), своего рода «записки на манжетах», где указывается иногда даже материальный носитель текста («на обороте транспаранта», «на письме Ольги Ивановны» и т. д.). Можно сказать, что автор «Уединенного» – это Душан Маковицкий, держащий руку с карандашом в кармане и на ходу записывающий за Л. Толстым: с той разницей, что «Толстым» в данном случае является сам стенограф.

При этом розановские миниатюры – вовсе не хроника «действительной жизни» (хотя отдельные происшествия могут фиксироваться), а *поток сознания* – с демонстративным отсутствием каких-либо признаков его «публицистического» оформления. Розанов как бы предвосхищает интернетовский Живой Журнал (ЖЖ), где степень открытости не регулируется никакими правилами и установлениями. «Дневник писателя», напротив, тщательно оформлен именно в журналистском плане: разбит на ме-

сячные выпуски, разделен на главы и подглавки, имеет довольно стройную композицию и т. д. Он отнюдь не фрагментарен, те или иные его положения развернуты и тщательно аргументированы. Однако и в том, и другом случае это, несомненно, *личный* жанр.

Что касается «Дневника писателя», вопрос о его связи с Интернетом уже поднимался в литературе. «Не будет большим преувеличением сказать, – заметил Д. Быков на симпозиуме, организованном Фондом Достоевского в 2001 году, – что именно Федор Михайлович выдумал Рулинет за сто пятьдесят лет до его появления»⁴. Другой автор не без основания замечает, что «Достоевского и сетевую публицистику роднит сама идея периодического издания собственного дневника». (Хотя, заметим, периодический «Дневник» Достоевского – не вполне дневник. Он обладает собственной литературной сверхзадачей. Нельзя не согласиться и с тем, что и в ЖЖ, и в «Дневнике писателя» присутствует высокая степень авторской доверительности, которая в последнем случае также выступает не только как индивидуальная авторская черта, но и как мощное средство осуществления сугубо литературных целей.) Называя «Дневник писателя» «первым интерактивным журналом», автор такого определения указывает на своеобразие характерного для этого издания «публицистического юмора», на то, что «юродствование» для русской публицистики – не самый последний прием; почти вся сетевая журналистика – это одно сплошное «прикидывание»⁵. Заметим, что «юродствование» как осмысленная стратегия в высшей степени характерно и для розановских *опавших – уединенных и мимолетных – листьев*.

⁴ Быков Д. Достоевский и психология русского литературного Интернета // Октябрь. – 2002. – № 3.

⁵ Андрулайтис Л. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского как прообраз сетевой публицистики // Октябрь. – 2005. – № 12. Надо признать, что первый вариант этой статьи, прочитанный нами в рукописи, не вызвал у нас большого сочувствия. Прежде всего само сравнение высокоорганизованной *кумулятивной* структуры «Дневника» с хаотичной публицистикой Рунета показалось не вполне оправданным. Но в журнальном варианте статьи, где систематизированы признаки формального сходства и подчеркнуты принципиальные отличия, авторская мысль выглядит весьма убедительно.

И в «Дневнике писателя», и в текстах Розанова привлекают не столько те или иные «мысли», сколько сама личность повествователя.

«Ведь он сам, – писал Вс. Соловьев об авторе «Дневника», – интереснейшее лицо среди самых интересных лиц его лучших романов, – и, конечно, он будет весь, целиком в этом “Дневнике писателя”»⁶. Что касается «Опавших листьев», можно сказать, что автор – их *единственный герой*. Другой вопрос, был ли в этих текстах «весь» Достоевский или «весь» Розанов.

Оба они тяготеют к издательской независимости: «Дневник писателя», печатаемый первоначально в «Гражданине», превращается в авторское издание; Розанов, ведший рубрику «В своем углу» в журнале «Новый путь», собирает свои новые «заметки» в отдельную книгу («Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматически начал нумеровать листочки и отправил в типографию»⁷).

«Опавшие листья» стали таким же жанровым и художественным открытием, как и «Дневник писателя», – хотя, разумеется, они состоялись в различных общественных и литературных контекстах.

Если «Дневник» с известными оговорками можно вписать в традицию, начатую «Выбранными местами...» Гоголя и продолженную публицистикой позднего Толстого, то «Опавшие листья» скорее находятся в оппозиции к этому ряду. Гоголю, Достоевскому, Толстому в какой-то момент становится «мало» литературы. Они обращаются к читателю «поверх барьеров». Их усилия направлены к тому, чем литература в принципе не должна заниматься: к изменению самого состава жизни, к новому жизнеустроению. В их «нехудожественных» текстах господствует ярко выраженное императивное, проповедническое начало. Это была попытка достигнуть целей, лежащих вне пределов искусства. Напротив, «дневниковая проза» Розанова в высшей степе-

⁶ Исторический вестник. – 1881. – № 4. – С. 843.

⁷ Опавшие листья. – СПб., 1913. – С. 16. «Розановские “Заметки на полях непрочитанных книг”... а еще раньше “Эмбрионы” и “Новые эмбрионы” в книге Розанова “Религия и культура” (1899, 1901), – замечает исследователь, – уже несли в себе предчувствие формы “уединенного”» (Николюкин А. Н. Миниатюры Василия Розанова // Розанов В. В. Миниатюры. – М. : Прогресс-Плеяда, 2004. – С. 27 – 28).

ни противоположна тому, что, говоря словами Гумилева, можно обозначить как намерение «пасти народы»: « – “Что делать?” – спросил нетерпеливый петербургский юноша. – “Как что делать: если это лето – чистить ягоды и варить варенье; если зима – пить с этим вареньем чай”»⁸.

⁸ Эмбрионы // Розанов В. В. Т. I. Религия и культура. – М. : Правда, 1990. – С. 287.

Интересно сравнить эту розановскую «формулу» со строками современной поэтессы И. Кабыш: у нее она наполняется новообретенным драматическим смыслом.

Кто варит варенье в июле,
тот жить собирается с мужем,
уж тот не намерен, конечно,
с любовником тайно бежать.
Иначе зачем тратить сахар,
и так ведь с любовником сладко,
к тому же в дому его тесно
и негде варенье держать.

Кто варит варенье в июле,
тот жить собирается долго,
во всяком уж случае зиму
намерен пере-зимовать.
Иначе зачем ему это
и ведь не из чувства же долга
он гробит короткое лето
на то, чтобы пенки снимать.

Кто варит варенье в июле
в чаду на расплавленной кухне,
уж тот не уедет на Запад
и в Штаты не купит билет,
тот будет по мертвым сугробам
ползти на смородинный запах...
Кто варит варенье в России,
тот знает, что выхода нет.

(Кабыш И. А. Детство. Отрочество. Детство. – Саратов : Детская книга, 2003. – С. 42.)

Таким образом, «варенье» стало сквозным сюжетом русской словесности.

Но с другой стороны, «Дневник» Достоевского при всей своей идеологической акцентированности тоже не дает каких-то конкретных «рецептов бытия» («что делать?»). Его сверхзадача – не игнорируя трагическую подоснову жизни, утвердить ее ценность и полноту. Таким образом, можно говорить об исходных ментальных совпадениях двух авторских позиций.

II

Еще в середине 1860-х Достоевский хотел назвать замышляемый им моножурнал «Записная книга». Так, пожалуй, мог бы обозначить свои миниатюры и Розанов (для его системы координат «Дневник писателя» – слишком пафосное и самовозвеличивающее название: современный писатель, с его точки зрения, существо малопривлекательное).

Объявление о выходе первого «Дневника писателя» (1876) гласило: «Каждый выпуск будет заключать в себе от одного до полутора листа убористого шрифта, в формате еженедельных газет наших. Но это будет не газета; из всех двенадцати выпусков (за январь, февраль, март и т. д.) составитя целое, книга, написанная одним пером. Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда, конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно о событиях действительных»⁹. «Дневник писателя», с одной стороны, периодическое издание (ежемесячник), с другой – «книга, написанная одним пером». «Опавшие листья» – тоже скорее книга, хотя одновременно и «хроника души» (а, скажем, «Апокалипсис нашего времени», издаваемый Розановым в 1917 – 1918 годах в Сергиевом Посаде, – фактически тот же моножурнал).

Строго говоря, и «Дневник писателя», и миниатюры Розанова – пример, как уже говорилось, чрезвычайно искусной жанровой имитации. Их дневниковая форма – не более чем литературная условность, позволяющая авторам решать сугу-

⁹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. – Т. 22. – Л. : Наука, 1981. – С. 136.

бо художественные задачи. Демонстративный «отказ от литературы» приводит к поиску новых жанровых форм и в конечном счете к впечатляющему художественному результату. «Разрушение литературы» сильно обогащает последнюю. Обретается новое качество, которое становится принадлежностью «большого времени». (Недаром Д. Галковский утверждает, что Розанов будет читаем всегда.) И хотя и «Дневник писателя», и «Опавшие листья» первоначально относили к пристройкам, заднему двору, маргиналиям «большой словесности», именно подобный *pop-fiction* вызвал небывалый общественный резонанс.

Ни один роман Достоевского не породил такого мощного читательского отклика, как формально нехудожественный, «сиюминутный» «Дневник писателя». «Я получил сотни писем из всех концов России, – не без гордости признавался Достоевский, – и научился многому, чего прежде не знал... Во всех этих письмах если и хвалили меня, то всего более за искренность и прямоту. Значит, этого-то всего более и недостает у нас в литературе, коли сразу и вдруг так горячо меня поняли. Значит, искренности и прямоты всего более жаждут и всего менее находят»¹⁰. Популярность обоих писателей чрезвычайно возросла, когда они от «основного дела» обратились к своим специфическим жанрам. И не искренность ли и прямота (разумеется, с поправкой на индивидуальную авторскую манеру) повели к читательскому успеху «Опавших листьев»? Как и «Дневник» Достоевского, ни одна книга Розанова не вызывала такой общественной реакции. Но, повторяем, в обоих случаях это был сугубо литературный успех.

Нет сомнения, что дневниковый опыт Достоевского чрезвычайно важен для Розанова. «Много раз, – замечает Э. Ф. Голлербах, – и в печати, и в беседе с друзьями В. В. Розанов говорил о своей тесной, интимной, психологической связи с творчеством Ф. М. Достоевского. Помню, однажды, любовно поглаживая том «Дневника писателя», В. В. сказал: “научитесь ценить эту книгу.

¹⁰ *Достоевский* Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. – Т. 29. – Л. : Наука, 1986. – С. 178.

Я с ней никогда не расстанусь”. Достоевский всегда лежал у него на столе»¹¹.

Тем удивительнее контраст между организацией художественного пространства в «Дневнике» и в миниатюрах Розанова. Достоевский при всем своем жанровом новаторстве не нарушает правил литературного поведения. И хотя его дневниковая проза, «прикидываясь» традиционной публицистикой, фактически трансформирует жанр (что можно квалифицировать как «внесение романа в фельетон»)¹², автор соблюдает условности, присущие публичному собеседованию. Розановская малая проза существует по совершенно иным законам. Она лаконична, дискретна, интровертна¹³. Ее субъективность носит порой провокационный характер и нередко рассчитана на скандал. То, что Достоевский «из осторожности» предпочитает передоверить своему намеренно отчужденному от автора «парадоксалисту» (например, суждение о пользе войны и т. д.), Розанов высказывает «прямым текстом», от себя лично. Его авторское Я принципиально не отделено от конкретного лица – Василия Васильевича Розанова.

Хорошо знавшая Розанова З. Н. Гиппиус рисует следующий портрет: «Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала *интимность*. Делала каким-то... шепотным. С “вопросами” он фамильярничал, рассказывал о них “своими словами” (уж подлинно “своими”, самыми близкими, точными, и потому не особенно при-

¹¹ Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. – Пг., 1922. – С. 56, 81.

¹² Подробнее см. цикл наших работ «Россия Достоевского. “Дневник писателя” как исторический феномен» в кн.: Волгин И. Л. Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. – М.: Грантъ, 2004. – С. 24 – 145 и др.

¹³ Б. М. Сарнов полагает, что ни Толстой, ни Достоевский не решились узаконить отрывочность и фрагментарность как самостоятельную форму, сделал это именно Розанов, из произведений которого вышла целая школа антиромана (Вопросы философии. – 1991. – № 3).

вычными. Так же, как писал)¹⁴. «По внешности, удивительной внешности, – добавляет Н. А. Бердяев, – он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил пришептывая и приплясывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил вам на ухо, приплюывая»¹⁵.

Эта «физика» сказывается в тексте. Интонация, голос – едва ли не самое сильное оружие Розанова-«миниатюриста». В этом смысле важно его свидетельство о том, как он, будучи студентом, узнал о смерти Достоевского: «И вдруг кто-то произнес: “Достоевский умер... Телеграмма”. – Достоевский умер? Я не заплакал, как мужчина, но был близок к этому... И значит, *живого* я никогда не могу его увидеть? И не услышу, *какой у него голос!* А это так важно: *голос* решает о человеке все...»¹⁶.

И в «Дневнике писателя», и в «Уединенном» главное – голос. Не логика, не «смысл» как таковой, а интонация, повышение и понижение тона, паузы, дыхание – то есть вся та музыка текста, которая в конце концов оказывается в нем главным. Если, скажем, убрать из Пушкинской речи *голос* (оставив голый смысл), то невозможно понять, почему слушатели падали под ее воздействием в обморок.

Автор «Опавших листьев» – хотя и не прямо – обращается к художественной методологии Достоевского¹⁷. Можно сказать,

¹⁴ Гиппиус З. Н. Живые лица. – Прага, 1925. – Вып. 2. – С. 13.

¹⁵ Цит. по: В. В. Розанов: pro et contra. – Кн. 1. – С. 254. Собственно, эта «манера говорения» как бы материализовалась в поэтике его миниатюр: слова, им произносимые, произносятся не с трибуны, не с амвона, и уж тем более не с кафедры; они «пришептываются» на ухо собеседнику, порою «с приплюыванием».

¹⁶ Цит. по: Миниатюры. – С. 9.

¹⁷ На сходство розановского «уединения» и «подполья» Достоевского указывал в своем докладе на конференции в Италии М. Йованович (Белград) (Вопросы философии. – 1991. – № 3). Впрочем, это уже давно отмечено в научной литературе.

что его поэтические «намеки» как бы подхватываются и развиваются Розановым¹⁸.

Неограничиваясь «Дневником», Розанов в «Опавших листьях» во многом исходит и из стилистики «Записок из подполья», «от авторского повествования обращается к многоголосию, напоминающему полифоничность поздних романов Достоевского»¹⁹. В этом смысле голос лирического героя «Опавших листьев» включает в себя множество других «неслиянных» голосов. Этот герой унаследовал тип мышления, присущий подпольному парадоксалисту. Подпольный – весь рефлексия, весь самосознание. Можно сказать, только рефлексия и самосознание. «О герое “За-

¹⁸ Приведем в качестве примера первые абзацы январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г.:

«...Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут, да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не бояться и врут с полным спокойствием.

Нынче все с полным спокойствием. Спокойны и, может быть, даже счастливы. Вряд ли кто дает себе отчет, всякий действует «просто», а это уже полное счастье. Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономию: “Так ли я вошел? Так ли я сказал?”. Нынче же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что все принадлежит ему одному. Если же не ему, то он даже и не сердится, а мигом решает дело; не слыхали ли вы про такие записочки:

“Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решил поккончить с жизнью...”

И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: “Для чего-де и жить, как не для гордости?” А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Уверяют печатно, что это у них оттого, что они много думают. “Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил”. Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит, и если чего захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального».

(Подробный анализ данного фрагмента см. в кн.: *Волгин И. Л. Возвращение билета.* – М. : Грантъ, 2004. – С. 136 – 142).

¹⁹ Миниатюры. – С. 23.

писок из подполья”, – замечает М. М. Бахтин, – нам буквально нечего сказать, чего он не знал бы уже сам...»²⁰. Герой «Записок» не может быть убежден ни в чем – даже в собственной искренности: «...Если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настроил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник». При этом собственное слово Подпольного практически неуловимо. Это слово с оглядкой, слово с лазейкой, то есть «оставление за собой возможности изменить последний, окончательный смысл своего слова»²¹.

«Метод» подпольного парадоксалиста – это в известной степени предвосхищение художественной стратегии автора «Опавших листьев», принципиально отрицающего возможность сказать «последнее слово» и навлекающего на себя справедливые упреки в противоречивости, непоследовательности и нравственном релятивизме. Автор как бы вменяет себе в обязанность дать разные, иногда диаметрально противоположные точки зрения на предмет, подвигнуть читателя на возражение или даже на отпор. «Истина – в противоречиях. Истин нет в тезисах, даже если для составления их собрать всех мудрецов». И подобный взгляд имеет этическое обоснование: «Да и справедливо: тезис есть самоуверенность и, след., нескромность»²².

Но не об этом ли говорит и Достоевский в письме к Вс. Соловьеву: «Я никогда еще не позволял себе в моих писаниях довести *некоторые* мои убеждения до конца, сказать *самое последнее* слово... Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до конца, и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и *comme il faut*, доведите же иное рискованное слово до конца, скажите, например, вдруг: “вот это-то и есть Мессия”, прямо и не намеком, и вам никто не поверит именно за вашу наивность,

²⁰ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М. : Художественная литература, 1972. – С. 87.

²¹ Там же. – С. 400.

²² Миниатюры. – С. 466.

именно за то, что довели до конца, сказали самое последнее ваше слово»²³.

Между тем массовое сознание требует от автора определенности. Оно не приемлет подтекста, иносказаний, аллюзий – мировой игры... «“Дневник” оставляет в вас какое-то неполное впечатление, и всем нам кажется, что чего-то в нем нет», – публично заявлял А. М. Скабичевский²⁴. Ему вторит в частном письме некто Гребцов из Киева: «Но Вы не доводите до конца. Доведите – и успех будет громадный»²⁵. Однако именно такое «недоведение» придает пластичность «Дневнику», отличая его от традиционной публицистики и сообщая ему внутренний художественный интерес. Достоевский не желает сводить свое «как» к определенному образу действия, к формуле. «Формулой» был весь «Дневник писателя».

Равным образом бесполезно было бы искать в «Опавших листьях» – в отдельных их фрагментах и «положениях» – каких-либо незыблемых идеологических ориентиров. «Опавшие листья», как и «Дневник», не складываются в систему, в «учение», в тезис. Главное в них – это миронастроение, доверительность, интимность – та экзистенциальная тоска, которая приобщает читателя к миру высших смыслов. И Достоевский, и Розанов ставят личность автора в центр своего повествования (хотя, повторяем, у Розанова эта личность – «со всеми почесываниями» – гораздо более «натуральна»).

Но это-то и коробит «официальную словесность». «Недостает только, – возмущался обозреватель петербургской газеты, – чтобы по поводу кроненберговского дела Достоевский рассказал, как, возвращаясь из типографии, он не мог найти извозчика и поэтому промочил ноги, переходя через улицу, отчего опасается получить насморк и прочее»²⁶.

Достоевский рассказал о другом. Касаясь процесса Кроненберга, обвиненного в истязании своей семилетней дочери, писатель

²³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. – Т. 29. – С. 101 – 102.

²⁴ Биржевые ведомости. – 1876. – № 36, 3 февраля.

²⁵ ИРЛИ. Ф. 100. № 29682. ССХІ6. 3.

²⁶ Петербургская газета. – 1876. – № 42, 2 марта.

вспомнил, как в Сибири, в госпитале, в арестантских палатах ему, Достоевскому, приходилось видеть окровавленные спины каторжников, прогнанных сквозь строй. В структуру «Дневника» вводится «биография» – сугубо личные, частные мотивы. Но в «Дневнике» лично и *все остальное*. Общее принципиально не отделено здесь от частного, «дальнее» от «ближнего». Страдание семилетней девочки и «судьбы Европы» вводятся в единую систему координат. Все оказывается равнозначным друг другу, но не равным само себе. Факты уголовной хроники обретают «высшую» природу, а крупнейшие мировые события низводятся до уровня уголовного факта.

Розанов фактически доводит этот важнейший художественный принцип до *pes plus ultra*. Для него частное существование гораздо важнее мировой политики, войн, революций, «судеб Европы»²⁷. Он может подробно описывать, «как промочил ноги», и эти подробности способны вызвать литературный скандал. Но, несмотря на журнальную ругань, читатель воспринимает эти «сообщения» как естественные и необходимые.

III

Еще задолго до появления «Опавших листьев» Вл. Соловьев назвал Розанова «юродствующим». Это вообще любимое словечко «прогрессивной критики» (к которой, впрочем, не относится сам Вл. Соловьев). Отсюда – бесподобное ленинское определение Л. Н. Толстого: «помещик, юродствующий во Христе». Между тем в русской традиции юродство – едва ли не единственная ненаказуемая форма обличения власти, попытка говорить истину царям без улыбки²⁸ (юродивый с его «нельзя молиться за царя Ирода» в «Борисе Годунове» и т. д.). Обвинение в юродстве или по меньшей мере в умственной неполноценности – общий

²⁷ Например, подчеркнуто аполитичное: «Папироска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) – вот мое “17-е октября”». В этом смысле я “октябрист” (Миниатюры. – С. 186).

²⁸ На это обратила внимание Н. Каухчашвили (Бергамо) со ссылкой на Г. П. Федотова и А.-М. Риппелино (Вопросы философии. – 1991. – № 3).

«фирменный знак» критики, носящей Чаадаева, Толстого, Достоевского, Розанова...

Вот ваш «Дневник»... Чего в нем нет?
 И гениальность, и юродство,
 И старческий недужный бред,
 И чуткий ум, и сумасбродство,
 И день, и ночь, и мрак, и свет.
 О, Достоевский плодovitый!
 Читатель, вами с толку сбитый,
 По «Дневнику» решит, что вы –
 Не то художник даровитый,
 Не то блаженный из Москвы²⁹.

«Ум г. Достоевского имеет болезненные свойства»³⁰ – это «медицинское» заключение «Петербургской газеты» разделялось почти всем консилиумом мелкой столичной прессы. «Многие мысли и положения («Дневника». – И. В.) до того странны, что могли появиться только в болезненно-настроенном воображении»³¹. «Признаюсь, я с нетерпением разрезал январскую тетрадку этого дневника. И что за ребяческий бред прочел я в ней?»³². (У Минаева, чьи стихи приведены выше, «бред» характеризуется как «старческий».) «...Когда вы дошли до подписи автора, то вам становится ясно, что, с одной стороны, г. Достоевский фигурирует в качестве то добродушного, то нервно брюзжащего и всякую околесицу плетущего старика, который желает, чтобы с него не взыскали, а с другой стороны, что и вам-то самим нечего с него взыскивать»³³. «Говорите, говорите, г. Достоевский, талантливое

²⁹ *О<бщий> Др<уг> (Д. Д. Минаев)*. Ф. Достоевскому по прочтении его «Дневника» // Петербургская газета. – 1876. – № 23, 3 февраля.

³⁰ Петербургская газета. – 1876. – № 24, 4 февраля. В этой и последующих пяти цитатах курсив наш – И. В.

³¹ Иллюстрированная газета. – 1876, 15 февраля.

³² Новый критик <И. А. Кущевский>. Новости русской литературы // Новости. – 1876. – № 38, 7 февраля.

³³ Буква <И. В. Василевский>. Наброски и недомолвки // Новое время. – 1876. – № 37, 8 февраля.

человека очень приятно слушать, но не заговаривайтесь до нелепостей и лучше всего не отзывайтесь на те “злобы дня”, которые стоят вне круга ваших наблюдений...»³⁴. «...Он желает убедить других, а может быть, и себя в том, что его путь – путь логической мысли, а не болезненного ощущения»³⁵.

Ярлык юродивого навешивается и на Розанова. «Но здесь уже мы стоим лицом к лицу с бредом пигмея, не видящего истинного уровня своих умственных сил и писательского таланта... За кошмаром словесной хулы ощущается даже нечистая какая-то психология автора, растрепанная гадость мотивов... Он плещет в них (своих идейных противников. – И. В.) брызгами своего гаденького порицания и смеха», «Ноздревская разнузданность – и ничего другого», «Все это сплошной бред Розанова с отвратительным оттенком садизма»³⁶. В. Полонский утверждает, что «в книгах Розанова запечатлелась душа обывателя до самых последних ее глубин», что он – «гений обывательщины» и что «его последние книги – *пошлейшие* книги не только в русской, но, пожалуй, и во всей мировой литературе», а сам он – «Великий Пошляк»³⁷. Л. Д. Троцкий без обиняков называет покойного писателя «заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой»³⁸. И даже оставившая позже замечательные воспоминания о Розанове З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) откликается на «Уединенное» следующим образом: «Нельзя! Нельзя! Не должно этой книги быть»³⁹. И Розанов отвечает на этот страстный выпад с бесподобной искренностью и одновременно с иронией: «С одной стороны, это – так, и это я чувствовал, отдавая в набор. “Точно усиливаюсь проглотить и не могу” (ощущение отдачи в набор). Но, с другой стороны, столь же истинно, что этой книге

³⁴ Петербургская газета. – 1876. – № 24, 2 февраля.

³⁵ Кронштадтский вестник. – 1877. – № 61, 22 мая.

³⁶ *Вольнский А. Л.* «Фетишизм мелочей». В. В. Розанов // В. В. Розанов: pro et contra. – Кн. 2. – С. 241, 243, 246.

³⁷ *Полонский В.* Исповедь одного современника // Там же. – С. 276 – 277.

³⁸ *Троцкий Л. Д.* Мистицизм и канонизация Розанова // Там же. – С. 318.

³⁹ Русская мысль. – 1912. – № 5. – Отд. 3. – С. 29.

непрерывно надо быть, и у меня даже мелькала мысль, что, собственно, все книги – и должны быть такие, т. е. “не причисляясь” и “не надевая кальсон”. В сущности, “в кальсонах” (аллегорически) все люди не интересны⁴⁰.

Впрочем, Розанов сам готов порой подыграть почтеннейшей публике и занять отводимую ему нишу. Его самоуничтожительные (или, напротив, самовосхваляющие) характеристики – это литературные маски, правда, почти приросшие к лицу.

Позиционируя себя в качестве «маленького человека», Розанов демонстративно «присоединяется к большинству». Его лирический герой – это не только Ф. П. Карамазов (рассуждающий, положим, о «мовешках») или Подпольный. В нем можно обнаружить черты и Свидригайлова, и Раскольникова, и Ставрогина, и Ивана Карамазова. И, может быть, даже еще одного «юродивого» – князя Мышкина. Скорее всего, именно эта многоликость Розанова, глубокое переживание им относительности любых точек зрения делало возможным столь возмущавшее современников его сотрудничество во враждебных друг другу органах печати – с обнаружением прямо противоположных точек зрения (что в случае с автором «Дневника писателя» совершенно исключено).

Розановский протеизм – одно из условий его литературной игры, «следственный эксперимент», доказывающий относительность истины. Правда, это касается преимущественно политики и в некотором смысле христианства. Применительно к он-

⁴⁰ Миниатюры. – С. 250. По поводу этого пассажа А. Д. Синавский проницательно замечает: «Строго говоря, “без кальсон” здесь Розанов в общем-то и не появляется. Он только обещает: вот сейчас я сниму “кальсоны”, и вы увидите, как это важно и интересно. Здесь ударное слово “кальсоны”, а буквально их незачем снимать. Важен жест раздевания, и совершенно неважно, что мы обнаружим в дальнейшем. В дальнейшем – чисто *понятийно* – Розанов “голый”. Но голого Розанова, строго говоря, мы не видим. Мы видим Розанова, снимающего “кальсоны”. То есть – с помощью слова, чисто стилистическими средствами – Розанов имитирует что-то недопустимое в своей прозе, что-то превосходящее все границы дозволенного. Розанов имитирует жест последней откровенности. И у нас создается чувство, что Розанов – “нагишом”» (Синавский А. Д. С носовым платком в Царствие Небесное // В. В. Розанов: pro et contra. – Кн. 2. – С. 457).

тологии (то есть к сущностным, бытийным вопросам – о Боге, поле, семье, России и т. д.) «точка зрения» Розанова, как правило, не меняется. Более того – в «Опавших листьях», так же как и в «Дневнике писателя», при всей внутренней противоречивости представляется возможным выделить некий императив, некое нравственное ядро, которое «держит» текст⁴¹.

Именно здесь в первую очередь возникает переключка. Проследим в качестве примера бытование одного мотива.

Говоря в «Дневнике писателя» о зверствах, чинимых турками в подвластной им Болгарии, Достоевский «по контрасту» рисует идиллическую картину Невского проспекта, где матери и няньки мирно прогуливают своих питомцев. И когда умиленный подобным зрелищем повествователь хочет уже воскликнуть в восторге «да здравствует цивилизация!», его вдруг посещает сомнение: да не мираж ли все это? «Знаете, господа, – говорит Достоевский, – я остановился на том, что мираж или, помягче, почти что мираж, и если не сдирают здесь на Невском кожу с отцов в глазах их детей, то разве только случайно, так сказать, “по не зависящим от публики обстоятельствам”, ну и, разумеется, потому еще, что городовые стоят».

«Сдирание кож» – конечно, метафора, но она имеет прочные основания, в том числе в новейшей истории: «Ну, а во Франции (чтоб не заглядывать куда поближе) в 93-м году разве не утвердилась эта самая мода сдирания кожи, да еще под видом самых священнейших принципов цивилизации, и это после-то Руссо и Вольтера!» Цивилизация не гарантирует человека ни от чего, ибо под нею – прикрытый ею! – «хаос шевелится». И бесчеловечность всегда найдет себе приличное оправдание: «...Но если б, – пишет

⁴¹ Хотя эта тема выходит за рамки настоящей работы, не можем не сослаться на свидетельство Л. А. Мурахиной, видевшей Розанова раз или два незадолго до его смерти: «Василий Васильевич обладает душою совершенно *прозрачною*, такую *чистою*, что даже маленькие недостатки ее (без которых Василий Васильевич был бы не человек) не могут оттолкнуть, потому что и их корень – *чистый*. В том-то и вся суть Василия Васильевича, что он воплощение принципа *чистоты*, которая стремится покрыть собою... ступать всю грязь, скопившуюся в современных понятиях, но – увы! сама загрязняется от тесного соприкосновения с нечистотою» (Мурахина Л. А. О В. В. Розанове. Из личных впечатлений // В. В. Розанов: pro et contra. – Кн. 2. – С. 308).

Достоевский, – чуть-чуть “доказал” кто-нибудь из людей “компетентных”, что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же “цель оправдывает средства”, – если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых». Причем «еще неизвестно, где бы мы сами-то очутились: между сдираемыми или сдирателями?»⁴².

Пройдет сорок лет – и тот же мотив возникнет в «Апокалипсисе нашего времени», в первом же его выпуске: «Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 “и такой серьезный”, Новгородской губернии, выразился: “Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть”. Т. е. не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточку за ленточкой. И что ему царь сделал, этому “серьезному мужичку”».

Пройдет еще несколько месяцев. Царская семья будет уничтожена, и главный исполнитель Яков Юровский расскажет об этом следующими словами: «Я вынужден был поочередно расстрелять каждого... Рабочие... выражали неудовольствие, что им привезли трупы, а не живых, над которыми они хотели по-своему поиздеваться, чтобы себя удовлетворить». Подлинность розановского наблюдения засвидетельствована документально. «Вот и Достоевский... Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и “Война и мир”»⁴³, – так завершает Розанов свою запись «о сдирании кож». Вряд ли это прямая ссылка на «Дневник писателя» – тем поразительнее совпадение⁴⁴.

⁴² Дневник писателя. 1877. Февраль. III. // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. : в 30 т. – Т. 25. – С. 45, 46.

⁴³ Миниатюры. – С. 479 – 480.

⁴⁴ Надо сказать, метафоры Достоевского вообще имеют свойство материализоваться. Так, в рассказе польского писателя Ежи Пильха «Монолог из норы» содержится «физическая» аллюзия с «Записками из подполья» (подробнее см. нашу работу «Из России – с любовью? “Русский след” в западной литературе» в кн.: *Волгин И. Л.* Возвращение билета. – М., 2004. – С. 381 – 383). Дж. Фаулз в «Коллекционере» превращает образ подполья в реальный подвал – место изощренного и мучительного убийства.

Вообще, справедливо было бы говорить о влиянии на «Опавшие листья» не столько самого «Дневника писателя», сколько всего мира Достоевского. «Дневник писателя» – более политизирован, более сиюминутен. «Опавшие листья» – это прежде всего «ментальный дневник», как бы лишенный злобы дня в тесном смысле этого слова, лишенный острого текущего интереса. Все события в нем – личные. Вернее, все личное – это событие. Однако оба автора постоянно держат в уме то, что можно назвать «последними вопросами». И оба не дают на них «последних ответов».

Возможно ли было появление «Уединенного», скажем, в 1870-е годы? Вопрос риторический. Общество 1870-х не было приурочено к восприятию подобной поэтики. Его эстетический слух еще не обострен в той мере, как в десятые годы XX века. Лишь после Достоевского, Чехова, Вл. Соловьева, Мережковского, Блока, после Ницше («человеческое, слишком человеческое») становится возможным феномен «Опавших листьев». Происходит разрушение условной авторской личности (что принимается за конец литературы), все громче заявляет о себе бунтующее экзистенциальное сознание индивида. Религиозный и социальный кризис начала века, предчувствие «грядущих гуннов» и близкого уже разлома времен – все это порождает новые эстетические явления. Надо иметь в виду, что скандал в той или иной мере входил в литературную стратегию едва ли не всех течений русского модернизма (вспомним, например, явление футуристов). Цинизм стал «защитной одеждой» не одного отечественного лирика. И если даже такой антипод Розанова, как Маяковский, проговаривается типично розановской строкой: «Я знаю – гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете»⁴⁵, то это свидетельствует о глубоких переключках внутри той литературной традиции, которая возникает с наступлением нового времени и у истоков которой стоит Достоевский.

⁴⁵ О глубинной и парадоксальной связи Розанова и Маяковского говорили еще их современники. См., напр.: *Ховин В.* На одну тему. – Пг., 1921. Об этом также упоминает В. Б. Шкловский (Жизнь искусства. – 1921, 19 – 22 марта; 6 – 12 апреля). А в 1980-е гг. – А. Д. Синявский (С носовым платком в Царствие Небесное // В. В. Розанов: pro et contra. – Кн. 2. – С 454 – 455).

Г. С. Лапина,
*кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской
литературы и журналистики факультета журналистики МГУ*

К истории «Недели» Василия Гайдебурова: хроника цензурных преследований

После смерти Павла Александровича Гайдебурова редактором-издателем «Недели» и «Книжек “Недели”» с 1894 года стал его сын – Василий Павлович Гайдебуров, юрист, окончивший Петербургский университет и магистратуру при нем по кафедре государственного права, служивший в это время штатным кандидатом при Кронштадтском военно-морском суде¹. Он начал печататься в газете отца еще с гимназических лет и сам датировал это 1883 годом².

В. Гайдебуров выступал время от времени и как поэт, но с 1894 года стал активно заниматься собственной газетой, которая уже прошла путь длиной в 28 лет. Основанная министром внутренних дел П. А. Валуевым как проправительственное издание под маской частного, она очень быстро потеряла читателя и была куплена книгоиздателем и книготорговцем В. Е. Генкелем, отдавшим ее в распоряжение демократических журналистов. Фактические редакторы «Недели» Н. С. Курочкин и затем Е. И. Конради-Бочечкарова превратили газету, как отмечали цен-

¹ В. Гайдебуров вышел в отставку в знак протеста, когда мичман Стеценко, который застрелил военного писаря, агитировавшего среди матросов, был освобожден от суда: ИРЛИ. Ф. 568 (Арх. А. Г. Фомина). Оп. 1. № 270. Л. 1 об.

² См. там же.

зоры в 1870 году, в «центр крайнего, так называемого красного направления»³ в журналистике. Административные преследования «Недели» (к весне 1871 года она имела шесть предостережений и была дважды приостановлена на полгода – самый большой срок, предусмотренный Временными правилами о печати 1865 года) подорвали экономическое положение газеты, заставили некоторых ведущих сотрудников покинуть издание, и на смену им пришли другие, которые попытались несколько снизить тон и более трезво посмотреть на возможности легальной газеты в самодержавном государстве. Таким редактором-издателем «Недели» стал в 1876 году П. А. Гайдебуров⁴.

Утрату четкости демократического направления быстро отметила администрация. Выступая 7 августа 1874 года на очередном заседании совета Главного управления по делам печати, один из членов его, Д. И. Каменский, говорил, что в издании этой газеты надо отмечать два периода. Первый – когда ее издавал В. Генкель⁵ и когда она действительно отличалась крайне предосудительным направлением, и второй – когда она перешла в собственность Гайдебурова и, бросив свои прежние замашки, стала более или менее объективной; вместо зловредной оппозиции всей деятельности правительства, как это было прежде, газета осталась тенденциозной только в том смысле, что обличала некоторые случаи из деятельности администрации или не разделяла известных ее мер. Каменскому возражал Ф. П. Еленев, утверждая, что прежние традиции еще существуют и газета удерживает за собою прежнее реноме и значение среди читающей ее молодежи⁶.

³ Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 776. Оп. 5. Д. 38-а. 1870. Л. 46 (85).

⁴ Как напишет позже Л. Н. Толстой в письме к С. Т. Семенову по поводу отказа Гайдебурова по цензурным соображениям напечатать рассказ Семенова «Братья Бутузовы», «Г. знает в этом толк, то есть что можно и чего нельзя»: *Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 22 т. – Т. 19. – М. : Худож. лит., 1984. – С. 220.*

⁵ Подпись В. Генкеля как официального редактора стояла до середины февраля 1872 г., как издателя – до № 36 за 1870 г. (до 6 – 18 сентября).

⁶ См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 14. Л. 323 об., 324, 326.

Однако, утратив четкость демократической позиции, П. Гайдебуров тем не менее до середины 1880-х годов стремился сохранять оппозиционный характер газеты. То, что Д. Каменский определил как «обличение некоторых случаев из деятельности администрации», продолжало вызывать раздражение цензуры, которая упорно преследовала «Неделю», стремясь окончательно сломить сопротивление ее редактора-издателя. Газета была приостановлена на три месяца в январе 1876 года⁷ (за несколько месяцев до этого была запрещена ее розничная продажа за передовую статью из № 118 за 1875 год); газете были вынесены предостережения в 1877 и 1878 годах; предостережение было получено и в 1879 году за статью о процессе над В. Засулич⁸. Это остановило П. Гайдебурова. До 1884 года газета не вызывала нареканий цензуры; предостережение этого года⁹ было последним при его руководстве газетой¹⁰. Тем не менее П. А. Гайдебуров рискнул напечатать в «Книжках «Недели»»¹¹ отрывки из статьи Л. Н. Толстого «О голоде», которая, будучи набранной для журнала «Вопросы философии и психологии», вызвала возмущение московской цензуры и арест номера со статьей Толстого. Полностью статья оказалась опубликованной впервые в Лондоне в январе 1892 года, а переведенные уже с английского выдержки из нее перепечатали «Московские ведомости» для доказательства пропаганды графом Толстым самого разнузданного социализма.

Когда редактором-издателем «Недели» стал В. П. Гайдебуров, цензура сразу насторожилась, уловив в газете Гайдебурова-сына некие тенденции, которые, с одной стороны, казалось бы, и шли от традиций «Недели» 1880-х годов, с ее толстовскими идеями

⁷ См.: Там же. Ф. 776. Оп. 1. Д. 12.

⁸ См.: Там же. Д. 13, 14, 15. В. Гайдебуров в автобиографии писал 1 декабря 1928 г.: «За статью моего отца о деле Вере Засулич «Неделя» была запрещена на полгода»: ИРЛИ. Ф. 568 (арх. А. Г. Фомина). Оп. 1. № 270. Л. 1 об.

⁹ См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 20.

¹⁰ П. А. Гайдебуров умер, будучи редактором-издателем «Недели», 31 декабря 1893 г.

¹¹ См.: Помощь голодающим // Книжки «Недели». – 1892. – № 1.

непротивления, вызывавшими полемические выпады со стороны старых демократов, а с другой – ориентировались на толстовское неприятие частной земельной собственности, которую этот гениальный мыслитель считал «великим грехом», позже озаглавив так свою знаменитую статью.

Уже в декабре 1894 года цензор С.-Петербургского цензурного комитета А. А. Пеликан особое внимание обратил на опубликование в газете статьи покойного А. Н. Энгельгардта «Как мужик о земле думает», написанной еще в 1879 году для «Отечественных записок», и процитировал как особенно возмутительные строки: «Мысль о черном переделе глубоко сидит в мозгах простого русского человека»; «мужик толкует об общем переделе, о том, что землю отберут от всех, что она будет казенная, т. е. общая, что земли нарежут каждому столько, сколько он осилить может». А. Пеликан отметил, что статья не требует комментария, она неблагонамеренная, а поскольку номер уже выходит в свет, газету нужно приостановить, а редактору – статью вырезать¹². В 1895 году возмущение цензуры вызвала передовая статья из № 29 газеты «Черные точки» за то, что она носила «печать какого-то совета правительству в форме крайне бестактной», а также статья «Хуже чумы»¹³. Администрацию насторожило, что в этой «скромной газете, давно уже не дававшей поводов к замечаниям», «с некоторого времени стали появляться все чаще и чаще враждебные русскому дворянству статьи, в которых стремления этого высшего в государстве сословия противопоставляются общим государственным интересам», а в статье из № 42 за 1895 год «Дворянский вопрос» автор открыто «издевается над дворянским сословием»¹⁴.

За «Заметки» из № 18, где «с возмутительным искажением истины положение русского народа изображалось в самом мрачном виде», и статью «Ошибки страха» из № 5-6 «Книжек» за 1896 год по представлению члена совета Главного управления по делам печати Ф. П. Еленева «Неделе» было объявлено второе

¹² РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 65. Л. 481, 482.

¹³ См.: Там же. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 27.

¹⁴ Там же. Л. 27 об, 29.

предостережение¹⁵. В «Заметках» цензоры справедливо увидели «картину бессмысленного и деспотического произвола властей и безвыходной угнетенности населения», изображение «полицейских и земских начальников» «дикими и разнузданными деспотами»¹⁶. Членов совета Главного управления потряс язык статьи – «с приемами и шаржем площадных ораторов, поджигающих толпу к буйству», и это в то время, когда, как «небезызвестно, между рабочими на многих фабриках и заводах происходят забастовки»¹⁷.

Статья «Ошибки страха», где, как утверждал цензор, «развивается до крайних пределов, систематически и весьма подробно, признанное вредным учение Толстого о непротивлении злу»¹⁸ и «пропагандируется учение о ненаказуемости преступлений, прямо ведущее к разрушению государственного и общественного устройства и к торжеству анархии»¹⁹, принадлежала перу Михаила Осиповича Меньшикова, который еще в середине 1880-х годов, будучи чиновником Картографической части Главного гидрографического управления, начал печататься в «Неделе». Первая подписанная им статья «О литературе и писателях» была опубликована в 1891 году. Выйдя в отставку в мае 1892 года в чине штабс-капитана, он стал ведущим публицистом и критиком газеты и приложения к ней, а вскоре и секретарем редакции «Недели». Именно его статьи стали самым раздражающим фактором для администрации. Еще при Гайдебурове-отце в № 7 «Книжек “Недели”» за 1893 год Меньшиков фактически вступился за критиков-демократов, прежде всего за Н. Г. Чернышевского, когда выступил против статей А. Волынского в

¹⁵ Там же. Оп. 2. Д. 26. Л. 6 – 7. Первое предостережение, охладившее Гайдебурова-отца, «Неделя» получила в 1884 г.

¹⁶ Там же. Оп. 3. Д. 134. Л. 44.

¹⁷ Там же. Л. 45.

¹⁸ Там же. Л. 33.

¹⁹ Любопытно, что В. Гайдебуrow в цитируемом выше письме к А. Г. Фомину писал: «Что касается моей личной публицистики, то, видя всегдашнего своего путеводителя в Герцене, я имел основными принципами: а) цель государства – его самоупражнение...»: ИРЛИ. Ф. 568. № 270. Л. 4.

«Северном вестнике», назвав их «критическим декадансом». Уже тогда Меньшиков увлекался идеями Л. Н. Толстого, с которым познакомился несколько позже – в 1894 году. Публициста «Недели» привлекали прежде всего нравственные аспекты толстовства. Именно с этой позиции он, пожалуй, единственный поддержал точку зрения знаменитого писателя, высказанную им в работе «Неделание». Статью М. Меньшикова «Работа совести»²⁰ Толстой в письме к Н. С. Лескову назвал «прекрасной»²¹. Определенный парадокс заключался в том, что Михаил Осипович, конечно, более всего видел в словах Л. Толстого: «Итак, большинство людей христианского мира нашего времени живет языческою жизнью не столько потому, что оно желает жить так, сколько потому, что устройство жизни, когда-то нужное для людей с совершенно другим сознанием, осталось то же и поддерживается постоянно суетой людей, не дающей им времени опомниться и изменить его соответственно своему сознанию», – видел в этих словах моральный смысл, не вдумываясь – или не стремясь вдумываться – в их социальное звучание. Но читатели, а в их числе были и цензоры, помнили и отрывки из статьи «О голоде», с полным текстом которой в списках познакомилась многие, где принцип «неделания» зла был сформулирован весьма социально-жестко: есть только один способ избавить народ от голода – «не объедать его». Поэтому статьи М. Меньшикова о Толстом, в том числе «Ошибки страха», не могли не настораживать цензуру, тем более что при Гайдебурове-сыне его присутствие в «Неделе» значительно расширилось (уезжая за границу осенью 1894 и летом 1895 года, В. Гайдебуров оставлял вместо себя Меньшикова²²), он почувствовал себя свободнее, к тому же В. П. Гайдебуров «мизинец» цензора отнюдь не считал перстом указующим. Раздражение цензуры вызвала его передовая статья «Государь и церковь» из

²⁰ См.: Книжки «Недели». – 1893. – № 11.

²¹ Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 22 т. – Т. 19. – М., 1984. – С. 274. Как сообщают авторы статьи о М. О. Меньшикове в четвертом томе Биографического словаря «Русские писатели. 1800 – 1917», А. А. Гумеров и М. Б. Поспелов, Толстой выделял и статью Меньшикова «Ошибки страха».

²² РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 22, 25.

№ 20 за 1896 год как произведение двусмысленное с идеалом самодержавия народа²³. № 18 «Недели» за этот же год возмутил администрацию не только «Заметками». Цензор просил задержать выпуск за то, что в газете вся Россия изображена в виде мира бездушных фантомов, приводимых в движение властью²⁴.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по делам печати М. П. Соловьев писал в заключении о газете в 1894 году: «После смерти Гайдебурова характер издания снова изменился. Перейдя в заведение сына Гайдебурова.., газета стала наполняться статьями резко-обличительного и нигилистического содержания. Действительным заправителем дела сделался отставной офицер Меньшиков.., ярый сторонник нигилистических воззрений Льва Толстого... Не зная меры в обличении частных лиц, с еще большею невоздержанностью «Неделя»... относится к существенным сторонам общественной жизни, причем наиболее видное место занимают как в газете, так и в приложениях статьи г. Меньшикова, дающие изданию отличительную окраску»²⁵.

В. П. Гайдебуров вынужден был в 1896 году – внешне – отреагировать на полученное второе предостережение и на некоторое время (до 1900 года) отказаться от сотрудничества с Меньшиковым. Однако характер «Недели» от этого не изменился. Уехав в июне 1896 года за границу (вместо себя он оставил М. Н. Мазаева), В. П. Гайдебуров присылал в газету статьи, которые заставляли цензуру тут же соответственным образом реагировать – на заметки «Из заграничной жизни» в № 34, где цензор предлагал выбросить целые страницы, на статью «Мысли и встречи» в № 36, возмущившую «мрачной картиной России»²⁶. Из «Дела об издании “Недели”» видно, как систематически члены С.-Петербургского цензурного комитета и совета Главного управления по делам печати «отслеживали» номера газеты. Вслед за замечаниями по № 36 за 1896 год можно увидеть донесение

²³ Там же. Л. 35, 48.

²⁴ См. там же. Л. 34.

²⁵ Там же. Л. 43.

²⁶ См. там же. Л. 58, 60.

цензоров Комитета в Главное управление о №№ 45 и 46, о статьях «К читателю» и «От редакции», за которыми вскоре последовало запрещение печатать частные объявления в газете²⁷. № 24 за 1897 год не «устроил» цензуру статьей «Ужасный промысел», крамолу увидела администрация и в публикации «Какие суда строить?» из № 16 за 1898 год²⁸.

За статью редактора «Недели» В. П. Гайдебурова «Экономическая утопия», где он, излагая воззрения немецких экономистов, отрицал саму возможность принадлежности земли частным лицам, газета получила 30 мая 1898 года третье предостережение и была приостановлена на месяц²⁹. Тучи над «Неделей» сгущались. В ноябре 1899 года цензура «приняла к сведению» передовую «Умозрительное управление» из № 45, в январе 1900 года – статью «Отсталое земство»³⁰.

21 мая 1901 года номер газеты был задержан, поводом стала передовая статья «Успехи житейского смысла», в которой цензор увидел «неприличную выходку против высших учреждений в государстве»³¹.

Подарком для администрации стали экономические проблемы В. П. Гайдебурова, он был не очень удачливым предпринимателем. Финансовая ситуация осложнялась, поскольку редактор «Недели» в 1897 году начал издавать еще и газету «Русь». Она тоже сразу вызвала цензурные репрессии: воспрещалась розничная продажа номеров; за статью Л. Н. Толстого «Голод или не голод?», где автор не только, как это он сделал ранее в статье «О голоде», показал бедствие народа, но написал о безнравственности власти, которая замалчивает голод и для этого «противодействует частной помощи во всех ее видах», – за эту статью, напечатанную (в урезанном виде) в №№ 4 и 5 за 1898 год, газета в июле получила первое предостережение; в декабре 1898 года «Русь» В. Гайдебурова имела уже три предостережения и была приостановлена на

²⁷ РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 63, 65.

²⁸ См. там же. Л. 72, 94.

²⁹ Там же. Л. 104.

³⁰ См. там же. Л. 129, 144.

³¹ Там же. Л. 236 – 237.

полгода. М. О. Меньшиков писал по этому поводу А. П. Чехову: «А “Русь” прекращена по донесению еще оч^{<ень>} молодого, «начинающего» цензора, губ^{<ернского>} секр^{<етаря>} Тучатского»³². В. П. Гайдебуров стал опасным в глазах правительства. Именно это обстоятельство и стало причиной удушения «Недели», а повод нашелся. На залог «Недели» был наложен арест, и, хотя срок нового залога истекал только 3 августа 1901 года, «Неделя» 29 июля 1901 года была закрыта, несмотря на жалобу редактора, справедливость которой подтвердил даже юрисконсульт министерства внутренних дел в письме в Правительствующий Сенат. В ответе на жалобу «законность» закрытия газеты чиновникам МВД пришлось «разъяснять» на нескольких страницах³³. Так завершилась 35-летняя история «Недели».

³² Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков. – М. : Русский путь, 2005. – С. 110.

³³ См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 242 – 277.

С. Я. Махонина,
*кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской
литературы и журналистики факультета журналистики МГУ*

А. С. Суворин глазами современников и историков XX – XXI веков

Время все расставляет по своим местам. Это утверждение, несмотря на свою банальность, очень точно. Люди, в свое время считавшиеся знаменитыми и даже великими, в памяти потомков уходят с первого плана, занимают определенное им историей место, другие – непонятые, непринятые и часто оклеветанные современниками – совершенно неожиданно привлекают пристальное внимание тех, кто живет через 100 или 200 лет, потому что их взгляды, их работа находят понимание в будущем.

Один из таких людей – А. С. Суворин – журналист, редактор, издатель, писатель, драматург. Всех его интересов и занятий даже не перечислишь. В 2009 году исполнится 175 лет со дня его рождения, в 2012-м – 100 лет со дня смерти.

Как справедливо пишет С. Иванов – составитель сборника воспоминаний о Суворине «Телохранитель России», изданного в Воронеже в 2001 году, – «спрогнозировать современный интерес к Суворину было не так сложно. Ведь и в советское время, несмотря на директивную статью В. И. Ленина, имя Суворина нельзя было вычеркнуть из контекста русской литературы и культуры»¹. Фигура Суворина в наши дни оказалась очень современной, почти что «политически ангажированной», потому

¹ Телохранитель России. А. С. Суворин в воспоминаниях современников. – Воронеж, изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2001. – С. 6.

что и он сам, и сотрудники его газеты писали о таких проблемах, которые не только очень современны сейчас, но и до сих пор не решены. Кроме того, Суворин стал первым предпринимателем в деле издания периодики, и опыт, организация его издательского дела может подсказать много полезных решений современным частным издателям.

В последние годы появляются работы, посвященные его деятельности, но, к сожалению, старые оценки и штампы, сложившиеся во времена Суворина и в XX веке не дают до сих пор возможности создать не полную, до этого еще очень далеко, но хотя бы объективную картину жизни Суворина, оценить его вклад в развитие русской журналистики, издательского дела, театра, литературы.

Совершенно прав С. Иванов, утверждая, что «кому-то очень не хочется, чтобы современный русский читатель самостоятельно познакомился с “дедушкой русской журналистики”». Кому этого не хочется, понятно. К сожалению, многие не хотят расставаться с представлениями, усвоенными в советское время, с характеристиками, основанными на незыблемом, по их мнению, фундаменте марксистско-ленинской идеологии. Кому-то трудно с этим расстаться по привычке, другим по – убеждению. Для последних: «А. С. Суворин – представитель русской буржуазной интеллигенции. Ленин указывал, что представительство интересов всех слоев и групп русского буржуазного общества осуществляется буржуазной интеллигенцией, которая брала на себя роль публицистов, ораторов, политических вождей всегда и везде». «Буржуазный публицист и издатель, он являлся одним из идеологов русской буржуазии»² – подобный идеологически выдержанный «штамп» являлся обязательным для любой работы в советское время. При этом привычно оставался без комментариев тот факт, что в этом определении к «буржуазной» отнесена вся интеллигенция, все писатели и публицисты, независимо от их убеждений. Левый лагерь при жизни Суворина обвинял его в прислужничестве самодержавию, в проправительственной по-

² См.: Драган Г. Н. Дневник А. С. Суворина как исторический источник // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 1983. – № 3. – С. 62.

литике, в советское время он оказался еще и «идеологом русской буржуазии». Слишком много для одного человека! Ради справедливости надо отметить, что в ряде случаев подобные «идеологически» выдержанные оценки играли роль обязательной атрибутики, своеобразного прикрытия для серьезного научного анализа предмета исследования. Так случилось и в статье Г. Н. Драгана «Дневник А. С. Суворина как исторический источник», откуда взята характеристика. Сама статья – серьезное изучение вынесенной в заголовок проблемы. Точно и определение автором роли и значения деятельности А. С. Суворина: ««Суворинский» этап истории русского... общества охватывает практически все переформенные десятилетия».

Все большие работы о А. С. Суворине начали появляться в последние 10 лет, с 1998 года, не считая нескольких статей, увидевших свет в 70-х – 80-х годах.

Капитальная монография Е. А. Динерштейна «А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру»³, к сожалению, выдержана в духе статьи В. И. Ленина «Карьера», о которой сказано уже на первой странице книги, она же подсказала автору тенденциозное и неточное название, так как «карьеру» Суворин в общем-то не делал, он просто занимался тем, в чем был мастером. Видимо, ленинские оценки соответствуют убеждениям Е. А. Динерштейна, его книга проникнута странной ненавистью к давно умершему человеку, что совершенно недопустимо для исследовательского труда.

В 1999 году в Екатеринбурге появилось исследование Л. П. Макашиной «Вокруг А. С. Суворина» с подзаголовком «Опыт литературно-политической биографии». В ней есть свои недочеты, но метод анализа вполне современен. Работа напечатана тиражом в 500 экземпляров, поэтому практически недоступна для читателей. В 1999 году переиздан заново «Дневник А. С. Суворина», в 2001-м – уже упоминавшийся выше сборник «Телохранитель России...».

Несколько очень разных по теме и по тону статей размещены в Интернете. Поскольку Интернет является сейчас самым до-

³ Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. – М. : Российская политическая энциклопедия, 1998.

ступным и быстрым способом знакомства с исторической личностью, интересно проанализировать, что же предлагает своему посетителю сайт, посвященный А. С. Суворину. В данной статье будут проанализированы не все материалы, размещенные на сайтах Интернета, а только те, которыми пользуются студенты факультета журналистики, работая над рефератами по курсу «История русской журналистики». После того как большинство библиотечных фондов переведены из зданий на Моховой в новую библиотеку МГУ, Интернет остается самым доступным источником литературы.

Но сначала надо уточнить один принципиальный вопрос: что является основным в деятельности А. С. Суворина? В свойственной ему манере об этом писал В. В. Розанов в статье «Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине», впервые опубликованной в книге «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову» в 1913 году и перепечатанной в 1992 году в издательстве «Патриот», а затем в сборнике «Телохранитель России»: «Суворин в необыкновенном разнообразии его деятельностей, как прямых, так и вспомогательных, – был Ломоносовым русской ежедневной прессы; тут и театр, тут – и газета, и “Маленькая библиотека”, и календарь, и магазины. К чему ему было столько? К чему, например, магазин редактору? Все *невольно* у него *закруглялось* в целое, *закруглялось* в *обобщенность*, без “календаря”, все “по дням” и все “со справками”, какой же журналист? И едва сам ли знал, *почему*, собственно, то или иное начинает: а нужно было. И нужна “*Вся Москва*”, “*Весь Петербург*”, “*Вся Россия*”. Все – “само собой”, все – **природа**, великая “природа” журналиста...»⁴ (курсив В. В. Розанова – С. М.).

В. В. Розанов четко определил главное дело Суворина. Это – прежде всего **журналист**. Он был журналистом достаточно нового для России типа – **газетчиком**. Дело в том, что почти весь XIX век господствовавшим типом издания в стране был «толстый» ежемесячный журнал, авторами которого становились писатели, общественные деятели, писавшие публицистические статьи, ставившие и разрешавшие на высочайшем уровне слож-

⁴ Телохранитель России... – С. 106.

нейшие философские, общественно-политические проблемы. То есть первую скрипку в русской журналистике играли **публицисты**.

Уже с 60-х годов XIX века на первое место постепенно начинают выходить ежедневные газеты, которые уже через двадцать лет настолько потеснили журналы, что многие стали говорить о «смерти» «толстого» издания.

Работа журналиста-газетчика коренным образом отличалась от творчества публициста. Ритм и темп ежедневной газеты ставили иные задачи, диктовали другие способы подачи материала. А. С. Суворин сразу начал как газетчик, известность он приобрел своими памфлетами за подписью «Незнакомец» в «Санкт-Петербургских ведомостях». «А. С. Суворин не специализировался на каком-нибудь особенном жанре, – пишет журналист, историк и публицист Б. Б. Глинский, – и в лице его русская журналистика приобрела и выдающегося критика, и театрального рецензента, и газетного “передовика”, и памфлетиста, и беллетриста, а также и историка... Его полемики тонки, остроумны, язвительны, одной какой-нибудь коротенькой фразой, метким словом он бьет противника наповал...»⁵. Не только либеральным характером, но и блестящим журналистским мастерством привлекали читателя выступления Незнакомца. В «Новом времени» кроме массы неподписанных материалов Суворин опубликовал более 700 «Маленьких писем», которые вовсе не были передовыми статьями, это была своеобразная «колонка редактора», материалы, написанные очень лично, взволнованно, в форме разговора с читателем, с использованием элементов полемики и других приемов разных жанров.

В 2005 году А. Романенко опубликовал «Маленькие письма» за 1904 – 1908 гг. Объем книги – 740 страниц. И это только за пять лет! Уже в этих «Письмах» перед современным читателем предстает совершенно другой Суворин, абсолютно не похожий на «канонический» образ. Во вступительной статье публикатор справедливо пишет, что Суворин «недостаточно изучен, тенден-

⁵ Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин // Телохранитель России... – С. 40.

циозно и пристрастно оценен и прочитан», но он «однако вовсе не был забыт, слишком это значительная и крупная фигура, яркая и самобытная личность, слишком велико в течение десятилетий было его влияние на движение и развитие общественного самосознания в России»⁶.

Но главное не только то, что он был талантливым журналистом-газетчиком, главное – он стал создателем, издателем и редактором одной из самых влиятельных и востребованных газет, во главе которой стоял 36 лет.

Задачей автора данной статьи не является однозначная оценка «Нового времени», сейчас она и невозможна, так как исследование газеты еще только начинается. Но вокруг «Нового времени» роится огромное количество слухов и домыслов, порожденных и современниками, и позднейшими исследователями, и, к сожалению, они иногда положены в основу некоторых работ и статей и в наше время⁷.

Но никто не пишет о том, что А. С. Суворин изменил сам характер русской газеты, сделал ее доступной для другого читателя, которому были трудны для понимания предназначенные для интеллигенции газеты и журналы первой половины XIX века. Эта работа началась уже в «Санкт-Петербургских ведомостях» В. Корша. «Коршевская газета – блестящая страница в истории пореформенной России,.. и здесь заложены были задатки того обновленного ее типа, который установился у нас и доднесь, – справедливо считает Б. Б. Глинский. – Именно Суворин и Буренин понесли немало труда, разгрузивши ее от того тяжелого, что мешало ей проникать в широкие круги читателей и делаться их руководителем и добрым литературным другом. Оба названных писателя перенесли центр тяжести из неуклюжих тогда передовиц в область живого остроумного фельетона, где, как в калейдоскопе, перед обывателями запестрели страницы отечественной

⁶ А. Суворин. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма 1904 – 1908 гг. – М., 2005. – С. 6.

⁷ См., напр.: *Динерштейн Е. А.* А. С. Суворин и его газета «Новое время» // Новое литературное обозрение. – 1995. – № 15. Совершенно неверные, на наш взгляд, оценки и утверждения перенесены из этой статьи в книгу «А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру».

жизни, имена, факты, печальная действительность, политика, обывательщина, где раздался веселый смех...»⁸.

Трансформация типа русской газеты была завершена в «Новом времени».

«Ничего – специального, ничего – частного, ничего – личного, ничего – особенного и партийного; вся – для всей России, для “Целой России”...» «Все целесообразно – и скандал, и шутка – введено в газету, чтобы она была “общераспространенною”, “первою по величине, живости и подписке”...» Это слова Розанова. И вот как он формулирует «план газеты»: «1. обширнейший круг читателей, вся образованная Россия, 2. возможность этой “всей России” сказать ценное, исторически значащее слово, но непременно сказать кратко, ясно, литературно талантливо... (ученые сплошь и рядом совершенно не умеют литературно писать)»⁹.

Критики радикального лагеря, всегда ратовавшие за привлечение «широких народных масс» к общественной жизни, быстро нашли «хлесткое» словцо, чтобы опорочить такие цели газеты: «обширнейший круг читателей, всю образованную Россию», ни мало не сумняшась, обозвали «обывателями» и построили на этом одно из главных обвинений «Нового времени» – «газета рассчитана на обывателей».

Существует некий парадокс суворинской газеты: ее все ругали, это стало правилом «хорошего тона» (если ты хочешь доказать, что ты порядочный человек, ты должен ругать «Новое время»), но в то же время все читали.

Но, как справедливо писал публицист «Нового времени», ненавидимый левыми современниками и совершенно переоцененный в наше время, М. О. Меньшиков: «“Новое время”, поднявшее значение печати на небывалую высоту, не имеет более ожесточенных врагов в обществе, как среди печати же, и главное преступление этой газеты – ее успех. Суворину никак не могли простить его блестящего таланта, покоряющей увлекательности его пера, его знаменитости, а главное – материального успеха... Как это ни постыдно для человеческой природы, зависть, самая

⁸ Телохранильщик России... – С. 34.

⁹ Там же. – С. 109, 110.

низкая зависть не чужда деятелям даже высоких общественных призваний, и не только зависть бездарности в отношении к таланту, но также горькая зависть бедняка к человеку, выбившемуся из бедности»¹⁰.

Одним из самых ярых врагов Суворина стал К. В. Трубников, в 1876 году предложивший Суворину купить у него непопулярное «Новое время». Новый издатель быстро сделал газету процветающей. Этому Трубников ему не простил. В своей газете «Мировые отголоски», выходящей в 1897 – 98 гг., Трубников начал целую кампанию против Суворина. Он подавал императору прошение, в котором критиковал «Новое время», называя себя охранителем, и советовал газету запретить. В «Мировых отголосках» он печатал направленные против суворинского издания статьи, надеясь, что на них обратят внимание власти. После одной из таких статей пять его сотрудников ушли от него и явились к Суворину, прося напечатать заявление об этом. Сын Суворина – Алексей, активно работавший в это время в «Новом времени», им отказал.

29 марта 1897 года «Мировые отголоски» опубликовали статью «Мрак тьмы». В ней говорилось, что «Новое время» приобрело в последние двенадцать лет «верховенство, чуть ли не монополию в столичной большой прессе» только потому, что не было больших частных газет, способных с ним конкурировать. Суворина автор характеризовал как «закоренелого в отрицательном направлении мысли и с беспощадной последовательностью, хотя в замаскированной форме, вытравлявшего в стране в течение десятков лет религиозно-нравственные основы». То есть в вину Суворину ставилось то, что, по мнению левых, отсутствовало в его газете: левые упрекали его в том, что он предал либеральные идеи, «отрицательное направление мыслей», и стал охранителем устоев самодержавия. Одни и те же факты в пропагандистских целях очень легко истолковать в диаметрально противоположном смысле. Трубниковское издание писало, например: «Легкомыслие “Нового времени” доходит до того, что газета эта, постоянно руководствуясь лжеучениями Шопенгауера и неиспра-

¹⁰ Там же. – С. 371 – 372.

вимого последователя его Л. Толстого,.. заменяет нравственное православно-христианское учение европейским социализмом». Под пером Трубникова «Новое время» превратилось уже и в «социалистический» орган. В 1897 году эта статья обрушивается на опубликованный еще в 1891 году отзыв о «Крейцеровой сонате» Л. Толстого, где основная мысль повести названа «правдивой и высоконравственной»¹¹. Подобные обвинения вполне заслуживали того, что Суворин считал их доносом на «Новое время».

Упреки, предъявляемые Суворину демократической печатью, носили прямо противоположный характер. Его обвиняли в угодничестве, прислужничестве, охранительной политике, предательстве, и не реагировать на эти обвинения, как это делал Суворин в случае с Трубниковым, было нельзя. Демократическая пресса пользовалась большим влиянием у интеллигентного читателя.

Положение русской печати было сложным и своеобразным. Жалобы на притеснения цензуры печатались постоянно. Суворин в Дневнике 8 февраля 1893 года записывал: «Что это за жизнь, которую я провел? Вся в писании... А я работал, ей богу, не для денег... Все совершавшееся вызывало мысль, раздражало; я негодовал, горел, трусил, проклиная себя и других. Но когда все это выливалось на бумагу и имело успех у читателей – удовлетворен... Что было в душе правдивого, честного, горячего – то выливалось в урезанные формы, мысль и чувства сжимала цензура, сжимало то, что путем десятков лет накопилось под давлением нашего режима»¹². Но «под давление режима» появилась в России еще одна цензура, о которой не принято было говорить. Об этом писал М. О. Меньшиков: «Полицейский надзор все-таки имеет одну довольно узкую область – религиозно-политическую. Вне этого запретного сектора правительство всегда разрешало свободу мнений. Не то внутренние цензора – радикальные редакторы. Кроме охраняемого правительством угла мнений, в котором радикалы предпочитают мыслить всегда и непременно

¹¹ Цит. по: Дневник А. С. Суворина. – М. : Независимая газета, 2000. – С. 291, 295.

¹² Там же. – С. 98.

наперекор закону, – вся остальная неизмеримая область мышления подвергается стрижке под радикальную гребенку. Ничего индивидуального, ничего несогласного с шаблоном, раз навсегда установленным, вернее – заимствованным от старых нигилистических времен». «Суворин был слишком талантлив, чтобы помириться с рабством мысли, хотя бы оно налагалось своей же литературной братией»¹³. Он первым дал возможность себе и своим сотрудникам выражать другие, не соответствовавшие принятым трафаретам мнения. Он предвосхитил XX век, когда традиции «унисонного хорового пения» в органе прессы были отброшены и в газете или журнале появлялись несколько «солистов», отличавшихся друг от друга не только творческой индивидуальностью, но собственным подходом к окружавшему их миру.

Самым грозным врагом Суворина был блестящий сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин. Их личные отношения с годами претерпели изменения. Еще во время сотрудничества Суворина в журнале «Русская речь» (начало 60-х гг.) Салтыков вместе с А. М. Унковским и А. Н. Плещеевым хотели издавать журнал и пригласили его на совещание, потом обедали в трактире. Правда, журнал не вышел. В 1875 году жена Салтыкова в одном из писем сообщает, что к ним в усадьбу уже приехали младшие сыновья-близнецы Суворина с няней и скоро появится сам Суворин с женой¹⁴. Разладились отношения, вероятно, после того, как Суворин опубликовал критическую статью об «Истории одного рода», Салтыков ему резко и публично ответил.

Салтыков-Щедрин с первого номера «Нового времени» награждал суворинскую газету уничижительными кличками: «Новый пятиалтынный», «Литературно-политический нужник», «Портки чичиковского Петрушки». И самая популярная, буквально прилипшая навсегда к газете – «Чего изволите?». Эти клички создавали некий эмоциональный образ газеты и ее редактора-издателя, содержательной критики в них было мало. Знаменитое «Чего изволите?» рисовало согнувшегося в поклоне лакея, подобострастно задающего хозяину извечный «лакейский»

¹³ Телохранитель России... – С. 366.

¹⁴ См.: Дневник А. С. Суворина. – С. 212, 552.

вопрос. Это некая иллюстрация к постоянно повторяющемуся обвинению Суворина в «угодничестве», «искательстве» перед властями, к этому добавлялась еще и кличка «флюгер», который поворачивается туда, куда дует «правительственный ветер». Надо заметить, что в наше время основной издевательский смысл вопроса «Чего изволите?» нашим молодым современникам уже не понятен. Большинство студентов, например, считают, что этот вопрос Суворин задает своей аудитории, читателям газеты.

К сожалению, до сих пор срабатывает убеждение, выработанное многими десятилетиями: если **сам** Щедрин так сказал, значит это истина. И Е. А. Динерштейн пишет, что все эти прозвища «куда как справедливы», даже не считая нужным эту «справедливость» хоть на одном примере доказать.

И еще одно немаловажное обстоятельство совершенно игнорируют сторонники щедринских оценок: они касаются только первого десятилетия истории «Нового времени» (Салтыков-Щедрин умер в 1889 году), газета выходила еще двадцать с лишним лет, менялось время, менялись люди, старел и становился мудрее сам Суворин. Нельзя «растягивать» оценки, сложившиеся в определенное время в определенных обстоятельствах на десятилетия вперед только потому, что они принадлежат кому-то из «великих». И никогда не надо забывать, что в самой ожесточенной идейной борьбе всегда может присутствовать оттенок личной неприязни.

Кстати, Суворин в долгу не оставался. Он называл Щедрина «государственный сатирик», намекая на то, что цензура пропускала самые рискованные выпады писателя против власти. Это заметил и Розанов: «Щедрин весь прошел (цензурно)»¹⁵. Традиционно это объясняется глупостью русской цензуры, но не все цензоры были абсолютно глупы. Умными и образованными людьми были и российские императоры. В Дневниках Николая I есть интересные записи, сделанные в последние дни перед гибелью. В Екатеринбурге, в доме инженера Ипатьева, где находились члены царской семьи, они нашли в шкафу полное собрание сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина. Бывший император 13, 21,

¹⁵ Телохранитель России... – С. 114.

27 мая записывает, какие тома он прочел, добавляет – «с интересом». 21 июня: «Сегодня начал VII том Салтыкова. Очень нравятся мне его повести, рассказы и статьи»¹⁶. Интересно, что императору, хотя и бывшему, нравятся статьи Щедрина. Возможно, его деду и отцу тоже пришлось по вкусу резкая критика, которая могла бы помочь очистить русское государство «от скверны». Наверное, недаром один из лидеров коммунистической партии в памятное всем время выбросил лозунг о необходимости для советского государства своих «Гоголей и Щедриных». Имелось в виду, естественно, что они сыграют благотворную роль для укрепления режима тоталитарного государства.

Так или иначе, полемика в русской журналистике всегда велась за гранью этических норм. Но при этом чувствовалось в ней что показное, ненастоящее. И, наверное, прав В. В. Стасов, который тоже был непримиримым врагом Суворина, когда писал: «Мы как два войска во время минутного перемирия,.. обмениваются табачком, потчуют друг друга водкой, говорят любезно, ласково и дружески, улыбаются друг другу – а завтра, если случится, опять пойдут всаживать штыки друг другу в кишки...»¹⁷.

Сейчас «бой» закончен, и через 150 лет пора уже и исследователям, и публицистам подняться «над схваткой» и попытаться понять, что никогда не бывает абсолютно правых и абсолютно виноватых, и каждая враждующая сторона имеет свое объяснение происходящему. Все остальное рассудят время и потомки, то есть мы.

В этой ожесточенной схватке Суворин не присоединился ни к одному из враждующих лагерей, он шел «против течения». Вот что писала газета «Голос Москвы» в 1912 году после смерти Суворина (№ 167): «Суворин часто, очень часто шел против течения, никогда не кривя душой, чтобы попасть в тон “модным веяниям”, каковы бы они ни были. Его «Маленькие письма» нередко шли вразрез с тем, что в ту минуту считалось непреложным. Это создавало ему массу врагов. Бывали случаи, когда на страницах

¹⁶ Дневники и документы из личного архива Николая II. – Минск : Харвест, 2003. – С. 114, 116, 117, 120.

¹⁷ Цит. по: Дневник А. С. Суворина. – С. 24.

враждебных ему газет, не могших простить ему блестящего успеха, раздавался откровенный призыв к “бойкоту” “Нового времени”. Печатались коллективные письма будто бы нововременских читателей, отрекавшихся от “Нового времени” и клявшихся отныне читать только “Новости” Нотовича¹⁸.

Одним из случаев, когда Суворин пошел вразрез с тем, что считалось непреложным в то время, является история, связанная с публикацией статьи Суворина о студенческом революционном движении в «Новом времени» 21 февраля 1899 года. Суворин очень страдал от того, что не получил серьезного образования, хотя все недостатки он восполнял огромной работой по самообразованию. К студентам он относился с особой любовью, считая, что будущее страны в руках образованных людей и именно теперешние студенты будут это будущее строить. По свидетельству Динерштейна, студенты могли выписывать «Новое время» за половину стоимости.

Когда начались студенческие беспорядки, он сказал: «Если студенты хотят заниматься политикой, а не учиться, пусть уходят из университета! На их место много кандидатов. Вся Русь рвется к науке». Скандал разразился огромный. В газеты полетели протестующие письма, «Новое время» оказалось под ударом всей либеральной прессы. Когда 17 марта вышел указ правительства, запретивший всякие публикации по студенческому вопросу, Суворина обвинили, что он этот указ «выпросил» у министра, чтобы огрadyть «Новое время». Его вызвали на суд чести, который его единогласно оправдал. Вся эта история стоила ему нескольких лет жизни, его переживаниям посвящены многие страницы Дневника.

Этот факт всем известен. Д. Рейфильд – автор вступительной статьи к новому изданию «Дневника А. С. Суворина» – считает, что тот совершил «грубую ошибку». Но никто не обратился к «Маленьким письмам» Суворина 1905 года, когда студенты, снова начали принимать участие в политическом движении и устраивать забастовки.

25 января 1905 года Суворин писал в «Маленьком письме» о том, что он «несколько лет назад возбудил к себе негодование

¹⁸ Цит. по: Телохранитель России... – С. 48.

многих за то, что заговорил против забастовки молодежи. Тогда союз писателей предал меня суду своему с тем, чтобы меня извергнуть из этого союза. Но суд ограничился замечанием, хотя в нем заседали мои политические враги. Я и ныне думаю, что стачки молодежи приносят вред как ей самой, так и России, наполняя ее полуобразованными людьми, ибо забастовка разлагает не только учащийся, но и профессорский персонал...»¹⁹. Суворин в последующих своих «Маленьких письмах» будет постоянно повторять свои доводы о недопустимости участия студентов в стачках, употребляя все более резкие, действительно обижавшие студентов выражения и характеристики, печатать в своих материалах студенческие письма, отвечать на них, развернет целую кампанию в защиту своей идеи, высказанной в 1899 году. То есть Суворин настаивал на своей правоте, когда он был в ней уверен. И разве найдется в наше время человек, который начнет спорить с таким отношением к студенческим стачкам. «Грубую ошибку» совершил не Суворин, а те, кто его с такой страстью обвиняли.

К сожалению, до сих пор и в работах Динерштейна, и в некоторых статьях о Суворине звучат голоса только его противников из радикального лагеря и совсем не привлекаются оценки людей, хорошо знавших издателя «Нового времени», много лет с ним работавших. О личности Суворина, его жизни, о его отношении к делу рассказывали В. В. Розанов, М. О. Меньшиков, А. В. Амфитеатров, Б. Б. Глинский и другие. Их рассказы и воспоминания опубликованы в уже упоминавшемся сборнике «Телохранитель России», увидевшем свет в 2001 году. Но ссылаться на эти материалы авторы статей о Суворине как-то не спешат. Опять срывает некая внутренняя цензура – слишком долго эти люди удостаивались только негативных характеристик. Например, в журнале «Журналист» в 1927 году в одной из статей В. Розанов и М. Меньшиков были названы «всем известными негодьями»²⁰. И хотя сейчас историческая справедливость восстановлена, и эти люди заняли подобающее им место в русской публицистике, литературе, философии и культуре, все же срывает стерео-

¹⁹ Суворин А. Русско-японская война и русская революция. – С. 226.

²⁰ Журналист. – 1927. – № 2. – С. 11.

тип: «защитники Суворина лгут, правы только обвинители». Истина всегда где-то посередине, но чтобы ее найти, надо учитывать мнения и тех и других.

В уже неоднократно цитировавшейся выше статье «Из припоминаний и мыслей об А.С. Суворине» Розанов делает вывод: «ни о какой зависимости Суворина ни от всего правительства в целом, ни от отдельных его лиц, конечно, не может быть и речи»²¹.

Так же категоричен М. Меньшиков, он считает, что «обвинения в том, что “Новое время” всегда приспособлялось к господствующему в данное время влиянию, являются “умышленной ложью”, повторяемой всеми без элементарной проверки, без тени осведомленности. В действительности же “Новое время” очень часто создавало господствующее настроение; не оно приспособлялось к обществу, а заставляло общество прислушиваться к своему искреннему голосу... Надо было знать Суворина лично, надо было годами вглядываться в эту сильную и гордую натуру, чтобы понять, мог ли он сознательно к чему-нибудь приспособляться, мог ли пойти на какое-нибудь “угодничество”»²². Можно опять утверждать, что и Меньшиков, и Розанов – люди, работавшие в суворинской газете, то есть зависимые от редактора, несколько приукрашивают его личность. Но вот мнение современного исследователя, не скованного рамками идеологии, правда, тоже часто дающего оценки категоричные и недоказуемые: «Суворин мнил себя серым кардиналом, – пишет Д. Рейфилд во вступительной статье к «Дневнику», – который направляет ход российской истории, выдавая советы, манипулируя секретной информацией, а порой прибегая и к шантажу»²³. Здесь каждое слово вызывает вопросы: откуда автор узнал, что Суворин «мнил» себя серым кардиналом, когда, в каких публикациях он манипулировал секретной информацией и тем более «прибегал к шантажу»? Но эта характеристика английского ученого полностью опровергает щедринское «Чего изволите?».

²¹ Телохранитель России... – С. 101 – 102.

²² Там же. – С. 372.

²³ Дневник А. С. Суворина. – С. 19.

И хочется напомнить еще одно розановское определение взглядов Суворина, о которых написано невероятно много и чаще всего так же невероятно неточно. В. В. Розанов назвал Суворина «прогрессист»: «“Прогресс в России” или “освобождение и свет в России” и заключается, конечно, в медленной и упорной, и стойкой, и, наконец, победной борьбе с такими “заграждениями” на всяком шагу перед русским трудом и духом... перед русским человеком; заключается в медленном распутывании всех этих паутин... И вот эту-то борьбу десятки лет нес на своих плечах Суворин, он чрезвычайно много сделал для нее своей могущественной газетой; и с таким грузом невидимых или мало видимых, не шумных, дел за спиною мог спокойно слушать, когда газетные и журнальные сороки стрекотали вокруг него: “Суворин не либерал”»²⁴.

Наверное, очень справедливо, что «пакет» материалов об А. С. Суворине, размещенных в Интернете, начинается со статьи В. В. Розанова «Суворин и Катков». Статья впервые была опубликована в газете «Колокол» 11 марта 1916 года, затем перепечатана в 1997 году в № 7 журнала «Новое время». В Интернете появилась в 2001 году (www.hronos.km.ru/statii/2001/rozan_suv.html).

Оппозиционные публицисты часто сравнивали М. Н. Каткова и А. С. Суворина, называли их столпами проправительственной, охранительной прессы. Розанов с этого начинает: «В судьбах русской журналистики XIX века сыграли исключительную роль Катков и Суворин. Они не имели между собой ничего общего. И так через контраст друг другу они отсвечивают особенно ярко во взаимном сопоставлении». Очень четко автор определяет роль Каткова. «Катков создал государственную печать в России и был руководителем газеты, которая, стоя и держась совершенно независимо от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале...» Как всегда, розановские характеристики героев достаточно парадоксальны: «“перо” Каткова было больше Каткова и умнее Каткова», «ум, зоркость, дальновидность Каткова – была гораздо слабее его слова».

Совершенно не традиционна характеристика русской журналистики в середине XIX века: «Все наши газеты, в сущности, вся

²⁴ Телохранитель России... – С. 94.

наша журналистика спокон века была идейная и кружковая... России никто не выражал, не искал выразить; все выражали идеи “нашего кружка”, кружка Белинского и “Отечественных записок” 40-х и 50-х годов», «кружка Щедрина – Некрасова – Михайловского в том же журнале 70-х годов», «кружка Чернышевского и Добролюбова в “Современнике”», «кружка Стасюлевича, Спасовича, Пыпина, Слонимского, Утиных – в “Вестнике Европы”»... Это были кружки людей приблизительно одной школы, одного возраста, и, самое главное, – приблизительно одного «круга чтения»... Книга – вот, что их соединяло! Россия решительно много и решительно ничем в себе не соединяла! Через это вся литература была собственно словесная, теоретическая. И, странным образом, «русского», кроме таланта и этики, в этой литературе ничего не было! Все мысли, все сердце, вся душа были «социалистические», «марксистские», англоманские, германофильские, полонофильские, космополитические. Потому что и основные-то книги русского «Круга чтения» всегда были не русские, а переводные или «в оригинале» иностранные (с. 3). С этой характеристикой можно не соглашаться, полемизировать с ней, но знать и учитывать на современном этапе развития истории русской журналистики, на наш взгляд, необходимо. В «Новом времени», считает Розанов, «представительствовалась Россия и русское дело, а не марксизм и марксистские успехи в Германии и России...» (с. 3).

Когда в 1887 году умер М. Н. Катков, Салтыков писал М. М. Стасюлевичу: «Кто-то теперь будет властителем дум, первым патриотом и мужем совета? – вероятно, Суворин. Он так и лезет. Был кабан, будет поросенок, это в порядке вещей»²⁵. Но Суворин-то как раз и «не лез». Он не любил Каткова и совсем не хотел быть его продолжателем. Он был совсем другой. И это показывает Розанов в своей статье. «Все накинулись на него, в сущности, за отсутствие у него этого кружкового эгоизма, за то, в сущности, что он служил России, а “не снам Веры Павловны”... Это-то именно сорвало с уст окружающей печати: “Суворин не имеет убеждений”, “Суворин служит тому, чему велют ему служить”, его газета есть газета “Чего изволите?” Хотя никто реши-

²⁵ Цит. по: Дневник А. С. Суворина. – С. 13.

тельно не мог его своротить с пути служения именно России, ее чести, славе и достоинству, главное – ее пользам и нуждам. На страницах “Нового времени” разрабатывались и проводились, проводились и толкались вперед все реальные интересы России. Это есть главная сущность газеты, сущность ее за сорок лет существования» (с. 3).

В чем же отличие Каткова от Суворина? Катков «был человек “назад”», «Катков – фигура, а не лицо»... Ему повиновались, но «со скрежетом зубов». «Его никто не любил». «Если поставить около Каткова Суворина – то это “совсем мало”... Суворин писал и писал, издавал и издавал, трудился, копался; трудился, смеялся,.. Суворин около Каткова вообще кажется легкомысленным. Но не торопитесь судить. Всмотритесь. После Каткова вообще ничего не осталось... Суворина живо помнят сейчас, многие любят его... Катков “прошел”, Суворин “вовсе не прошел”. Суворин при своем, сравнительно с Катковым, ограниченном образовании, “маленьком образовании”, был природным умом богаче, сложнее и утонченнее Каткова» (с. 3).

Розановская статья является, может быть, парадоксальной и спорной, но это, несомненно, интересный и глубокий анализ деятельности двух замечательных журналистов, вписавших свои имена в историю русской журналистики.

И рядом с ней странное впечатление производит статья «Русский Гэтсби», принадлежащая Елене Петровой (old.russ.ru/krug/19991111_petrova.html). Она написана «свободным» публицистическим стилем, и главная ее цель – изобличить и очернить врага. А враг, конечно, Суворин. Статья Петровой представляет собой некий коллаж из чужих утверждений, часто данных без кавычек, и негативных оценок, тоже чужих, категоричных и бездоказательных.

С такого категорического и неверного утверждения статья начинается. «У Суворина нет биографии... Но из некрологов, очерков, фраз, пасквилей, доносов, фельетонов, анекдотов, карикатур невозможно составить целостный портрет». Желание сказать хлестко и жестко приводит к смысловому огреху: у Суворина, как и у любого, прожившего жизнь человека, биография есть, но

она еще не написана. Хотя и это неверно. Его биографию писал Б. Б. Глинский, широко используя автобиографические записки самого Суворина, кроме того, автобиографические сведения рассыпаны по Дневнику.

Попытки создать творческий портрет журналиста предпринимались уже в 1977 году во втором номере журнала «Вопросы литературы» в статье И. Соловьевой и В. Шитовой «А. С. Суворин – портрет на фоне газеты». Но Е. Петрова снова начинает с портрета, причем в прямом смысле. Она вспоминает известную историю с одним из двух портретов Суворина, написанных Крамским. В. В. Стасов, не любивший Суворина, написал, что такой портрет «навсегда, как гвоздь, прибивает человека к стенке». Крамской, ничего подобного не имевший в виду, был смущен. Кончается абзац, посвященный портрету, характерным для Е. Петровой утверждением: «Известно также, что Суворин боялся своих портретистов, боялся быть “пойманным”». Во-первых, неясно, откуда это известно, кто, где и когда об этом писал, во-вторых, многозначительно оборванная фраза подразумевает, видимо, «быть пойманным» на подлых предательских мыслях, поскольку других мыслей, по мнению автора, у этого человека быть вообще не могло. Но «поймать» Суворина было невозможно. «Портреты Суворина, решительно все, не передают совершенно его лица, – свидетельствует Розанов, – и потому именно, что *не передают разговора*, а Суворин был “весь в речи” и ничего – “в позе”». Розанову нравилась одна большая фотография, где Суворин в черном сюртуке, собранный, напряженный, значительный. Только фотограф «поймал» момент, в котором был истинный Суворин.

Статья Е. Петровой посвящена новому, появившемуся в 1999 – 2000 годах изданию «Дневника А. С. Суворина» и книге Динерштейна. С «Дневником» автор «расправляется» очень решительно. Он по-прежнему не прочитан, считает Е. Петрова, то есть она сводит на нет многолетнюю работу большого авторского коллектива, но при этом не уточняет, каковы эти «фактические и смысловые лакуны», которые существуют в новом издании. Далее следуют три больших абзаца из статьи Ю. Тынянова,

написанной в 1924 году по поводу первого издания «Дневника». Когда он увидел свет, в советской печати появились выступления, доказывавшие, что победившему пролетариату не интересны воспоминания царских прислужников. Тынянов считал публикацию нужной и полезной. Но замечательный литературовед вынужден был нарисовать портрет автора Дневника в идеологически верных для того времени красках. Поэтому Суворин в его статье, «близкий ко двору,.. наедине с самим собой презирает и честит двор и царя... и жалеет о разгроме революции 1905 года, в котором принимает участие». Все, кто читал Дневник, прекрасно знают, что близким ко двору Суворин не был, двор и царя не честил и никакого участия в разгроме революции не принимал. Но в 1923 – 24 годах так писать было нужно.

Удивляет тот факт, что Е. Петрова приводит такую большую цитату из публикации 1924 года, совершенно не упоминая более поздние и более объективные материалы, посвященные «Дневнику А. С. Суворина»: статьи Н. А. Роскиной «Об одной старой публикации»²⁶, В. Я. Лакшина «Провал»²⁷ и Г. Н. Драгана «Дневник А.С. Суворина как исторический источник»²⁸.

Но цитата из Ю. Тынянова взята не из его публикации в журнале «Русский современник» (1924, №1), а переписана из второго Предисловия к «Дневнику...», принадлежащего Н. А. Роскиной. Вообще заимствований из двух предисловий к новому изданию в статье Петровой в Интернете очень много. Три больших абзаца, посвященные взаимоотношениям А. П. Чехова и А. С. Суворина, без кавычек заимствованы из Предисловия Д. Рейфилда, так же как и половина последнего абзаца, повествующего о смерти Суворина. Отношение к «Дневнику» тоже «заданное» изначально: «Дневник» – «бесстрастный каталог выпадов, провалов и мерзостей». Е. Петрова выписывает несколько примеров из «Дневника», где Суворин записал поразившие его нелепости и мерзости жизни, но по этим четырем примерам оценивать все 500 с лишним страниц текста будет совершенно необъективно

²⁶ Вопросы литературы. – 1968. – № 6.

²⁷ Театр. – 1987. – № 4.

²⁸ Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 1983. – № 3.

и несправедливо, потому что если их прочесть, можно найти огромное количество тонких размышлений о жизни, литературе, журналистике, русской истории и т. д. Но главная задача автора такой характеристики – очернить Суворина, оставить в памяти читателя хлесткие, бездоказательные оценки. Чтобы закрепить впечатление, она еще раз повторит: «Как Дневник – “каталог мерзостей”», так и «ключевой номер суворинского издательского беспрограмма» – справочники, «упорядочивающие хаос русской жизни». Кавычки в этой цитате должны доказать, что не одна Е. Петрова так думает.

Вторая часть статьи Петровой посвящена издательской деятельности героя ее выступления, что само по себе неточно, так как приоритетной сферой деятельности Суворина была газета, о которой вообще практически не упомянуто. Но автор вправе писать о том, что он считает важным. К сожалению, вторая часть тоже абсолютно не самостоятельна. Если здесь и нет текстовых заимствований из книги Динерштейна, то весь тон, все оценки взяты оттуда. Даже если автор не может предъявить суворинскому издательству очередного обвинения, если волей-неволей приходится сказать что-то хорошее, все равно определенная «ложка дегтя» обязательно появится. Говоря о десятитомном собрании сочинений А. С. Пушкина, изданном к столетию поэта, Петрова пишет: «Оно было первым в ряду массовых изданий, и его нельзя было еще ни с чем сравнить (впрочем, томики его никогда не стоили гривенник)». То есть подтекст ясен: Суворин наживался на издании Пушкина, но при этом «лгал», что оно дешевое. Ну, во-первых, надо сказать, сколько же стоил том, а во-вторых, обратить внимание на свидетельство Розанова в статье «Суворин и Катков», тоже размещенной в Интернете. Розанов специально расспрашивал о денежной стороне дела старшего сына Суворина Михаила, который подтвердил, что отец не заработал на этом издании ни копейки, а наоборот, понес убытки.

Кончается статья тезисом Динерштейна о закономерном «крахе» суворинского издательства, как неизбежном наказании за «неправедно нажитые деньги» и другие «грехи». На это намекает и название статьи: герой романа Ф. С. Фицджеральда «Великий

Гэтсби», неизвестно каким путем наживший огромное состояние, оказывается чуть ли не убийцей и умирает в одиночестве. Советский энциклопедический словарь писал в свое время, что роман развенчивает «американскую мечту – идею материального преуспевания». Петрова тоже хочет развенчать возможность разбогатеть «русскому Гэтсби», считая, что крах должен быть обязательно.

Но и здесь – фактическая неточность: Петрова пишет, что за два года до смерти Суворин лишился издательства, Д. Рейфилд, перечисляя наследство, оставленное детям, называет и издательство в том числе.

Таким образом, статья Петровой абсолютно не самостоятельна и компилятивна, но резкие и «лихие» формулировки, к сожалению, привлекают внимание неподготовленных читателей и студентов. И тем более странно, что еще один материал, посвященный издательству Суворина, опубликованный в рубрике «Библиофил Патефоныч», начинается с цитаты из статьи Петровой («У Суворина нет биографии...»). Автор вроде бы с Петровой не спорит, но в его статье приведены и факты биографии, и даны более взвешенные и точные оценки деятельности известного издателя.

Наиболее удачными, на наш взгляд, являются статьи С. Сергеева «Гражданин Суворин» к 170-летию со дня рождения издателя, и М. Ганичевой «“Новое время” Алексея Суворина. Слово правды» (zlev.ru/51_53.htm/www.voskres.ru/idea/ganitchedf_printed.htm). Главное достоинство статей в том, что речь в них идет о главном в наследии Суворина – его деятельности журналиста и редактора.

В начале статьи С. Сергеев сравнивает роль Суворина в русской журналистике с ролью У. Р. Херста – в американской. Об этом пишет и Д. Рейфилд: «По уровню профессионализма и качеству издания “Новое время”, пожалуй, превосходило другие петербургские газеты и явно стремилось приблизиться к лондонской газете “Таймс”... Технология выпуска, система продажи, реклама, условия работы журналистов – все это делало суворинское детище газетой двадцатого века, а ее издателя – всесильным ти-

раном той же закваски, которая позже дала Америке отца желтой прессы У. Р. Херста, а Англии – высокопоставленного политика и газетчика лорда М. Бивербрука»²⁹. Сергеев сглаживает «разоблачительный» пафос Рейфилда, назвавшего Суворина «тираном», и говорит о сходстве деятельности этих предпринимателей как о факте.

Подробно характеризует автор вышедшие о Суворине работы: и «брызжущую ненавистью к своему предмету» монографию Динерштейна, и сборник «Телохранитель России», и другие.

Совершенно справедливо С. Сергеев отмечает, что «для широкого читателя жизнь и деятельность А. С. Суворина все еще terra incognita, поэтому нелишним будет вкратце их обрисовать».

Статьи С. Сергеева и М. Ганичевой во многом перекликаются, потому что обе рассказывают в основном о работе Суворина в его газете (хотя часть публикации Ганичевой посвящена и издательству). И в той, и в другой воспроизводится биография Суворина, но не только человека, а именно – газетчика. И та, и другая спорят с Салтыковым-Щедриным. «Его [Суворина] часто упрекали в беспринципности, – пишет Сергеев, – Щедрин называл “Новое время” “Чего изволите?”, то же обвинение красной нитью проходит через всю книгу Динерштейна <...>. Не надо путать принципиальность и партийность. Суворин всю жизнь упрямо не давал себя замкнуть в узкие рамки какой-либо партии, но оставался верен главному в себе» (с. 5). Несправедливой и незаслуженной считает эту кличку и М. Ганичева: «...И как бы ни бранили на всех углах и перекрестках строгий принцип “газеты для всех” (так незаслуженно перевернутый Салтыковым-Щедриным в “Чего изволите?”) осуществлялся всегда...» (с. 5).

И Сергеев, и Ганичева считают одним из самых значительных периодов в истории газеты – период русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. «Новое время» пропагандировало идею объединения славян, общности интересов всего славянского мира перед общей опасностью. «Новое время» вышло 29 февраля 1776 года (в Касьянов день, свой юбилей газета праздновала один раз в четыре года). Бросив совсем недавно появившееся издание, Су-

²⁹ Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 1983. – № 3. – С. 12.

ворин купил в магазине на Невском простой револьвер и с ним отправился на поле сражения. Вместе с известным журналистом Вас. И. Немировичем-Данченко на лодке рыбака они переправились через Дунай и примкнули к сражающимся. «Его корреспонденции из Сербии, помещаемые в “Новом времени”, будоражили общественную совесть русских верхов»³⁰.

Говорит С. Сергеев и о «парламенте мнений». «В “Новом времени” не было унылого монолога одной какой-то, пусть даже самой благородной, доктрины. Газета представляла собой, по определению Меньшикова, “парламент мнений”, где совершенно обычным делом была яростная полемика между ее основными авторами, и где на одной и той же полосе соседствовали самые разные, порой полярно противоположные друг другу утверждения, за исключением, конечно, враждебных России» (с. 4).

Сергеев упоминает и известную полемику Суворина со Щедриным по поводу клички «флюгер» в одном из писем к Розанову. Но, как и Динерштейн, он не цитирует письмо полностью, опускает первую, наиболее важную часть этого письма: «Надо больше давать свободы личному мнению и не навязывать своего взгляда. Это большой недостаток в газетном деле. Газета не есть собрание истин, а собрание мнений». И только после этих слов Суворин пишет: «меня упрекали в том, что я будто бы флюгер. Я вовсе не флюгер». И так далее³¹. То есть, о «парламенте мнений» говорил и сам Суворин. Об этом же пишет и М. Ганичева: «Газета при Суворине держалась на умении привлечь таланты и заставить их работать на себя, на непризнании узких партийных рамок, недаром он называл свою газету “парламентом” и не стеснял сотрудников “направлением”, отчего на ее страницах нередко возгорались ожесточенные споры даже между постоянными сотрудниками» (с. 4).

Очень лично и взволнованно С. Сергеев заканчивает свою статью: «Я хочу надеяться, что со временем не только будет переиздана лучшая часть литературного наследия “Ломоносова русской прессы” (и в первую очередь его многолетний публи-

³⁰ Телохранитель России... – С. 281.

³¹ Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. – СПб., 1913. – С. 80.

цистический цикл “Маленькие письма”), не только появятся о нем книги, написанные без лютой ненависти, но и сам его образ станет знаком и близок каждому нормальному русскому человеку...» (с. 6).

В приложении к своей статье С. Сергеев публикует четыре письма к Суворину М. О. Меньшикова. В свое время ругать его «Письма к ближнему» было так же обязательно, как и само «Новое время». Сейчас фигура Меньшикова переоценена. В письме от 25 декабря 1904 года он писал, например: «Что можем сделать мы, журналисты? Только не притворяться, только говорить то, что чувствуешь. Пусть это выходит дико, сумбурно, резко, – на отвыкшее от натуральных звуков ухо, но это сама истина, человеку доступная» (с. 6). Вероятно, с этими словами согласятся многие современные журналисты.

М. Ганичева затрагивает тему, не получившую достаточного освещения в статье Сергеева, – Суворин – редактор. «Чувство инициативы, любовь к нововведениям, умение “сделать” журналиста, чутье на газетного человека – вот его качества как редактора» (с. 3).

Как и С. Сергеев, М. Ганичева делает бесспорный вывод: «Каторжный труд А. С. Суворина так до основания еще не понят и не разобран потомками. Это еще предстоит сделать, сделать с любовью к личности крупной, объемной, а не так, как это сегодня сделано во многих изданиях, посвященных ему. Сделано – с желанием закрыть тему служения, поставив вместо нее тему карьеры, преследуя целью очернить его и его труды. Удивительная нелюбовь через сто семьдесят лет!» (с. 8).

Этот разбор еще и не начат. Не прочитан комплект газеты, а это действительно «каторжный труд», ведь «Новое время» – издание ежедневное, выходившее 40 лет. Не изучен полностью огромный архив Суворина, который хранит интереснейшие материалы, не введенные в научный оборот.

Много неясного в истории существования «Нового времени». Например, Динерштейн пишет, что ничего в газете не делалось без ведома Суворина, он ни на минуту не оставлял свое детище, не доверяя сотрудикам. Но, по рассказу Глинского, примерно с

1895 года «старик» активно привлекал к руководству сына Алексея, пытался отойти от газеты и заняться театром и творчеством. Некоторое время они работали вместе плодотворно, но необузданный характер Алексея, решавшего часто деловые споры при помощи пощечин, заставил отца порвать с ним, и в 1905 году Суворин снова активно руководит газетой. В последние почти три года жизни, во время смертельной болезни он передал газету сыновьям Михаилу и Борису, ставшему во главе «Вечернего времени». Но работой старшего сына в «Новом времени» Суворин был недоволен: «Миша плохой редактор», – пишет он в Дневнике. А. В. Амфитеатов, ушедший из суворинского издания в 1899 году, пишет о «молодой редакции – государственников», противостоявших редактору-издателю. О ней практически ничего не известно. Совершенно не изучен период с 1900 по 1909 год в творчестве самого А. С. Суворина.

М. Ганичева приводит письмо Суворина Крамскому: «Я разбираю себя строго в последнее время, я хочу в своем уме подвести итог того, что я такое. Конечно, никто самому себе не судья. Однако никто себя так не знает, как сам же человек. Есть черты дурные, есть черты и хорошие. Дурные все от бесхарактерности, от отсутствия выдержки, от какой-то задней мысли, которая мешает быть вполне искренним... В литературной деятельности я никому не изменял, но моя смелость зависела от атмосферы... Провинность я за собой чувствую как журналист, но если я удостоюсь того, что моя деятельность будет оценена когда-нибудь беспристрастно, то я уверен, что в результате будет плюс. Как издатель я оставлю прекрасное имя.... Ни одного пятна. Я издал много, я никого не эксплуатировал, никого не жал, напротив, делал все, что может сделать хороший хозяин относительно своих сотрудников и рабочих... Газета дает до 600 тысяч в год, а у меня кроме долгов ничего нет, то есть, нет денег. Есть огромное дело, которое выросло до миллионного оборота, но я до сих пор не знал никакого развлечения, никаких наслаждений, кроме труда самого каторжного. Расчетлив я никогда не был, на деньги никогда не смотрел как на вещь, стоящую внимания» (с. 8).

Конечно, на такие слова можно отреагировать «по Динерштейну», который утверждает: «Как это часто случалось у Суворина, он и на сей раз думал одно, а говорил другое»³². Но Динерштейн, заронив сомнение в искренности своего героя, не пишет, что же он думает, потому что этого не знает.

Задача современных историков русской журналистики – без идеологической заданности, без враждебной предвзятости, без традиционно «левых» оценок определить вклад этого человека и в историю журналистики, и в культуру России конца XIX – начала XX века.

³² Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. – М., 1998. – С. 86.

В. Е. Красовский,

кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ

Феномен идеологического бестселлера в литературе и газетно-журнальной критике конца 1900-х годов и роман «Санин» М. П. Арцыбашева

Столетие выхода в свет одного из самых нашумевших русских романов начала XX века, который практически сразу же после публикации в журнале «Современный мир» (1907. – № 1 – 5) стал одним из ключевых текстов своего времени, обеспечив автору европейскую известность, кажется, не привлекло внимания историков литературы. Между тем и само это центральное в творчестве М. П. Арцыбашева произведение, и многочисленные отклики на него в столичных и провинциальных газетах и журналах 1900-х годов, а также в альманахах и сборниках, изданных на рубеже 1900-х – 1910-х годов, интересны с точки зрения возникновения феномена идеологического бестселлера в русской литературе начала XX века.

Идеологическим бестселлером может стать такое литературное произведение, в котором автор, реализуя свои представления об актуальном, востребованном обществом жизненном материале, учитывая новые духовные запросы современников, создает идеологему, способную увлечь значительную часть читателей, вызвать острые дискуссии, волну подражаний героям в реальной жизни, появление героев-«двойников» в произведениях других писателей и в конечном счете обеспечить своему детищу широкий публичный успех (в том числе, разумеется, коммерческий).

При этом художественные качества имеют второстепенное значение в сравнении с тем идеологическим зарядом, который несет литературное произведение. Основная цель писателя отнюдь не художественная: фактически он создает эффектную идеологическую матрицу в яркой беллетристической оболочке.

Появление идеологического бестселлера невозможно без широкого участия периодической печати, а также неперIODических публицистических и литературно-критических изданий, в которых разбирается, оценивается и в конечном счете пропагандируется новое произведение. Именно журналисты (критики и публицисты), используя свои «дирижерские» возможности, способны превратить факт литературы в злободневный факт духовной жизни общества, актуализировать или заострить полемический потенциал, заложенный в художественном тексте. Таким бестселлером, воспринятым многими читателями как новое «откровение», стал во второй половине 1900-х годов роман Арцыбашева, хотя и был написан, по меткому замечанию Д. П. Святополк-Мирского, как «тяжеловесная профессорская проповедь на тему: будьте верны себе, следуйте своим личным наклонностям»¹.

Пожалуй, только публикации произведений Л. Н. Андреева в первые годы XX века, в частности рассказы «В тумане», «Бездна» (оба – 1902) и в меньшей степени повести «Мысль» (1902) и «Жизнь Василия Фивейского» (1903), имели столь же широкий общественный резонанс, вызывали острую полемику в прессе. В спорах принимали участие не только журналисты, критики и писатели, но и рядовые читатели, посылавшие в газеты письма-отклики, выступавшие на обсуждениях рассказов и чтениях рефератов о творчестве Андреева.

Круг проблем, поднятых Андреевым, выходил далеко за пределы литературы, провоцируя дискуссии не столько о художественно-эстетических особенностях самих текстов, сколько о тех явлениях современной жизни, которые в них были отражены. Поэтому газетно-журнальная пресса – форпост обще-

¹ *Мирский Д.* [Святополк-Мирский Д. П.]. Арцыбашев // *Мирский Д.* История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / пер. с англ. Р. Зерновой. – Л., 1992. – С. 621.

ственного мнения, а нередко его манипулятор – в 1903 – 1904 годах охотно развертывала обсуждение «малой прозы» самого популярного в те годы писателя. Объясняя вспышку общественного интереса к произведениям Андреева, автор критических обзоров в «Журнале для всех» В. Мирский (Е. А. Соловьев) заметил: говорить о том, о чем говорит со своими читателями Андреев, «важно не только потому, что для художника важно хорошо говорить обо всем, что происходит в жизни человека, но и еще и потому, что тот *средний* круг нашего общества, не мужики, не рабочие, не аристократия, а именно средние люди, наполняющие наши города все растущей своей толпой, откуда Андреев берет своих героев, – в значительной степени дает тон нашей жизни»².

Именно произведения Андреева стали первыми в России идеологическими бестселлерами. Призывы «не читать и не покупать» сочинений Андреева, с которыми обращались к публике некоторые известные литераторы и общественные деятели, в частности гр. С. А. Толстая в газете «Новое время» (7 февраля 1903), давали совершенно противоположный эффект.

Общественный резонанс и коммерческий успех ранних произведений Андреева были, несомненно, известны Арцыбашеву. В его восприятии Андреев, наряду с М. Горьким, – один из литературных «генералов», мешавший продвижению молодых писателей, к которым Арцыбашев в первой половине 1900-х годов относил и себя. Однако, несмотря на вполне объяснимое соперничество, творческие принципы Андреева и социально-идеологическая модель бытования его произведений оказались очень близки Арцыбашеву. Подобно Андрееву он заряжал свои произведения идеологемами, которые могли взбудоражить общественное мнение, возбудить полемику в наиболее чувствительных к новым общественным и идеологическим вызовам точках – газетах и журналах.

История создания «Санина» восходит к 1901 – 1902 годам. Из воспоминаний сотрудников журнала «Мир Божий» известно, что еще в 1904 году или в начале 1905 года Арцыбашев предлагал

² Мирский В. [Соловьев Е. А.]. Наша литература // Журнал для всех. – 1903. – № 3. – С. 232.

роман для публикации в этом журнале, одним из первых читателей «Санина» был А. И. Куприн³. Интересно, что основным мотивом отказа редакторов «Мира Божьего» опубликовать роман была его «порнографичность». Лишь в «Современном мире», журнале, преемственно связанном с «Миром Божьим», уже в другой, пореволюционной общественно-идеологической атмосфере стало возможным его появление⁴. В конце 1907 – начале 1908 годов вышли первые книжные издания романа. В последующие годы он неоднократно переиздавался, в том числе в составе собрания сочинений Арцыбашева, которое выпускало Московское книгоиздательство. Судебное преследование автора, обвиненного в пропаганде порнографии, только подогрело интерес читателей: чтобы удовлетворить растущий спрос, потребовались переиздания романа.

По мнению критика В. Львова-Рогачевского, «в те годы, когда “Санин” лежал под сукном и ждал своего “момента”, М. Арцыбашев разбивал его как бы по частям и проводил взгляды Санина в других произведениях»⁵. В самом деле, мотивы «Санина» (особенно мотив смерти, в критических разборах романа отнесенный на периферию) легко обнаружить во многих ранних произведениях Арцыбашева. Однако о том, как шла работа над текстом романа, как выкристаллизовывался образ героя-чувственника и

³ См., напр., воспоминания М. К. Куприной-Иорданской «Годы молодости» (М.: Худож. лит., 1966. – С. 79 – 80) и П. М. Пильского «М. Арцыбашев» (В кн.: Арцыбашев М. П. Записки писателя. Дьявол. Современники о М. П. Арцыбашеве. – М.: Интелвак, 2006. – С. 735 – 736. Впервые: Новое русское слово. – Нью-Йорк, 1927, 24 апреля).

⁴ Видный большевик Ф. Ф. Раскольников считал, что публикация стала возможной благодаря тому что «Современный мир», в котором сотрудничали марксисты, «придерживался системы дуализма»: «литературному отделу была предоставлена полная автономия. Вот почему там печатались такие произведения, как арцыбашевский “Санин”, произведения, не имеющие ничего общего с революционным настроением, с марксистской мыслью, идеологически нам чуждые и враждебные» (*Раскольников Ф. Традиции большевистской печати // На посту.* – 1925. – № 1. – С. 65).

⁵ *Львов-Рогачевский В. М. Арцыбашев [1910] // Львов-Рогачевский В. Снова накануне.* – М., 1913. – С. 40.

гедониста, мироощущение которого, надо признать, во многом чуждо пессимистическому мироощущению самого автора, судить трудно, так как ранние редакции романа (если они существовали) не сохранились. Комплекс тем и мотивов, персонажи «досанинских» рассказов и повестей [«Подпрапорщик Гололобов» (1902), «Смерть Ланде» (1904), «Тени утра» (1905) и др.] дают представление о мировоззрении и творческих ориентирах Арцыбашева, создававшего в эти годы свой первый роман. Однако среди персонажей ранних произведений не было героя, заявленного в качестве идеолога и проповедника «новой естественности», «культы тела». Таким героем стал Владимир Санин. Пожалуй, только фигура Молочаева («Смерть Ланде») предвещала его появление.

Новая философия жизни и новое понимание идеологической сути «героя времени» – так называемое «санинство» («санинщина», «арцыбашевщина») – прозвучали именно в романе. Санин показан Арцыбашевым героем-одиночкой, стержень его мировоззрения – гедонизм как доминирующий принцип отношения к жизни, возникший на почве нравственного и социального нигилизма. Санин в трактовке Арцыбашева не просто цельная, абсолютно лишённая противоречий личность. Реалистические принципы изображения героя Арцыбашевым демонстративно отброшены. Это нарочито плакатный герой-ницшеанец, созданный (явно не без влияния творчества Андреева) с использованием средств экспрессионистской поэтики. Санин – герой-декларация, явившийся не из жизни, а из вульгаризированных интерпретаций философии Ф. Ницше, идей О. Вейнингера словно для того, чтобы перечеркнуть философию «слабых», нежизнеспособных людей. Их образы созданы Арцыбашевым в раннем творчестве, но они окружают и Санина. Автор видел его вероучителем, способным породить волну подражателей и последователей среди той части читателей, которая могла воспринимать большие философские идеи только в яркой оболочке любовно-интеллектуальных «приключений» романтических героев.

Санин элементарен в своих поступках, намеренно депсихологизирован автором, но в его пространственных монологах сосре-

доточен комплекс идей, уже известных по предшествующим рассказам Арцыбашева, или предвещающих суждения героев-идеологов в его будущих произведениях: Токарева (повесть «Рабочий Шевырев»), Мижуева (повесть «Миллионы»), Наумова и Михайлова (роман «У последней черты»). Романские антиподы Санина (Сварожич, Семенов) легко узнаваемы – это шаржированные «двойники» героев ранних произведений Арцыбашева. Юрий Сварожич, постоянный собеседник Санина, – единственный персонаж романического типа, его сознание – главный объект психологического анализа. Он предстает в романе живой иллюстрацией декларированных Саниным «законов» жизни: изъеденного рефлексией героя перемалывает ее «коровое колесо». Смерть его нелепа, но закономерна, с точки зрения Арцыбашева: у человека, бредущего по духовному бездорожью, в отличие от уверенного в незыблемости своих принципов Санина, нет будущего.

Журнальная публикация романа сразу же вызвала острый интерес читателей и критиков. Только в 1907 – 1908 годах появилось свыше двадцати рецензий и отзывов о нем. Ну а количество «друзей» и поклонников Санина, пропагандистов его житейской философии и последователей-практиков (особенно среди учащейся молодежи) вообще не поддается учету. «В течение нескольких лет *Санин* был библией каждого гимназиста и гимназистки России»⁶, – свидетельствует Д. П. Святополк-Мирский.

В первых же газетных откликах были высказаны разноречивые оценки романа, однако в них доминировала мысль о центральном положении в нем «проблемы пола». Так, оценив «Санина» как значительное явление современной литературы, рецензент газеты «Одесские новости» (1907, 8 марта) отметил излишний «реализм» в разработке «зоологических мотивов в человеческих отношениях». Автор заметки в газете «Русь» (1907, 22 июня) обрушился на порнографичность «Санина». В «Русских ведомостях» (1907, 14 июня) Арцыбашев подвергся критике за «резко пессимистический взгляд на человека» – именно на этот,

⁶ *Мирский Д.* [Святополк-Мирский Д. П.]. Арцыбашев... – С. 620.

по существу отнюдь не главный мотив романа обратил внимание рецензент⁷. Критик «Биржевых ведомостей» А. А. Измайлов счел основной заслугой Арцыбашева-романиста попытку «нарисовать человека новой этики», но полагал, что «ценность романа роняет» неясное отношение самого автора к Санину⁸. Первые отзывы о романе, несомненно, привлекли внимание читателей к произведению, в котором прежние жизненные ценности подверглись столь решительной ревизии. Как свидетельствует автор одного из самых обстоятельных и в целом весьма благожелательного очерка творчества Арцыбашева П. С. Коган, заглавный герой романа «произвел почти беспрецедентную в литературе сенсацию своим появлением»⁹.

В дальнейшем диапазон оценок «Санина» был довольно широк: от восторгов, вызванных тем, что Арцыбашеву первым из современных писателей удалось показать человека «новой морали» и создать «культ тела», до брани в адрес автора, начавшего «порнографический бум» в беллетристике. При этом «Санин» рассматривался в близком, как казалось некоторым критикам, контексте – его ставили в один ряд с появившимися в 1907 – 1908 годах произведениями М. А. Кузмина (повесть «Крылья»), Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (повесть «Тридцать три уroda»), А. П. Каменского (рассказы «Четыре», «Леда», «Солнце»).

Арцыбашева, внимательно следившего за откликами прессы, особенно тревожили беспочвенные, с его точки зрения, обвинения в порнографии. Уже в начале лета 1907 года он писал А. Р. Крандиевской о «травле» буржуазных газет: «Спасибо за Ваши добрые слова о “Санине”. Я рад их слышать, среди той удивительной по глупости, узости и фарисейству травли, которую подняли вокруг меня буржуазные газеты.

⁷ Обзор первых откликов на журнальную публикацию романа см. в: Шубин Э. А. Художественная проза в годы реакции // Судьбы русского реализма начала XX века. – Л. : Наука, 1972. – С. 47 – 96.

⁸ Измайлов А. Роман о «новых людях» («Санин» М. П. Арцыбашева) // Биржевые ведомости. – 1907, 20 сентября.

⁹ Коган П. Арцыбашев [1910] // Арцыбашев М. П. Записки писателя. Дьявол. Современники о М. П. Арцыбашеве. – М. : Интелвак, 2006. – С. 695.

Как ни привык я спокойно относиться ко всему, все-таки тяжело видеть, что почти все общество проглядывает в моем труде все, что мне дорого, и ищет, как собака, только падали, подводя под огул порнографии равно и писания Каменского о голых дамах и мое, почти благоговейное отношение к страсти с ее правами»¹⁰. Включившись в полемику о романе, Арцыбашев не раз подчеркнул, что не имел намерения акцентировать в «Санине» проблему пола. Эта проблема, по Арцыбашеву, – лишь часть проблематики произведения, основная цель которого – провозгласить новую «философию жизни». Близко знавший писателя критик П. М. Пильский отметил в своих воспоминаниях: «Этот роман он считал философским. Ему казалось, что Санин является одновременно и его личным исповеданием, но также раскрытием дум и чувств всего современного ему молодого поколения»¹¹.

Между тем атмосфера скандала, сразу же возникшая вокруг романа, была спровоцирована в первую очередь совершенно необычным для русской литературы вниманием автора к сексуальной жизни героев. Это вызвало у многих критиков и рядовых читателей романа, ориентировавшихся на традиции русской литературной классики, нравственный и культурный шок, позволило рассматривать «Санина» в ряду других произведений о любви и отношениях полов и закрыло на некоторое время путь для более серьезного обсуждения авторской концепции. Пожалуй, впервые со времени публикации в России перевода романа Э. Золя «Нана» (1880) и споров о «золаизме» вопрос о границах литературной эротике ставился столь остро.

Конечно, отнюдь не Арцыбашев был первопроходцем темы. Этика любви активно обсуждалась в философской литературе начала 1900-х годов. Довольно смело говорили об эротической стороне любви даже некоторые участники Религиозно-философских собраний в Петербурге (1901 – 1903), порицая церковные круги за невнимание к ней. Можно вспомнить и московских поэтов: Андрея Белого (Б. Н. Бугаева), С. М. Соловье-

¹⁰ Арцыбашев М. П. Письмо к А. Р. Крандиевской [май – июнь 1907, датируется по содержанию] // РГАЛИ. Ф. 251. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 9 об.

¹¹ Пильский П. М. Арцыбашев... – С. 735.

ва, Эллиса (Л. Л. Кобылинского), близкого к ним петербуржца А. А. Блока – участников мистического братства «аргонавтов», последователей философа и поэта В. С. Соловьева, развивавшего концепцию Вечной Женственности. Любовь в понимании Андрея Белого и Блока – тоже Эрос, синтезирующий высокую мистику с реальными, земными страстями «жениха», влюбленного и любимого. С философскими размышлениями о поле и любви выступал В. В. Розанов, рассматривавший эти вопросы в широком социокультурном контексте.

Пол и личность, пол и общественность, пол и религия – эти темы зазвучали в философии и литературе еще в первые годы XX века. В середине 1900-х годов они были подхвачены и литературой, ориентированной не столько на интеллектуальную элиту общества, сколько на широкую читательскую аудиторию. В той или иной степени этих вопросов касались в своих произведениях А. И. Куприн, Л. Н. Андреев, В. В. Муйжель, Д. Я. Айзман, С. С. Юшкевич, существенно снизив остроту социальной проблематики, характерную для их произведений начала века.

Роман Арцыбашева стал катализатором широкого общественного обсуждения «проблемы пола». Его появление способствовало, несмотря на неудовольствие автора, перемещению этой проблемы из сферы философской эссеистики, имевшей узкую читательскую аудиторию, и элитарной символистской литературы с ее магически-иератическим языком в сферу ежедневной прессы, популярных еженедельников, «толстых журналов» и брошюр-однодневок. Резко выросла крайне заинтересованная и заинтригованная «смелостью» новых писателей аудитория, особенно молодежная, впервые втянутая в обсуждение некогда запретной проблематики.

Единственный сборник книгоиздательства «Жизнь» под редакцией Арцыбашева, опубликованный в 1908 году¹², в котором кроме повести «Миллионы» самого Арцыбашева напечатаны рассказы «Морская болезнь» А. И. Куприна, «Любовь» Д. Я. Айзмана и «Грех» В. В. Муйжеля, был призван утвердить жизнеспособ-

¹² Жизнь: Сборник художественной литературы. – СПб., 1908. – 368 с.

собность новой проблематики и закрепить скандальный успех «Санина».

Существовали и многочисленные варианты бульварной адаптации «вопросов пола». Во второй половине 1900-х годов появилось множество низкопробных изданий (альманахов, сборников, журналов), в которых «тема пола» сделалась модной и расхожей: «В омуте любви. Еженедельный журнал» (СПб., 1907), «Вопросы пола. Двухнедельный литературно-научный журнал» (СПб., 1908 – 1909), «Мужчина и женщина. Еженедельная иллюстрированная газета-журнал» (М., 1908), «Сила любви. Первый и единственный в России журнал по своей общедоступности, общепольности и интересности» (СПб., 1909) и т. п. Легко видеть, что эта бульварная пресса и возникшие на волне читательского интереса ее спутники – летучие брошюры интерпретаторов «Санина» и «темы пола» в литературе, изданные не только в Петербурге и в Москве, но и в провинции¹³, быстро ушли в небытие.

Писатели-реалисты, в частности М. Горький, резко отзывались об агрессивном эротизме литературы послереволюционных лет. По мнению Горького, «буря животной распущенности, мятеж обезумевших»¹⁴ были прямо связаны с настроениями социального пессимизма, вызванными поражением революции. Весьма высоко оценивавший талант Арцыбашева А. И. Куприн отмечал, что «успех “Санина” отчасти можно объяснить общим настроением читающей публики под влиянием тяжелой политической реакции. В обществе появился большой спрос на литературу, которая бы, так или иначе, разрабатывала вопросы

¹³ Напр.: Ачкасов А. Арцыбашевский «Санин» и около полового вопроса. – М., 1908;

Л-р М. Ультраиндивидуализм и роман «Санин». – Екатеринослав, 1908; Омельченко А. П. Герой нездорового творчества. – СПб., 1908; Пирогов П. В. Арцыбашев как художник и мыслитель (Как пришел Арцыбашев к апофеозу Санина). – М., 1908; Фридман Я. Характеристика «героя» нашего времени Санина (по роману Арцыбашева «Санин»). – Брест-Литовск, 1908; и мн. др.

¹⁴ Горький М. О цинизме // Горький М. Собр. соч. : в 30 т. – М., 1953. – Т. 24. – С. 17.

пола»¹⁵. Подобную связь выявляли в своих отзывах о романе Арцыбашева, а также о произведениях А. П. Каменского, В. К. Винниченко, А. А. Вербицкой, Е. А. Нагродской критики-марксисты: В. В. Воровский, Л. Д. Троцкий, Г. В. Плеханов и др. Впрочем, большинство консервативных и либеральных критиков также считали «современную распущенность» одним из «уроков» революции. По мнению одного из самых рьяных критиков «порнографической» литературы Г. С. Новополина (Нейфельдта), автора книги «Порнографический элемент в русской литературе» (СПб., 1909), именно революционный нигилизм открыл путь «порнографическому элементу» в литературе, а одним из первопроходцев, начавшим «купальный сезон» в прозе, он считал... М. Горького, автора рассказа «Варенька Олесова», опубликованного в журнале «Северный вестник» (1898. – № 3 – 5).

Суждения многих критиков-консерваторов напоминали ворчание классных наставников, недовольных «эротическими шалостями» прежде воспитанных и благонаправленных писателей. Конечно, именно Арцыбашев, писатель с устойчивой репутацией писателя-«порнографа», стал главной мишенью обличителей литературной эротики. В то же время нельзя преуменьшить роль некоторых писателей и критиков в минимизации общественного резонанса тех литературных тенденций, которые возникали как дань моде, как подачка толпе, требовавшей «клубнички». Русская литература, не имевшая традиции эротического изображения (если не считать произведений так называемой «потаенной литературы», циркулировавших в узких кругах и, по сути, не предназначавшихся для широкой публики), оказалась перед соблазном чрезвычайно упрощенных художественных решений.

Характерно в этой связи суждение В. Г. Короленко, высказанное в письме редактору «Современного мира» Ф. Д. Батюшкову, рискнувшему опубликовать «Санина». «Не сердитесь, Федор

¹⁵ *Куприн А. И.* Новейшая литература: Портреты и характеристики [Лекция, прочитанная в Ессентуках 25 июля 1908 г., в конспективном изложении опубликована в газете «Терек» (1908, 29 августа)] // *Куприн А. И.* Полн. собр. соч. : в 10 т. – М., Воскресенье, 2007. – Т. 11 (доп.). – С. 305.

Дмитриевич, но ведь это уже прямо порнография, и притом нездоровая, – писал Короленко. – Что тут нового, кроме того, что до сих пор авторы не решались еще описывать *en toutes lettres* (откровенно, напрямик – *франц.* – В. К.) как “она лежала под ним и как вздрагивали ее голые ноги”. Следующий “новатор”, если он захочет пойти еще дальше, опишет уже весь физиологический акт от начала до конца. Но ведь это будет глава из гинекологии в лицах, а не психология и не искусство. “Роман обнаженных торсов” – как писал когда-то Щедрин¹⁶. Обратив внимание лишь на одну (и притом не главную) сторону арцыбашевского романа, Короленко, как нам представляется, не ошибся, предсказав еще большее упрощение эротической темы в массовой литературе тех лет. Именно это произошло в некоторых произведениях А. П. Каменского, В. К. Винниченко и других писателей.

Резкие и во многом справедливые упреки критиков – оппонентов Арцыбашева – вызвала плакатность изображения Санина, воспринятая как пропагандируемый самим автором духовный примитивизм «героя времени». На фоне его простых и ясных жизненных принципов взгляды на секс казались не просто «идейной порнографией», но и камуфляжем обычной распущенности. «Вот она – награжденная “добродетель конца века”, добродетель широких плеч и здоровой грубой силы, – иронически писал о Санине и его единомышленнике Иванове критик Н. Кадмин (Н. Я. Абрамович). – Автор как будто только рисует своих героев, но в самом рисунке слышится его шепот читателю: “любуйся, любуйся на Санина и Иванова!”¹⁷. Действительно, Арцыбашев весьма недвусмысленно давал понять читателю, что в своем новом герое он видит этический эталон современного человека, состоящего только из «ощущений приятного и неприятного», посылающего все остальное «ко всем чертям». Эротическое наслаждение для такого человека – лишь самый желанный вариант «приятного», не утруждающего ни мозг, ни душу. Упрощением действительно серьезной проблемы считал санинское отношение

¹⁶ Короленко В. Г. Письма 1888 – 1921 гг. – Пб., 1922. – С. 293.

¹⁷ Абрамович Н. Я. О художественном письме в современной беллетристике // Образование. – 1908. – № 6. – Отд. 3. – С. 74.

к женщине Куприн: «Как фигура – Санин бледен и несложен. Его приняли за решителя половой проблемы – но это недоразумение. Санин в девушке видит телку, его отношение к ней – отношение низменное. Он безнравственен и паразит, не индивидуалист, а распущенник»¹⁸.

Если русские философы начала XX века (Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов) пытались философски осмыслить проблему разобщенности и соединения «телесного» и «духовного» в человеке, то Арцыбашев и его последователи настойчиво редуцировали ее до психофизиологической составляющей, до чувственного наслаждения. Поэтому-то, к неудовольствию писателя, многие из первых критиков его романа не поняли самого «дорогого», что он хотел сказать в этом произведении. Слишком была в глаза сознательно примитивизированная автором эротика – сфера, в которой Санин обрисован свободнее и ярче, чем где бы то ни было. «Было ясно младенцу, что Арцыбашев хотел оглушить читателя оглоблей»¹⁹, – иронически заметил А. А. Измайлов. «Санин» был воспринят как роман, в котором нормы, границы и барьеры литературной эротики, установленные русской классикой, не просто преодолены, но опрокинуты и растоптаны. Именно поэтому прежде чем стать бестселлером идеологическим роман стал, по сути дела, бестселлером «порнографическим» – в соответствии с тогдашними представлениями о порнографии, разумеется.

Наиболее адекватное авторским намерениям и потому более глубокое прочтение «Санина» дали критики, увидевшие в романе отражение не только «проблемы пола», но и других исторически обусловленных общественных настроений. Уже в 1907 году И. Н. Игнатов сопоставил Санина и «санинскую» мораль с Базаровым и «базаровщиной» (Русские ведомости. – 1907, 14 июля). В сборнике «На рубеже (К характеристике современных

¹⁸ Куприн А. И. Новейшая литература: Портреты и характеристики... – С. 305.

¹⁹ Измайлов А. Банкротство идеалов (Литературный портрет М. П. Арцыбашева) // Измайлов А. Пестрые знамена: Литературные портреты безвременья. – М., 1913. – С. 9.

исканий)» (СПб., 1909) отмечалось, что «роман не только рисует практику нового мировоззрения и возникающей на его почве новой морали, но и дает популяризованную квинтэссенцию новых учений»²⁰, основанных на индивидуализме. Санина называли одним из типичных «героев ликвидации», появившимся на почве кризиса революционной активности.

П. С. Коган в уже упоминавшемся очерке об Арцыбашеве по существу подвел итоги осмысления образа Санина и «санинства» той частью критики, которая весьма благожелательно оценила роман. Критик сосредоточился не на выяснении идейных и литературных корней героя, а на том, что привлекло внимание к Санину молодежной читательской аудитории. В этом, пожалуй, главная ценность этой весьма апологетической по отношению к Арцыбашеву работы.

За Саниным-индивидуалистом, полагал Коган, «некуда идти», так как «культ голого инстинкта – не программа», но он «был нужен, чтобы напомнить о главном, что упустили из виду эстеты и фантасты»²¹. Арцыбашев назван «обличителем русской интеллигенции», создавшим в романе «картину ее банкротства, картину потрясающую и верную»²². Получается, что именно на руинах этого обанкротившегося интеллигентского отношения к жизни и возвысился новый герой, признанный критиком безусловной удачей автора, несмотря на издержки арцыбашевского стиля, делающего «неприличными» некоторые цитаты из романа. В «Санине», утверждал критик, выражено жизненное кредо самого писателя, «итог его дум, кульминационный момент в развитии его таланта». Арцыбашев провозглашен «поэтом тела», «исследователем физической природы человека прежде всего»²³.

Явно противореча своему тезису о том, что «за Саниным некуда идти», Коган утверждал, что санинская «индивидуалистическая проповедь – практическое учение», которое «выросло здесь,

²⁰ На рубеже. – СПб., 1909. – С. 84.

²¹ Коган П. С. Арцыбашев... – С. 712.

²² Там же. – С. 711.

²³ Там же. – С. 691.

на земле». «Проповедь Санина, – настаивал критик, – это не истины, принесенные из сверхчувственного мира избранной пророческой душой. Это практическая программа, к которой пришел индивидуалист среди наличных реальных условий»²⁴. Добавим: эта программа стала близкой тем, кто покупал и читал «Санина», а потом фанатично следовал «реалистичным» жизненным принципам арцыбашевского героя-идеолога.

Едва ли не самая глубокая работа из множества разборов и оценок романа Арцыбашева в печати тех лет – статья В. В. Воровского «Базаров и Санин. Два нигилизма», напечатанная в сборнике «Литературный распад» (СПб., 1909. – Кн. 2). Воровский убедительно показал социальные и идейные истоки «санинского» социально-психологического типа, его отличия от «базаровского» типа. «Началась реакция против “крайностей”, против “революционизма”, против партийности вообще, против политики, – писал Воровский. – Растерявши за эти годы весь свой поношенный багаж, интеллигенция вдруг захотела зажить полной жизнью, вкусить от наслаждений мира сего. Обязательному альтруизму предшествующих поколений противопоставили “естественный” эгоизм; их социализму – индивидуализм; их понятию долга – свободу личности; их идее общественного блага – личное счастье. В этой атмосфере реакции против служения обездоленным классам возникли те взгляды, запросы, понятия, которые положены в основу санинского типа»²⁵. Легко видеть, что критик-марксист дает расширительное толкование Санина, находя в его мировоззрении и этической программе отражение идейного ренегатства части русской интеллигенции после революции 1905 – 1907 годов. Революционный нигилизм Базарова Воровский противопоставил индивидуалистическому нигилизму и имморализму героя Арцыбашева.

И Воровский, и другие критики независимо от их мировоззрения использовали Санина в качестве знаковой фигуры в современной литературе, важной как для характеристики об-

²⁴ Там же. – С. 692.

²⁵ Воровский В. В. Базаров и Санин. Два нигилизма // Воровский В. В. Литературно-критические статьи. – М. : Гослитиздат, 1956. – С. 245.

щественных настроений, так и для анализа новых тенденций литературного развития. В течение ряда лет арцыбашевская модель «героя времени» казалась критикам и публицистам весьма удобной для постановки и решения самых различных задач, несмотря на схематизм и декларативность Санина. Многочисленные разборы и оценки романа неизменно привлекали к нему особое внимание публики. Даже постоянные упреки автору и предостережения потенциальным читателям Арцыбашева произвели обратный эффект, сделав «Санина» едва ли не самым популярным произведением конца 1900-х годов, а Владимира Санина – культовым героем. По существу именно критики Арцыбашева, зафиксировав «санинство» как зеркало общественной усталости и апатии, утвердили Санина в качестве носителя самой актуальной, хотя и нравственно безупречной, идеологии.

Не в последнюю очередь причиной невероятной популярности Санина было то, что Арцыбашев создал вполне доступный для обывательского сознания образ «сверхчеловека», лишённого сомнений и колебаний, имеющего высокий «талант» бездумного наслаждения жизнью. Рядовым читателям роман предлагал простую и удобную идеологическую матрицу, суррогат мировоззрения, становясь своего рода литературным импульсом к пересмотру ими практической морали и бытового поведения.

«Золото ницшеанского идеала, – сокрушался критик Пильский, – было разменено на медные пяточки маленькой мелочной торговли»²⁶. Однако именно «бытовое» ницшеанство Санина воспринималось как такая позиция сильной и властной личности, которой принадлежит будущее, тем более что сам писатель активно разъяснял и пропагандировал в своей публицистике «санинскую» мораль в качестве противовеса «ветхой» христианской морали и современным теориям общественного прогресса. «Человека обряжали в плащ индивидуализма, надевали хитон христианина, совали ему в руку красный флаг товарища, пуска-

²⁶ Пильский П. М. Арцыбашев // Пильский П. Критические статьи. – Т. 1. – СПб., 1910. – С. 138.

ли голяком анархистом на оголенной земле, а он, одетый и голый, равно упорно оказывался если не зверь зверем, то свинья свиньей»²⁷, – еще до публикации «Санина» громил Арцыбашев своих идеологических оппонентов в статье «О смерти Чехова» (1906).

«Что лучше: санинство или христианство?» – именно так сформулировал свой вопрос киевский юноша, потрясенный откровениями Санина, в письме, присланном Л. Н. Толстому в феврале 1908 года. Толстой, находивший у Арцыбашева «не только талант, но и мысли», «талант и содержание» (запись в дневнике от 4 февраля 1909)²⁸, перечитав рассуждения Санина по журнальной публикации романа, в своем ответе подчеркнул, что «ужаснулся не столько гадости, сколько глупости, невежеству и самоуверенности, соответствующей этим двум свойствам автора», «есть у него <Арцыбашева> художественная способность, но нет ни чувства (сознания) истинного, ни истинного ума, а описываются только самые низменные, животные побуждения; и нет ни одной новой мысли, а есть только то, что Тургенев называет “обратными общими местами”»²⁹. По мнению Толстого, Арцыбашев не только не разрешает «вопросов жизни», но и «не имеет даже понятия об их разрешении», что делает бессмысленной саму постановку вопроса о Санине как проповеднике новой веры.

А. А. Блок в статье «Литературные итоги 1907 года» (Золотое руно. – 1907. – № 11-12) назвал роман «самым замечательным произведением» Арцыбашева. Поэт, рассмотревший в Санине такого современного героя, в котором «ощутился настоящий человек, с непреклонной волей, сдержанно улыбающийся, к чему-то готовый, молодой, крепкий, свободный», завершил свой отзыв знаменательными вопросами: «И думаешь – то ли еще будет? А может быть, пропадет и такой человек, потеряется в поле, куда он соскочил с мчащегося поезда, – и ничего не

²⁷ Арцыбашев М. О смерти Чехова // Литературный календарь-альманах. – СПб., 1908. – С. 79.

²⁸ Цит. по: Гусев Н. Н. Отметки Л. Н. Толстого на томе рассказов М. Арцыбашева // Л. Н. Толстой. – М.: Изд-во Гос. лит. музея, 1938. (Летописи Гос. лит. музея. – Кн. 2). – С. 271.

²⁹ Там же. – С. 270.

будет?»³⁰. Вероятно, эти вопросы-размышления были адресованы не только современникам, способным принять или отвергнуть героя, но и самому создателю образа человека «с непреклонной волей».

В творчестве Арцыбашева 1910-х годов «санинский» тип героя не получил развития. «Чувствую страшную внутреннюю ломку, к чему она меня приведет, не знаю»³¹, – признавался автор «Санина» в 1911 году. В следующем крупном произведении – романе «У последней черты» (опубликован в 1912 году), явно задуманном как новый, отвечающий вызовам времени идеологический бестселлер, возобладали деструктивные стороны мировоззрения Арцыбашева. В этом романе автор из певца «свободной личности» превратился в пропагандиста идеи «всеобщего разложения», для которого жизнь гедониста, и судьба презираемого им «борца за светлое будущее», и тягостное существование жертвы социальной среды сплетаются в вереницу смертей.

Роман стал беллетристическим обоснованием мрачного «пророчества», сделанного Арцыбашевым в статье «Эпидемия самоубийств» (1912): «И чем дальше, тем чаще и чаще, в минуты затишья, будет перед человечеством вставать призрак вечной пустоты и бессмыслия жизни, и шире, решительнее и грознее будут раскатываться волны эпидемии самоубийств»³². Эти слова писателя почти дословно совпадают с высказываниями одного из героев романа – инженера Наумова, проповедника «уничтожения человеческого рода». Наумов продолжил одну из тенденций санинского теоретизирования, но по существу перечеркнул индивидуалистический оптимизм Санина.

Санин говорил о том, что «предпочел бы мировую катастрофу сейчас, чем тусклую и бессмысленно гибкую жизнь на две тысячи лет вперед»³³. У нового героя-идеолога Наумова уже целая программа самоуничтожения человечества. Он видит в человечестве

³⁰ Блок А. А. Литературные итоги 1907 года // Блок А. А. Собр. соч. : в 8 т. – М.-Л., 1962. – Т. 5. – С. 228.

³¹ Арцыбашев М. П. Письмо к В. В. Муйжелю (дат. 29 мая 1911) // РГАЛИ. Ф. 328. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 14.

³² Арцыбашев М. Рассказы. Записки писателя. – М., 1914. – С. 318.

³³ Арцыбашев М. Санин. – 2-е изд. – СПб., 1908. – С. 140.

«колоссальное страдающее стадо», уравнивает носителей социального зла с их жертвами, пытаясь обосновать бессмысленность любых попыток переустройства общества. Доказательству своевременности и фатальной неизбежности «наумовщины» посвящены основные события в романе. В жизни героев автор настойчиво ищет общий знаменатель: поскольку путь каждого человека расчислен и формула этого пути неизменна, постольку индивидуальным может быть только переживание на границе жизни и смерти. Именно тогда человек становится личностью и может представлять интерес для писателя-психолога. Все остальное в жизни людей – механическое, будничное существование, превращающее их в безликое стадо. Арцыбашев прослеживает то, что ведет героев к смерти или толкает на самоубийство, назойливо фиксируя внимание читателей на «правде предсмертной изжоги».

Став громкой репликой в обсуждении проблемы самоубийств, захлестнувших Россию в начале 1910-х годов, роман «У последней черты» все же не получил того общественного резонанса, который имел «Санин». Тенденциозность и субъективизм достигли в новом произведении такой концентрации, что выводили его за пределы художественной литературы, превращая в своего рода беллетризованную публицистику. «Роман Арцыбашева – все, что угодно, только не литература»³⁴, – категорично, но справедливо заметил Д. В. Философов. Повторить успех «Санина», сделать новый роман столь же популярным, а его социально-педагогическую идею столь же востребованной Арцыбашев не смог. «Чтобы совпасть с жизнью читателя и стать необходимым ему, нужно начать ныть об идеалах, о светлой жизни, о “Москве”...», – писал Арцыбашев в 1913 году, признав себя неспособным «плотно подойти к нуждам российского обывателя»³⁵, как это удалось ему в 1900-е годы.

³⁴ Философов Д. Чиж и Арцыбашев // Философов Д. Старое и новое. – М., 1912. – С. 59.

³⁵ Арцыбашев М. П. Письмо к В. В. Муйжелю [1913] (РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Цит. по: Грачева А. М. Из истории литературной борьбы начала XX века // Вопросы русской литературы. – Львов, 1982. – Вып. 2 (40). – С. 91.

В исторической ретроспективе «Санин» видится одним из тех явлений общественно-литературной жизни начала XX века, которые, не оставив заметного следа в художественной эволюции, были в то же время своеобразным социальным и духовным «барометром» эпохи. Став зеркалом общественных идей и настроений второй половины 1900-х годов, роман, в свою очередь, активно формировал их.

Арцыбашев широко использовал критические и публицистические интерпретации своего романа. Даже негативные публичные суждения и оценки, порой неоправданно резкие и грубые, «работали» на создание привлекательных для молодежной аудитории «образов» романа и его автора, обеспечив не только устойчивый читательский интерес к произведению, но и его впечатляющий коммерческий успех. Это является важнейшим признаком идеологического бестселлера, вырастающего на литературной почве, но пускающего глубокие корни в общественном сознании в качестве эффективной, но чаще всего недолговечной идеологической матрицы.

Однако интерес к казалось бы потерявшему прелесть новизны и актуальность бестселлеру может возродиться в другие эпохи, в иных общественных условиях, во взаимодействии с новыми идеологемами. В этой связи интересно свидетельство С. Поволоцкого о популярности «Санина» в Польше уже в 1920-е годы: «“Санин” был быстро переведен также на польский язык. Был довольно популярный, особенно в двадцатые годы, когда автор его очутился в Варшаве, где на страницах газеты “За свободу” он начал деятельность уже не столько литературную, сколько публицистическую»³⁶.

В современной России интерес к роману не ограничен кругом исследователей, старающихся осмыслить это произведение в контексте русской литературы начала прошлого века. Фактически и в начале XXI века «Санин» – одна из самых популярных, пользующихся неизменным спросом книг. Новые книжные издания «Санина» появляются практически ежегодно, их тиражи,

³⁶ Воспоминания из семейного архива Сергея Поволоцкого (Лодзь, Польша) // http://www.russianresources.lt/archive/Povoloc/Povolocki_3.html.

сопоставимые с тиражами, которыми бестселлер издавался в начале XX века, быстро расходятся.

Читательская аудитория Арцыбашева резко увеличилась в эпоху Интернета и новых медиа. Его произведения покупают на современных цифровых носителях, читают, слушают и обсуждают на форумах и в блогах. В 2005 году издана аудиокнига с записью «Санина» (изд-во «Вира-М»). Роман распространяется и в виде «цифровой книги», которую можно купить (скачать) в Интернет-магазинах. При этом практически все художественные произведения Арцыбашева, включая роман «Санин», а также публицистика писателя постоянно доступны на известных сетевых ресурсах: Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова³⁷ и Балтийский архив³⁸. Там же и на некоторых литературных сайтах размещены немногочисленные работы об Арцыбашеве (или ссылки на них): биобиблиографические справки, научно-популярные статьи и эссе, опубликованные в качестве предисловий к изданиям его работ. Время от времени и массовая периодическая печать вспоминает об Арцыбашеве, предлагая в основном апологетический взгляд на писателя, а порой и упрощенные, несвободные от неточностей версии его творческого пути³⁹. Это объясняется во многом слабой изученностью творчества Арцыбашева. Он продолжает оставаться уже давно «возвращенным», но как бы не до конца «вернувшимся» писателем начала XX века.

Тем важнее, на наш взгляд, не только современное литературоведческое прочтение его произведений, особенно романа «Санин», но и максимальный учет общественного, идейного и литературного контекста, в котором они существовали столетие назад.

³⁷ http://az.lib.ru/a/arcybashew_m_p/.

³⁸ http://www.russianresources.lt/archive/Arcib/Arcib_0.html.

³⁹ См., напр., статью: *Гвоздик А. Михаил Арцыбашев. Скандальный ахтырчанин вернулся в большую литературу // В двух словах : еженедельник. – Сумы, 2007, 24 мая // [http://www.2words.com.ua/index.php?id=44&tx_ttnews\[tt_news\]=212&tx_ttnews\[backPid\]=13&cHash=451d4dc792](http://www.2words.com.ua/index.php?id=44&tx_ttnews[tt_news]=212&tx_ttnews[backPid]=13&cHash=451d4dc792)*.

Н. В. Фролова,

*младший научный сотрудник кафедры истории русской литературы
и журналистики факультета журналистики МГУ*

Реконструкция личности в контексте истории: Маргарита Кирилловна Морозова

В последнее время большой интерес вызывает гендерная тематика. Этот интерес закономерен, так как позволяет более полно понять истоки многих явлений, «высветить» в историческом контексте интереснейшие женские типы. Особенно много незаурядных характеров можно найти в купеческой среде. Здесь, вопреки сложившейся в общественном сознании традиции, появляется довольно много женщин-предпринимателей. Принято считать, что женщины купеческого сословия в России занимались только благотворительностью, оставаясь при этом в тени мужа. Однако историк Г. Н. Ульянова, ссылаясь на свод Российских законов, в частности на том IX, ст. 514, 1148, 1153, 1130, в докладе на Морозовских чтениях в 1996 году отметила, что «право ведения купеческой деятельности женщинами обосновывалось в Российской Империи законодательно по законам о лицах купеческого звания, которые гласили: “По смерти начальника семейства может заступить место его вдова, взяв на свое имя купеческое свидетельство, со внесением в оное сыновей, незамужних дочерей и... внуков”. И очень часто, даже при активной деятельности взрослых, умудренных коммерческим опытом сыновей, вдовы формально и фактически вели дела. Таким образом, существенными стимулами филантропической активности являлись: обладание значительным имущественным состоянием (а по российским законам

не составлялось общего владения в имуществе супругов, каждый из них мог иметь и вновь приобретать отдельную свою собственность; приданое жены, равно как имение, приобретенное ею или на ее имя во время замужества через куплю, дар или наследство, признавалось ее отдельной собственностью), и определенный социальный опыт, обеспеченный воспитанием и преодолением затворнического образа жизни»¹.

Одним из самых мощных купеческих кланов был клан предпринимателей Морозовых, владевших крупнейшими текстильными фабриками в России. В семье Морозовых было много выдающихся женщин-предпринимателей и благотворительниц. Г. Н. Ульянова называет десять самых известных, среди которых мать С. Т. Морозова – Мария Федоровна, возглавлявшая после смерти мужа «Товарищество Никольской мануфактуры Саввы Морозова сын и К^о», известная благотворительница, единственная из женщин купеческого сословия получившая государственную награду за благотворительную деятельность, Варвара Алексеевна Морозова – вдова А. М. Морозова. Женщина очень сильная, она отличалась весьма взбалмошным характером. Вместе с тем современники, например хорошо ее знавший и бывший с ней в дальнем родстве К. С. Станиславский, отмечали весомый вклад В. А. Морозовой в общественную жизнь Москвы. Известной благотворительницей была и жена С. Т. Морозова – Зинаида Григорьевна Морозова. На ее средства был выстроен дом дешевых квартир имени Саввы Морозова (открыт в 1913 году; затрещено 70 тыс. руб.), а ранее, в 1898 году, открыты детские ясли.

Особое место в этом ряду занимает Маргарита Кирилловна Морозова² – «общественница», как называли ее в свете, которая сыграла заметную роль в культурной и общественной жизни России конца XIX – начала XX века.

¹ Ульянова Г. Н. Женщины семьи Морозовых: благотворительность как семейная традиция // Вторые Морозовские чтения. – Ногинск, 1996. – С. 12.

² Морозова Маргарита Кирилловна (1873 – 1958), урожденная Мамонтова – жена крупного фабриканта М. А. Морозова, общественный деятель, действительный член и член дирекции Московского отделения ИРМО, владелица издательства «Путь», учредитель Московского религиозно-философского общества.

Бывают люди, которые предпочитают держаться в тени, но в силу незаурядности натуры непременно оказываются у всех на виду. Более того, в их судьбе эпоха отражается наиболее ярко. К их числу и принадлежит Маргарита Кирилловна Морозова. Известный политический и общественный деятель П. Н. Милюков, очень сблизившийся с ней в начале века и ставший ее поклонником, писал впоследствии в своих мемуарах, что она очень верно отражала настроения молодежи того времени³.

Маргарита Морозова и по рождению, и по замужеству принадлежала к купеческой среде. Она была дочерью Кирилла Мамонтова – двоюродного брата Саввы Мамонтова⁴, знаменитого «Саввы Великолепного» – известнейшего мецената конца XIX – начала XX века. Но отец Маргариты – «паршивая овца» в достойном семействе, игрок и гуляка – оставил семью и скрылся за границей, чтобы избежать ареста. Через некоторое время семья получила известие о том, что, окончательно проигравшись, Кирилл Мамонтов застрелился. Его жене, чтобы прожить с двумя дочерьми, пришлось открыть модную мастерскую по пошиву дамских нарядов, так что с детства Маргарита Мамонтова узнала, как жестока и несправедлива может быть жизнь. Несмотря на стесненные обстоятельства, образование они с сестрой получили достаточно хорошее. Девочек учили музыке, они закончили гимназию; к моменту своего замужества Маргарита Мамонтова настолько хорошо говорила на немецком и французском языках, что за границей служила мужу переводчиком.

В 1891 году, не протанцевав и одного сезона на балах богатых родственников, Маргарита Мамонтова в неполные семнадцать лет сделала блестящую партию: к ней посватался член известного морозовского клана, представитель пятого поколения этой семьи Михаил Абрамович Морозов – впоследствии приват-доцент Московского университета, публицист, меценат. На его средства обустроен Греческий зал в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. М. А. Морозов был сыном известного текстиль-

³ Милюков П. Н. Воспоминания. 1991. – С. 190.

⁴ С. И. Мамонтов (1841 – 1918) – крупный предприниматель, выдающийся меценат, владелец Первой частной русской оперы.

ного фабриканта А. А. Морозова и В. А. Хлудовой, происходившей, как и ее муж, из известной старообрядческой купеческой семьи. А. А. Морозова к 1891 году уже не было в живых, мать жениха, Варвара Алексеевна, этому браку не противилась. Во-первых, сыну уже исполнился двадцать один год, а во-вторых, у нее была своя насыщенная личная жизнь: ее гражданским мужем стал профессор Московского университета В. М. Соболевский, главный редактор газеты «Русские ведомости», а взрослый сын весьма осложнял ее жизнь.

На браке Маргариты с М. А. Морозовым настояла мать. Вообще, подобная ситуация была нетипична – чаще всего в купеческой среде заключались династические браки, приумножавшие родовые капиталы. Маргариту же взяли «за красоту» – приданого у нее не было. Этот брак долго служил предметом сплетен⁵, но Маргариту пленило не богатство мужа, а его непохожесть на других представителей купеческого сословия. Хотя жених был богат и из хорошей семьи, но в своей среде почитался чудачком. Он закончил исторический факультет Московского университета, прошел неполный курс на естественнонаучном, имел ученую степень, был приват-доцентом Московского университета, написал в свободной эссеистской манере несколько книг, увлекался искусством. М. А. Морозов собрал великолепную коллекцию западноевропейской и русской живописи, которая в 1910 году, после его смерти, почти целиком была передана М. К. Морозовой в Третьяковскую галерею. К жене относился, как это было принято в купеческой среде, как к вещи, однако сильно любил ее. В роскошном дворце, который М. А. Морозов построил для красавицы-жены на Смоленском бульваре, были и зимний сад, и фонтаны, и мавританский и египетский залы. Атмосфера в доме Морозовых была самая артистическая. Дядя Маргариты, С. И. Мамонтов, ввел в дом молодых родственников, таких художников, как В. Серов, М. Врубель, И. Остроухов.

⁵ В 1897 г. на сцене Малого театра шла пьеса А. Сумбатова-Южина «Джентельмен», где М. А. Морозов был изображен весьма неприглядно. Героиня, прототипом которой явилась М. Морозова, отличалась наивностью и душевным благородством.

Особенно Маргарита ценила живопись Врубеля. Муж подарил ей две известные работы художника – «Царевну-лебедь» и панно «Фауст и Маргарита».

Жизнь Маргариты в супружестве была достаточно тяжела и усугублялась тем, что М. А. Морозов страдал наследственным психическим заболеванием, которое особенно сильно проявилось в последние годы жизни. Болен был и старший сын Маргариты и Михаила Морозовых – Юрий, у него душевная болезнь проявилась уже в раннем детстве. Муж стремился руководить юной женой даже в мелочах, взяв на себя все бытовые заботы, вплоть до самых обыденных. Это обижало Маргариту, но вместо семейных сцен она предпочла самостоятельно пополнить свое образование и прошла курс по всеобщей истории и литературе. Она начала также ежедневно заниматься музыкой. Впоследствии ей давал уроки музыки А. Н. Скрябин. По желанию мужа она вошла в правление Московского отделения Русского музыкального общества в качестве одного из его директоров.

С 1896 года М. А. Морозов стал страстным игроком. Известен его огромный проигрыш, который был разорителен даже для очень богатого человека. В 1897 году он проиграл в Английском клубе табачному фабриканту М. Н. Бостанжогло миллион рублей. Свои фабричные дела он забросил совершенно, и если тверскими делами управляли его братья, то московская контора стала предметом заботы М. К. Морозовой. Имея на руках грудного ребенка, она каждое утро уезжала в контору и до двух часов дня занималась делами, стараясь восстановить и удержать семейное состояние. Эту миссию выполнила с честью: к моменту смерти мужа попечением Маргариты Кирилловны состояние семьи Морозовых оценивалось в три миллиона пятьсот тысяч рублей, несмотря на весьма расточительный образ жизни, который вел М. А. Морозов⁶.

Брак Маргариты Морозовой продлился недолго. В 1903 году Михаил Абрамович умер от тяжелой почечной недостаточности, оставив молодую вдову с четырьмя детьми. Смерть мужа

⁶ На момент своего совершеннолетия М. А. Морозов получил по завещанию отца три миллиона рублей.

не стала для Маргариты трагедией, однако, будучи натурой тонко чувствующей, она понимала, какую нелепую и в то же время трагическую жизнь прожил этот незаурядный человек. Об этом свидетельствуют ее письма, хранящиеся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки: «Когда я остаюсь одна, то ужасно горю о Мише, бесконечно страдаю о напрасно погубленной жизни. Как он мог быть счастлив, если бы мог себя преодолеть!» – писала она в Биариц своей самой близкой подруге Е. Н. Полянской⁷.

Дальнейшая жизнь Маргариты Кирилловны Морозовой показала, как незаурядна и сильна была эта женщина, какой многогранной личностью она смогла стать.

По завещанию мужа М. К. Морозова получала полное право распоряжаться всеми деньгами своей семьи и становилась обладательницей огромного состояния. Однако от состояния мужа Маргарита отказалась в пользу детей, оставив за собой право распоряжаться деньгами до их совершеннолетия, и эту непростую задачу она также выполнила с честью: не просто сохранила, но и приумножила семейные деньги. Об этом свидетельствуют опекунские отчеты, хранящиеся в архивах, а также то уважение, которое оказывали Маргарите родственники мужа, за исключением свекрови – Варвары Алексеевны Морозовой. По завещанию мужа Варвара Алексеевна в случае выхода замуж теряла свое состояние. М. К. Морозова получила наследство без каких бы то ни было условий, что не могло не задеть взбалмошную и самолюбивую Варвару Алексеевну.

После смерти мужа Маргарита Кирилловна вела жизнь достаточно замкнутую, но постепенно возобновила связи с московской интеллигенцией и деятелями искусства. Так, с 1904 года она очень активно помогала композитору Скрябину⁸, устраивала многочисленные вечера в его пользу, назначила ему стипендию, которая позволила композитору целиком посвятить себя творчеству и концертной деятельности, поддерживала семью Скрябина

⁷ Фонд Морозовой. РГБ. Ф. 171. К. 6. Ед. хр. 3 а.

⁸ А. Н. Скрябин (1871 – 1915) познакомился с М. К. Морозовой в Швейцарии летом 1904 г., давал ей уроки музыки.

во время его отъездов за границу. Только к 1908 году, когда Скрябин завоевал мировую известность как композитор и пианист, он отказался от помощи Маргариты Кирилловны.

По первому зову она пришла на помощь знаменитому художнику В. Серову, хотя обстоятельства их знакомства были весьма щекотливы: прижизненный портрет ее мужа кисти Серова современники рассматривали как своеобразную карикатуру. Впоследствии Серов напишет и портрет Маргариты Кирилловны – так называемый «сердечный» портрет, в который художник вложит всю свою приязнь и уважение⁹. В настоящее время картина находится в Третьяковской галерее.

Именно в эти годы Маргарита Кирилловна сближается с Борисом Бугаевым – сыном профессора Московского университета, в будущем известнейшим русским писателем Андреем Белым, и становится ему верным другом и постоянной confidentкой. История ее знакомства с Белым чрезвычайно романтична. В 1901 году она получила письмо, в котором оставшийся неизвестным автор почти объяснился ей в любви. Маргарита на письмо не ответила, но сохранила его. Через несколько лет, уже овдовев, она познакомилась с молодым человеком, оказавшимся ее неизвестным поклонником¹⁰. Сумев не обидеть молодого человека насмешкой и непониманием (она была старше Белого на восемь лет), Маргарита Кирилловна сохранила его привязанность на всю жизнь. Именно ей он рассказывал обо всех своих мечтах, ей посвятил в 1902 году свою «Вторую драматическую симфонию», создав образ мистической героини Сказки, в чертах которой современники безошибочно угадали портрет Маргариты Кирилловны.

Но более всего ее интересовала философия. В этом пристрастии Маргарита Морозова была не одинока. Можно вспомнить Софью Безобразову, получившую степень доктора философии в Швейцарии, знаменитую Лу Андреас Саломэ, ставшую популяризатором новейших философских идей.

⁹ Иметь портрет работы Серова было чрезвычайно престижно, так как Серов писал портреты императорской семьи.

¹⁰ С 1903 г. А. Белый стал вхож к М. К. Морозовой на правах друга дома.

Особый интерес в то время вызывала фигура Владимира Соловьева и его религиозно-метафизические идеи. В. С. Соловьев был своим человеком в семье Трубецких¹¹, дружил и с С. Н. и с Е. Н. Трубецкими. Е. Н. Трубецкой разделял идеи философии В. Соловьева. На этой почве и произошло сближение Маргариты Кирилловны с Е. Н. Трубецким, переросшее в дальнейшем в глубокую не только духовную близость. Свидетельством этому является переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой, опубликованная в 1993 году в журнале «Новый мир»¹².

Фигура Е. Н. Трубецкого – философа, профессора Московского университета, одного из самых заметных деятелей кадетской партии – широко известна и по его публицистике, и по многочисленным историческим и мемуарным источникам. Достаточно назвать воспоминания его старшего сына С. Е. Трубецкого¹³, где дан очень подробный портрет аристократа, представителя знатнейшего семейства России, философа и политика. Переписка длилась с 1906 по 1918 год, но сохранилась не полностью. А. Носов указывает на то, что с 1911 года «письма приходили до востребования, поэтому они более искренни, чем ранние, и более подробны»¹⁴: Трубецкой был женат, поэтому необходимо было соблюдать приличия. Из этой переписки мы узнаем о душевной драме, которую переживает в эти годы Е. Н. Трубецкой. Будучи глубоко верующим, он, не в силах противиться любви к Маргарите Кирилловне, осознает свою вину перед женой и мучается, ища сочувствия у Маргариты Кирилловны. Он предстает перед нами как человек частный, страдающий, что зачастую делает его уязвимым и беспомощным, даже слабым человеком. Рядом с ним М. К. Морозова вынуждена быть сильной, утешительницей.

После восстания 1905 года в обществе формировались идеи мирного движения страны по пути реформ и улучшения жиз-

¹¹ На близость Владимира Соловьева к семье Трубецких указывает тот факт, что он скончался в имении Трубецких Узкое (под Москвой), где гостил достаточно регулярно.

¹² Наша любовь нужна России. Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой / вступ. статья и публ. А. Носова // Новый мир. – 1993. – № 9–10.

¹³ Трубецкой С. Е. Минувшее. – М., 1991. – С. 93–94.

¹⁴ См. сноску 12 (вступ. ст. А. Носова).

ни. Эти идеи были очень близки Маргарите Кирилловне – матери четверых детей, противнице всякого насилия. Для проведения в жизнь этих взглядов начинает издаваться общественно-политический журнал, ставший органом либеральной московской профессуры, «Московский еженедельник»¹⁵, редактором которого становится профессор Московского университета Е. Н. Трубецкой. Маргарита Кирилловна входит в число пайщиков и вскоре принимает на себя почти все расходы по изданию журнала. Она становится членом редакционного совета, устраивает благотворительные вечера в пользу журнала, принимает у себя представителей самых различных политических течений, призывая их прежде всего руководствоваться пользой России. Регулярные дотации получало от нее Московское психологическое общество при Московском университете, издававшее с 1895 года журнал «Вопросы философии и психологии», она была председателем Московского музыкального общества. В ее гостиной одно время частым гостем был П. Н. Милюков, но, безусловно, главным человеком в ее жизни, помимо детей, являлся Е. Н. Трубецкой. Интересно, что обсуждая с ним в письмах различные философские проблемы (ее занимали прежде всего вопросы мистические), кроме небольших чисто деловых сообщений, о журнале она почти ничего не пишет, считая свое участие весьма незначительным, берет на себя вопросы чисто практические: о подписке, о типографии и т. д. Однако совершенно очевидно, что без ее финансовой помощи журнала бы просто не было.

Вместе с Трубецким в 1906 году она создала Религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева¹⁶. В состав Общества вошли самые выдающиеся мыслители эпохи: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский.

Маргарита Кирилловна Морозова приняла на себя все расходы по содержанию Общества, предоставила для его заседаний

¹⁵ «Московский еженедельник» (1907 – 1910) – общественно-политический журнал, орган либеральной московской профессуры, финансировался М. К. Морозовой.

¹⁶ См.: *Половинкин С. М.* Религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева в Москве; вехи истории (1905 – 1913) // Философские науки. – 2005. – № 12.

свой особняк. На философских вечерах бывала вся литературная и философская элита Москвы. Очень яркую картину этих вечеров нарисовал в своих воспоминаниях Ф. А. Степун¹⁷ – философ, литератор, журналист. С особым уважением отзывался о Маргарите Кирилловне и В. Розанов, считавший, что Религиозно-философское общество помогает духовному очищению русской интеллигенции: «Удивительная по уму и вкусу женщина. Оказывается, не просто “бросает деньги”, а одушевлена и во всем сама принимает участие. Это важнее, чем больницы, приюты, школы. Загаженность литературы, ее оголтело-радикальный характер, ее кабак отрицания и проклятия – это в России такой ужас, не победив который нечего думать о школах, ни даже о лечении больных и кормлении голодных. Душа погибает: что же тут тело. И она взялась за душу. Конечно, ее понесли бы на руках, покорми она из своего миллиона разных радикалистов. Она этого не сделала. Теперь ее клянут. Но благословят в будущем. Изданные уже теперь “Путем” книги гораздо превосходят содержательностью, интересом, ценностью “Сочинения Соловьева” (вышла деятельность из “Кружка Соловьева”). Между тем книги эти все и не появились бы, не будь издательницы. Таким образом, простое богатство, “нищая вещь перед Богом”, в умных руках сотворила как бы второго философа и писателя в России, Соловьева. Удивительно»¹⁸.

К 1910 году духовная близость М. К. Морозовой и Е. Н. Трубецкого переросла в глубокую сердечную привязанность, остававшуюся для окружающих тайной. В том же 1910 году «Московский еженедельник» закрылся. Во многом это произошло по причине щепетильности Маргариты Кирилловны. Хотя Трубецкой был очень опечален таким поворотом, он не мог не отдать должное такту Маргариты Кирилловны, понимавшей, что в подобной ситуации это сделать необходимо.

Чтобы реализовать свой «общественный» темперамент, в том же 1910 году Маргарита Морозова открыла издательство «Путь»

¹⁷ См.: *Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся* : в 2 т. – Нью-Йорк, 1956. – Т. 1. – С. 281.

¹⁸ *Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый.* – М., 1991. – Т. 2. – С. 393 – 394.

для публикации философских работ участников Религиозно-философского общества. Его редакционный комитет составили члены правления МРФО: М. Морозова, Евг. Трубецкой, С. Булгаков, Н. Бердяев, В. Эрн, Г. Рачинский. Финансирование, как всегда, взяла на себя М. Морозова. Для работы в издательстве привлекли Василия Розанова и Павла Флоренского. Особенно активную помощь Маргарите Кирилловне оказывал С. Булгаков. Деятельность книгоиздательства помимо духовного просветительства предполагала и коммерческую выгоду для его нуждающихся сотрудников. В идейном же плане издания «Пути» должны были проводить в философии «русскую идею», стать орудием борьбы с материализмом, позитивизмом, кантианством. Идейная позиция и издательская программа «Пути» в самых общих чертах сформулированы в издательском предисловии к первому сборнику статей «О Владимире Соловьеве»¹⁹. Издательство «Путь» опубликовало одну из самых значительных книг Е. Н. Трубецкого «Миросозерцание Владимира Соловьева», труды Спинозы, Фихте, монографии о Джоберти, Розмини и Бергсоне, но не все эти замыслы, к сожалению, реализовались. В издательских планах были переводы Платона, Плотина, бл. Августина, Дионисия Ареопагита, Скота Эриугены, Николая Кузанского, Шеллинга, Гегеля, Баадера. Таким образом, не прекращалась большая культурная работа, незаметная на первый взгляд, но чрезвычайно важная, постепенно подготавливавшая Россию к неизбежным переменам.

Однако деятельность Маргариты Кирилловны носила и сугубо практический характер. Она – сторонница конкретных дел. В своем имении Михайловка она построила «лесную школу для трудных подростков», и уже в 1912 году в этом заведении, получившем название «Бодрая жизнь», поселилось 50 подростков. Школа просуществовала до 1917 года, и все это время ее содержала на свои средства Маргарита Кирилловна.

¹⁹ См.: Взыскующие града. Хроника русской религиозно-философской и общественной жизни первой четверти XIX века в письмах и дневниках современников. – М., 1997.

Во время Первой мировой войны одной из первых Маргарита Кирилловна на собственные средства организовала тыловой госпиталь в доме на Новинском бульваре. Особое участие она принимала в крестьянских семьях, из которых забрали на фронт кормильцев. Она безвозмездно раздавала им продукты и одежду, продолжала заботиться о лесной школе в Михайловке, работать в издательстве «Путь».

1917 год разрушил хрупкое счастье Маргариты Кирилловны.

В 1918 году князь Трубецкой был вынужден тайно бежать из Москвы, так как с минуты на минуту его могли арестовать: под поручительство Трубецкого выпустили из тюрьмы его двоюродного брата, который после освобождения скрылся от властей и бежал за границу. Трубецкой умер зимой 1920 года в Новороссийске. О его кончине Маргарита Кирилловна узнала только через год.

В том же 1918 году был реквизирован особняк Маргариты Кирилловны в Мертвом переулке, 9. Она переселилась в подвал. В доме М. К. Морозовой с весны 1918 года разместился Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса, которым заведовали художник и искусствовед И. Э. Грабарь и историк Ю. Виппер. Вот что пишет в своих воспоминаниях В. Ф. Булгаков: «<...> Он [Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса – Н. Ф.] помещался в великолепном, стильном особняке, с врубелевской мозаикой на стенах некоторых комнат, в Мертвом переулке. В подвале проживала бывшая владелица особняка красавица и меценатка М. К. Морозова, большой портрет которой, работы Н. К. Бодаревского, украшал кабинет управляющего делами Отдела <...>»²⁰. С 1926 года и по сей день в особняке размещается посольство Дании. Интерьер особняка в основном сохранился.

Однако в 1922 году семью Морозовых выселили и оттуда. Сын Михаил перевез мать и тетку в село Лианозово. Во время войны Маргарита вновь вернулась в Москву и поселилась в крохотной комнатухе на Покровке. Жизнь ее была целиком посвящена се-

²⁰ Булгаков В. Ф. Встречи с художниками. – Л., 1969. – С. 64.

мье и работе над воспоминаниями о людях, составлявших смысл и интерес ее жизни. Умерла она в 1958 году, оставив свои воспоминания незаконченными²¹.

«Не будь М. К. Морозовой, женщины одаренной поразительной культурной интуицией, самоотверженной готовностью отдавать огромные материальные средства и собственную энергию на служение духовному и культурному созиданию, не обладай она даром душевной мудрости, благодаря которой ей удавалось соединять и примирять в своей гостинной традиционных противников, русская философия, литература, музыка, живопись Серебряного века не досчитались бы многих творений первой величины», – писал В. Кейдан²². Неизбалованная судьбой, всю жизнь стремившаяся помогать людям, последние свои годы Маргарита Кирилловна Морозова прожила особенно трудно, почти одиноко, но даже тяжелые обстоятельства не смогли отнять у нее той пленительной женственности, благодаря которой великий поэт назвал ее Сказкой.

Фигура М. К. Морозовой абсолютно меняет наше представление о женщинах купеческого сословия, чья молодость пришла на рубеж XIX и XX веков. В истории ее жизни действительность часто кажется похожей на сказку, на сбывшуюся мечту, а мечты, претворившиеся в жизнь, трагичнее самой суровой реальности. Как тут не вспомнить утверждение В. С. Соловьева о том, что действительность выше искусства...

²¹ Они хранятся в РГБ (Ф. 171), опубликованы из них лишь небольшие фрагменты, в частности воспоминания о Н. Метнере и А. Н. Скрябине. См.: Наше наследие. – 1992. – № 6 (21).

²² Взыскующие града. Хроника русской религиозно-философской и общественной жизни первой четверти XIX века в письмах и дневниках современников / вступ. ст. В. Кейдана. – М., 1997. – С. 37.

И. В. Петровицкая,
*старший преподаватель кафедры истории русской литературы
и журналистики факультета журналистики МГУ*

«Толстовский» съезд русских журналистов. 1908 год

1908 год проходил под знаком чествования Л. Н. Толстого – 28 августа ему исполнилось 80 лет. Юбилей великого писателя, мыслителя, публициста, к голосу которого прислушивался весь мир, превратился в крупное общественно-политическое событие.

В январе в Петербурге был создан Комитет почина для чествования Л. Н. Толстого. В квартире М. М. Ковалевского собирались писатели, журналисты, общественные деятели, объединенные стремлением отметить юбилейную дату великого современника. Живо откликнулись на это начинание журналисты Петербурга; было устроено собрание, которое избрало представителей из 27 органов печати в толстовский Комитет почина. В Комитете принимали участие Л. Н. Андреев, М. А. Стахович, И. Е. Репин, Ф. И. Родичев, В. Г. Чертков, С. А. Муромцев, Д. Н. Овсяннико-Куликовский, А. А. Столыпин, С. А. Венгеров, Е. В. Аничков, редактор газеты «Слово» М. М. Федоров, редактор журнала «Минувшие годы» В. Я. Богучарский. Редакцию журнала «Русское богатство» представляли В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненский, «Современный мир» – Ф. Д. Батюшков, «Вестник Европы» – М. М. Стасюлевич и К. К. Арсеньев, «Русскую мысль» – П. Б. Струве, «Русское слово» – Г. С. Петров.

Подобные комитеты были организованы в Москве и в провинции. Особые юбилейные комитеты для чествования Л. Толстого

создавались и за границей – в Париже, Берлине, Лондоне, Праге и других столицах и городах мира. Газеты писали о том, что «вся Европа, да и не она одна», сошлись в желании чествовать «в лице Льва Толстого одного из духовных вождей человечества».

Но планы грандиозного всемирного чествования были публично отклонены Л. Н. Толстым¹, и в конце марта Комитет по чина завершил свою деятельность.

На состоявшемся по этому поводу собрании представителей столичной и провинциальной печати решено было созвать съезд уполномоченных всех периодических изданий для выработки плана их участия в юбилейных мероприятиях. Председателем бюро печати был избран М. М. Федоров, его членами – Н. Ф. Анненский, К. В. Аркадакский, К. К. Арсеньев, В. Я. Богучарский, И. В. Гессен, Г. К. Градовский, А. А. Измайлов, А. А. Столыпин. Газеты проинформировали, что «в редакции газеты “Слово” состоялось заседание бюро по организации чествования Л. Н. Толстого. Постановлено возбудить ходатайство перед министром внутренних дел о разрешении созвать всероссийский съезд литераторов для детальной разработки программы чествования. К ходатайству решено приложить уже выработанную бюро программу».

Возложенное на временное бюро печати поручение было исполнено: согласие министра внутренних дел на созыв съезда представителей периодической печати было получено. На что немедленно последовала реплика черносотенной «Старой Москвы»: «Редактору-издателю ярой кадетской газеты “Слово” министром внутренних дел разрешен созыв в Петербурге 30 марта всероссийского делегатского съезда повременной печати для обсуждения вопроса о способах чествования повременной печатью 80-летия гр. Толстого... Нам остается только этому очень и очень удивляться!»².

¹ Письмо Л. Н. Толстого в газеты о том, что готовящийся юбилей «чрезвычайно тяжел для него», что он просит «всех добрых людей» «сделать все, что возможно, для того, чтобы уничтожить всякие попытки чествования его». 25 марта 1908 г.

² «Удивляемся!» // Старая Москва. – 1908. – № 33, 25 марта.

18 марта 1908 года был издан циркуляр № 64505 Министра внутренних дел П. А. Столыпина, адресованный генерал-губернаторам, губернаторам, градоначальникам и начальникам губернских жандармских управлений и охранных отделений: «Замечаемое за последнее время усиленное обсуждение периодической печатью вопроса о способах и формах чествования 80-тилетней годовщины со дня рождения одного из виднейших представителей русской литературы графа Л. Н. Толстого, в связи с всемирною известностью этого писателя и теми особыми условиями, в которых он стоит, благодаря своим произведениям, к Православной церкви и существующему в Империи государственному строю... В этих видах Министерство считает нужным разъяснить, что предстоящее чествование... не должно быть поводом к принятию со стороны местных административных органов каких-либо репрессивных мер до тех пор, пока те или другие формы и способы этого чествования не будут выходить из пределов законности и принимать попутно характер демонстративный по отношению к существующему государственному строю... Посему местная администрация... должна лишь внимательно наблюдать за тем, чтобы предварительная газетная агитация и проч... не сопровождалась нарушением существующих законов и распоряжений правительственной власти... Особенно пристальное внимание... должно быть направлено к прекращению всяких попыток к использованию со стороны неблагонадежных элементов населения настоящего события в целях противоправительственной агитации, каковыя попытки тем более возможны, что проповедуемая графом Л. Н. Толстым идея представляет для подобной агитации самый широкий простор»³.

Таким образом, было признано необходимым созвать всероссийский съезд представителей печати, чтобы сообща решить, «как отметить 80-ю годовщину рождения величайшего из современников», которую «не может замолчать не только родная ему Россия, но и все просвещенное человечество». Затем бюро рас-

³ Толстой и о Толстом: Новые материалы // Толстовский музей. – М., 1924. – Сб. 1. – С. 81 – 83.

пределило между своими членами отдельные задания программы чествования.

Организационным центром первого съезда представителей периодической печати стали редакции газет «Слово» и «Речь», журнала «Минувшие годы», в каждом номере которого печатались отчеты съезда, толстовские материалы документального и мемуарного характера⁴.

Газеты подробно информировали общество о работе временного бюро печати по созыву первого всероссийского съезда печати.

В мае 1908 года, на первых полосах газет появилось сообщение «От временного бюро печати...», которое гласило: «Исполняя постановления общих собраний представителей столичной и провинциальной печати, [бюро] созывает первый всероссийский съезд повременной печати для обсуждения следующих вопросов:

Как самой печати наиболее достойно почтить день 80-летия Л. Н. Толстого? Какая задача лежит на русской печати в смысле указания наилучших способов повсеместного ознаменования этого радостного для России дня без нарушения воли великого писателя?

На какие цели мог бы быть предназначен сбор пожертвований в фонд имени Л. Н. Толстого, который надлежало бы открыть в ближайшем будущем всем органам русской печати..?

Не следует ли русской печати издать за свой счет особый сборник, посвященный Л. Н. Толстому..?

Кучастию печати в чествовании восьмидесятилетия Л. Н. Толстого и в сборе пожертвований на фонд его имени не следует ли привлечь и славянскую печать?»

Съезду также предстояло избрать постоянный комитет в качестве представителя всей печати России.

⁴ См. роспись журнала в сб.: О минувшем. – М., 1909. В журнале опубликовали воспоминания секретаря писателя П. И. Бирюкова «История моей ссылки». Л. Толстой читал «Минувшие годы», по его просьбе издатель журнала Н. В. Мешков выслал ему подшивку журнала. Удалось выпустить только 12 его номеров; по словам редакторов – В. Богучарского и П. Щеголева – «в истории русской журналистики трудно найти пример столь жестоких гонений на журнал и его редакторов».

Редакциям периодических изданий предлагалось прислать на съезд одного или нескольких представителей, «снабдив их надлежащими полномочиями», но с правом одного решающего голоса от каждого издания. Приглашения на съезд адресовались всем литературным учреждениям и Академии наук.

Кроме намеченной программы съезда были сообщены подробности его организации: каждый участник должен был внести «взнос в размере пяти рублей на расходы по съезду»; «предварительное ознакомление участников съезда друг с другом» было назначено на 21 июня 1908 года в клубе общественных деятелей. Излагалась просьба к редакторам – за пять дней до съезда уведомить о лицах, уполномоченных редакциями, а также прислать дополнительные пункты вопросов или докладов к намеченной программе съезда, «если таковые окажутся». Указывался и адрес редакции газеты «Слово» (СПб, Невский пр., 92)⁵.

Общее собрание столичной и провинциальной печати назначило съезд на воскресенье, 22 июня 1908 года в Санкт-Петербурге.

Первый Всероссийский съезд журналистов проходил 22 – 25 июня. Он открылся в два с половиной часа пополудни в Николаевском зале городской Думы.

О ходе Первого Всероссийского съезда печати газеты публиковали подробные отчеты. Отмечалось, что было многолюдно – «места амфитеатра для гласных, места для прессы и публики все заняты. Полный сбор. Даже внесены приставные стулья»; что участники съезда снялись общей группой, «имея в центре М. М. Ковалевского, Г. К. Градовского и П. Н. Милюкова».

После вступительной речи председателя временного бюро М. М. Федорова прошли выборы президиума съезда. В прессе приводились важные данные – количество полученных голосов: при 101 избирателе М. Ковалевский получил 99, П. Милюков – около 80, М. Федоров всего 58 голосов. Избрание Г. К. Градовского секретарем сопровождалось бурными аплодисментами.

С большим сочувствием была встречена присутствующими на съезде «образная», прочитанная с «сильным подъемом» при-

⁵ Речь. – 1908, 29 мая.

ветственная речь М. М. Ковалевского. Основной ее пафос был в том, что идея съезда зародилась из идеи чествования 80-летия Л. Н. Толстого «нашей поврежденной печатью» – «непродажной слугой общества». В подтверждение этой мысли Ковалевский вспомнил о своей, произошедшей тридцать лет назад, беседе с автором «Капитала» К. Марксом, который говорил о честности русской печати, но причину этого видел в том, что она не имеет влияния, и потому не имеет охотников подкупить ее. «С тех пор влияние русской печати выросло, – при бурном одобрении зала заявил М. М. Ковалевский, – в особенности при представительном строе».

Однако когда присутствующему на съезде журналистов «представителю от полиции» показалось, что один из ораторов «вышел из рамок разрешенной программы», он потребовал стенограмму съезда, и лишь тогда «инцидент благополучно разрешился»⁶.

Доклады были прочитаны М. М. Федоровым, И. Гессеном. На вечернем заседании председательствовал П. Милюков, хотя собрание было уже «менее оживленно».

Наибольший интерес участников съезда вызвал доклад В. Я. Богучарского «Литературный Дом-музей имени Л. Н. Толстого в Петербурге», в котором он настаивал на необходимости «ознаменования юбилея крупным делом». Напомнив журналистам слова Тургенева, обращенные к Толстому: «как я был рад быть вашим современником», он заметил со значением, что «эта радость выпала и на долю всех нас»: «В Англии есть свой Шекспир, в Германии – Гете, у нас – Лев Толстой,.. на нашем обществе лежит обязанность увековечить за поколениями настоящими и грядущими те духовные богатства, который дал миру гений Толстого»⁷.

На съезде печати были рассмотрены различные формы «ознаменования» юбилея: и выдвинутое в «Речи» предложение В. Г. Черткова издать все написанное Толстым за последние двад-

⁶ Всероссийский съезд журналистов // Петербургский листок. – 1908, 23 июня.

⁷ *Богучарский В. Я.* Речь на съезде деятелей русской периодической печати. – СПб., 1909.

цать пять лет без цензурных изъятий, и проект А. Хирьякова – обратиться к журналистам всех стран и сообща выступить с протестом против смертной казни. В. Г. Богучарский настоятельно рекомендовал учредить в Петербурге литературный дом-музей Л. Н. Толстого, точнее, «музей Толстого и его эпохи» для «познания идейной истории России за много десятков лет».

В. Я. Богучарский ратовал за необходимость объединения деятелей печати и литературы. Существующие литературные организации – Литературный фонд, Касса взаимопомощи литераторов и ученых, петербургское Литературное общество – должны по инициативе съезда объединить литераторов «самых разнообразных политических, социальных, философских и иных воззрений» вокруг имени Льва Толстого, писателя «не только внепартийного, но и по всему складу своей личности НАДпартийного и СВЕРХпартийного!». Эта центральная мысль Богучарского, с воодушевлением произнесенная им вновь и в финальной части доклада: «Соединим наши усилия. Пусть газеты начнут призывы к пожертвованию... и честь почина в этом важном и нужном для всей России деле будет принадлежать вам, господа, членам первого всероссийского съезда печати!», – прозвучала и в его статье о Л. Толстом в юбилейном номере журнала «Минувшие годы»⁸.

После продолжительных прений, в которых выступило шестнадцать ораторов, несмотря на обвинение петербургских журналистов в желании за счет имени Л. Толстого устроить себе литературный клуб, съезд печати принял именно это предложение.

Помимо широко обсуждавшейся программы мероприятий в «ознаменование» юбилея великого писателя на первом съезде журналистов были поставлены и чисто профессиональные задачи. С именем Льва Толстого, говорилось на съезде, надо «связать идею нравственного совершенствования деятелей русской печати путем устройства корпоративных судов чести».

Первый Всероссийский съезд русской печати вошел в историю русской журналистики как Толстовский съезд. В опубликованных «Постановлениях и пожеланиях Первого Всероссийского съезда печати» была намечена программа празднования

⁸ Минувшие годы. – 1908. – № 9.

28 августа 1908 года и в начале октября, после окончания летних каникул. Для выполнения постановлений съезда был учрежден постоянно действующий исполнительный орган – Комитет (из пятнадцати человек), который возглавил М. М. Ковалевский, товарищами председателя стали П. Н. Милюков и М. М. Федоров, секретарями – В. В. Водовозов и М. А. Стахович, казначеем – С. А. Венгеров. В состав Комитета также вошли: Н. Ф. Анненский, Ф. Д. Батюшков, В. Я. Богучарский, Г. К. Градовский, В. Г. Короленко. В дальнейшем состав Комитета претерпел некоторые изменения: в него были кооптированы Л. Н. Андреев, Г. В. Плеханов и (заочно) А. М. Горький, но он отказался⁹, и вместо него в работе принял участие Д. С. Мережковский.

Комитет Всероссийского съезда журналистов, заложившего основу фонда имени Л. Н. Толстого, разослал во многие газеты и журналы просьбы поместить бесплатно его обращения о сборе пожертвований на музей великого писателя. И уже через две недели 50 столичных и провинциальных изданий откликнулись на этот призыв.

Журналисты гордились тем, что на их «долю выпала редкая честь» – «выкинуть почетное знамя своему старейшине», печатали воззвания к обществу, обещая, что даже «о самых малых пожертвованиях всероссийская печать будет давать всенародные отчеты»¹⁰. Петербургские журналы «Минувшие годы», «Русское богатство», «Современный мир», газеты «Слово», «Речь», «Современное слово», «Правда жизни» и «Наша газета», московские «Русская мысль» и «Русские ведомости» принимали пожертвования, публиковали отчеты. По данным В. Я. Богучарского, через редакцию журнала «Минувшие годы» поступило 170 руб.

⁹ Горький неоднократно публично и в частных письмах объяснял причину своего нежелания участвовать в «шумихе», поднятой вокруг юбилея Толстого, когда разгорелся, по его словам, «пошлый кавардак». Он резко отрицательно отзывался о взглядах Л. Толстого: «...слишком двадцать лет с этой колокольни раздается звон, всячески враждебный моей вере... Нет, он мне чужой человек, несмотря на великую его красоту».

¹⁰ Анзимилов В. На фонд имени Л. Н. Толстого // Последние новости. – 1908. – № 134.

35 коп., а его издатель Н. В. Мешков пожертвовал 300 руб.¹¹. Через редакции «Речи» поступило 533 руб. 72 коп., «Современного слова» – 382 руб. 67 коп., «Слова» – 115 руб. 65 коп., «Русского богатства» – 53 руб. 50 коп., «Русских ведомостей» – 243 руб. 98 коп., «Современного мира» – 157 руб. 25 коп.; среди участников съезда было собрано 92 руб. 11 коп.; возникший в 1906 г. профсоюз хроникеров перечислил остаток кассы – 10 руб.; газета «Волжско-Камская речь» – 2 руб. и столько же А. В. Тыркова, К. В. Недзвецкий пожертвовал 195 руб. и неизвестный гражданин – одну финскую марку. Таким образом, добровольные пожертвования людей из разных слоев общества составили в середине октября 1 200 рублей с копейками и даже одной финской маркой.

Также комитет съезда печати обратился в редакции газет и журналов с просьбой выслать юбилейные номера со статьями о Толстом (по два экземпляра) на адрес редакции журнала «Минувшие годы»; аналогичные обращения были разосланы и опубликованы во многих европейских изданиях. В ответ было доставлено множество газет и журналов на всех языках, в том числе на эстонском, украинском, армянском, татарском и т. д. Присланы газеты из всех европейских стран, с Цейлона, из Индии, Китая, Японии.

Редакции высылали номера своих изданий с юбилейными материалами, и о новых поступлениях регулярно сообщали журналы «Вестник Европы», «Русское богатство», «Минувшие годы»: в сентябре поступило 249, в ноябре – 332, из-за границы пришло 67 изданий.

Русская печать горячо откликнулась на призыв комитета съезда «оказать содействие» в организации «национального праздника». «Беспримерный юбилей», «День перемирия», «Национальный праздник», «Грандиозное торжество» – такими заголовками пестрели газеты.

Различные издания с гордостью отмечали, что со времен Пушкинских дней в Москве в 1880 году Россия ни разу еще не устраивала таких культурных праздников и что чествование Толстого

¹¹ *Богучарский В. Я.* Дом-музей имени Л. Н. Толстого в Петербурге. – Пб., 1909. – С. 6 – 9, 24 – 26.

будет еще грандиознее: «Тогда праздновала одна Россия, теперь к нам съедутся представители всех цивилизованных государств. Льва Толстого чтут одинаково у нас и за границей. Это мировой гений», – утверждал П. Боборыкин в статье «Беспримерный юбилей»¹². «Есть еще очень важное отличие будущего торжества от пушкинского: тогда инициатива шла от правительства, и программа праздника составлялась администрацией, – вторил ему Е. Аничков. – Теперь инициатором праздника явится само русское общество, в лице избранных им представителей, и русская печать».

Официального чествования не состоялось, отмечать юбилей Л. Н. Толстого, объявленного «неблагонадежным», «противогосударственным» писателем, было «не велено». «Тут есть над чем поплакать и посмеяться, или и то и другое вместе», – сетовал П. Б. Струве. Это «какое-то национальное оскорбление, какая-то безысходная нелепица»¹³.

На юбилейную прессу повлияло двойственное отношение к чествованию Толстого самодержавия и цензуры, повелевающих то травить, то прославлять великого писателя. Страх перед открытым проявлением общественного сочувствия (сказался печальный опыт 1901 года, связанный с отлучением Толстого от церкви) проявился в противоречивых административных циркулярах. Не запрещая юбилея, правительство приняло меры прекратить какие бы то ни было попытки «к использованию со стороны неблагонадежных элементов населения настоящего события в целях противоправительственной агитации». Газеты и журналы в отделах внутренней жизни давали «скорбную летопись» идущих со всех сторон выпадов против Толстого. Появившаяся в газетах задолго до августа рубрика «К юбилею Л. Толстого» зачастую звучала как «Препятствия к юбилею Толстого».

Тем не менее русская печать горячо откликнулась на призыв съезда русских журналистов отметить знаменательную дату великого писателя, который, по словам В. Короленко, «поднял печатное слово на недосягаемую высоту». Современники обращались

¹² Слово. – 1908. – № 168.

¹³ Струве П. Не велено // Слово. – 1908, 27 августа.

к нему: «Вы... наш, журналистов, старший товарищ, старейшина. Одно сознание: “Да, ведь, я по профессии товарищ Толстого”... спасло не одного журналиста от нравственного падения»¹⁴.

Все газеты и журналы в течение года ежедневно публиковали материалы о Толстом, выпускались отдельные номера, посвященные юбилею.

«Толстовский номер» дневного выпуска «Биржевых ведомостей» провозгласил «триумф русского гения». В «Русских ведомостях» и «Русском богатстве» со статьями о Л. Н. Толстом выступил В. Г. Короленко, отметивший в «величавой фигуре» Толстого «и самый тяжкий разлад, и лучшие стремления нашего темного времени»; в «Русском слове» напечатаны статьи В. Дорошевича «Чествование Толстого среди террора» и П. Боборыкина «Беспримерный юбилей». Газета «Слово» увидела в толстовском юбилее «торжество творческих сил нации», опубликовала статью Д. Философова «Совесь человечества».

Газета «Речь» устами Д. С. Мережковского провозгласила, что «праздник Толстого – это праздник русской революции». «...Против воли своей оказался он лучезарным средоточием русской свободы... Сегодня враги русской свободы – враги Толстого; друзья его – ее друзья. Сегодня он и она – одно. Хотят ли этого они или не хотят, праздник Толстого – праздник русской революции»¹⁵. В Приложении к журналу «Нива» помещены статьи К. И. Чуковского «Толстой как художественный гений», А. Измайлова «На пророческой страже (К 80-летию дня рождения Л. Н. Толстого)» и воспоминания А. Ф. Кони¹⁶.

Журналистами было отмечено единодушие петербургских газет в преклонении перед юбилею: «Даже голос Меньшикова сегодня звучит в унисон общему хвалебному хору»; А. С. Суворин в «Новом времени» рисует благостный портрет Л. Н. Толстого и

¹⁴ *Петровицкая И. В.* 200-летний юбилей печати и два юбилея Л. Толстого // Из истории русской журналистики. 1702 – 2002 : Сб. ст. – М., 2002. – С. 142.

¹⁵ *Мережковский Д. С.* Лев Толстой и революция // Речь. – 1908. – № 205, 28 августа.

¹⁶ Ежемесячные приложения к журналу «Нива». – 1908. – № 9.

предлагает перестать «судить» выразителя национального гения России.

Можно добавить, что им вторил публицист этой газеты В. В. Розанов, посвятивший Толстому четыре юбилейные статьи, в одной из них 28 августа утверждал: «мы сливаемся с тем удивлением и уважением, какое в этот день принесет Толстому Россия и весь образованный мир»¹⁷. В другой (правда, на страницах иной газеты) он «вспоминал о своей поездке в Ясную Поляну», когда при прощании склонился «перед Монбланом нашей жизни», поцеловал Толстого «и поцеловал его руку»¹⁸.

В юбилейных номерах журналов были опубликованы статьи Вл. Кранихфельда, М. Неведомского и воспоминания А. Куприна «О том, как я видел Л. Толстого на пароходе Св. Николай»¹⁹; «Солнце над Россией» А. Блока²⁰; «Лев Толстой» П. Струве²¹; «Л. Н. Толстой» К. К. Арсеньева²².

В «Московском еженедельнике» поместили свои статьи профессора Московского университета Евг. Н. Трубецкой и Н. В. Давыдов (Василич)²³.

Промолчал о юбилее писателя «Правительственный листок», при этом откровенной бранью откликнулись на это событие «Русское знамя», «Колокол», называвшие Толстого «разбойником печати».

Русская печать настойчиво отмечала трудности чествования Л. Н. Толстого в провинции: «внешние условия, при которых пришлось устраивать юбилей “великого писателя земли русской”, были в высшей мере неблагоприятны». Однако боль-

¹⁷ 80-летие рождения гр. Л. Н. Толстого // Новое время. – 1908. – № 11660, 28 августа. Б/п.

¹⁸ Поездка в Ясную Поляну // Русское слово. – 1908. – № 236, 11 октября; То же // О Толстом. Международный толстовский альманах. – М., 1909. – С. 284 – 291.

¹⁹ Современный мир. – 1908. – № 9, 11.

²⁰ Золотое руно. – 1908. – № 7 – 9.

²¹ Русская мысль. – 1908. – № 8.

²² Вестник Европы. – 1908. – № 9.

²³ К юбилею Л. Н. Толстого // Московский еженедельник. – 1908. – № 34; Л. Н. Толстой читал этот номер.

шинство провинциальных газет, среди них «Киевский вестник», «Волгарь», «Нижегородский листок», «Смоленский вестник», «Орловский вестник», «Вятская речь» и другие, – сумели отозваться на «великий национальный праздник». Однако некоторым изданиям приходилось лишь кратко информировать читателей о том, что «по независящим от редакции обстоятельствам» они не смогли откликнуться на знаменательную дату.

Ко дню 80-летия в Ясной Поляне было получено свыше 2 000 приветственных телеграмм и писем, многие из которых перепечатывались газетами.

Были поздравления от петербургской и московской городских дум, различных обществ, товариществ, редакций газет и журналов. Волна приветствий от университетов – Петербургского, Московского, Киевского, Харьковского, Казанского. Из Праги – приветственный адрес Всеславянского студенческого съезда²⁴. Русская пресса пристальное внимание уделяла чествованию Толстого в студенческой среде, где горячо обсуждались предложения об учреждении фонда Л. Толстого, стипендий его имени, издании посвященного ему сборника.

Наиболее подробно в газетах «Русские ведомости», «Речь», «Слово», «Голос Москвы», «Русское слово», «Русь» освещались подготовка и проведение юбилея писателя в стенах петербургского и московского университетов. Осенью, в начале учебного года, в Ясную Поляну были отправлены приветственные телеграммы от Совета Московского университета за подписью ректора – Мануйлова. Почти все столичные газеты опубликовали адрес Льву Толстому от студентов Петербургского университета.

О решении послать «особую депутацию в Ясную Поляну для вручения писателю адреса от старейшего русского университета» настойчиво сообщали близкие к профессорским кругам Московского университета «Русские ведомости». В памятный день, 29 октября 1908 года, посетившие Л. Толстого студенты вручили ему адрес, в котором звучали слова признания: *«Ваш смелый протест против позора и ужаса современной России – смертной*

²⁴ Славяне и Толстой // Биржевые ведомости. – 1908. – № 10559, 18 июня.

казни, Ваш призыв к миру и любви, Ваша проповедь братского единения народов в наших молодых сердцах находят самый горячий отклик»²⁵. И поскольку упоминание о статье Л. Толстого против смертной казни «Не могу молчать» было строжайше запрещено (об этом заявил редакторам газет московский градоначальник генерал-майор Андрианов), адрес студентов Московского университета не мог появиться в печати, и эти сто лет неопубликованным хранился в архиве писателя.

Для историков русской журналистики представляют интерес телеграммы Л. Н. Толстому, присланные редакциями различных изданий. Они хранятся в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого.

Многие из этих телеграмм были напечатаны в газетах, цитировались в журнальных публикациях. Причем некоторые из них были адресованы Комитету съезда периодической печати. Часть телеграмм была отправлена Толстому «напрямую», без оглядки на цензуру, но не смогла стать достоянием гласности, оставаясь известной лишь небольшому кругу друзей писателя. Приветственные адреса и телеграммы ведущих может быть столичных изданий в архивных реестрах соседствуют с поздравлениями провинциальных газет из ближних и дальних окраин Российской империи.

Приветствия журналистов преимущественно адресуются Толстому-мыслителю, сколь витиевато не звучали бы некоторые телеграммы, особенно из предназначенных для публикации. Обращением к Толстому-художнику, творцу лишь романов «Война и мир» и «Анны Каренина» (причем, даже не упоминая о вызвавшем огромный общественный резонанс романе «Воскресение»), ограничиваются очень немногие.

Вот лишь некоторые из двухсот просмотренных нами телеграмм, полученных Л. Н. Толстым к 80-летию со дня рождения.

За подписью М. М. Стасюлевича²⁶, была отправлена приветственная телеграмма солидного «Вестника Европы»:

²⁵ Государственный музей Л. Н. Толстого (Отдел рукописей) (далее ГМТ). Ф. № 2. Ед. хр. 44.

²⁶ По свидетельству Маковицкого, Лев Николаевич в августовские дни часто спрашивал, нет ли телеграммы от Стасюлевича?

«*“Вестник Европы”* присоединяется к общему хору приветствий, глубокоуважаемый Лев Николаевич, с пожеланием здоровья на многие лета»²⁷.

И голос газеты «*Раннее утро*» звучал в унисон со всеми: «Редакция *“Раннего утра”* присоединяет свой скромный голос к мировому хору, объединенному сегодня личностью великого художника и мыслителя. Обнажаем благоговейно головы пред неустанным искателем истины. Да гори еще долго и высоко великий светоч земли Русской!».

«Редакция *“Одесского листка”*, кланяясь земным поклоном, приветствует “великого писателя земли русской”, завоевавшего отечественной литературе внимание и уважение всего цивилизованного мира и пробудившего в людях чувство добра, присоединяем свой скромный голос к мировому хору приветствий. Редакция Одесского листка выражает Вам, Лев Николаевич, в день вашего рождения искренние пожелания». Подпись: редактор Навроцкий.

Тексты приветственных телеграмм журнала «Русское богатство» и газеты «Русские ведомости» написаны, вероятно, одним пером; они близки юбилейным статьям о Толстом, опубликованным в этих изданиях и принадлежащим В. Короленко.

Редакция «*Русского богатства*»: «Присоединяем наши горячие приветствия к тем, которые шлются в этот день со всех концов мира великому художнику, неустанному и бесстрашному искателю правды».

«*“Русские ведомости”* присоединяют свое сердечное приветствие к сонму голосов, несущихся сегодня со всех концов России, из всех стран мира, выражения признательности, удивления и восторга. Великому писателю, несравненному художнику слова, неутомимому искателю правды, раскрывшему своим гением перед всем человечеством духовную мощь русского народа. Многая лета Л. Н. Толстому, бессмертная слава его творениям!».

Поздравила юбиляра и редакция газеты *“Голос Москвы”*: «Генеральный русский народ, опечаленный в Вашем таланте бытописателя русской жизни за два периода XIX века, поставил Ваше имя

²⁷ ГМТ. Ф. № 1. 257 / 7 – 12.

в ряду корифеев всемирной литературы. Да почерпнут же русские люди в новом периоде своей истории лучшие заветы из того героического прошлого, которое Вы живописали и тем самым да войдут во всемирную историю с верою в будущее и прощением прошлому».

Редакция и сотрудники газеты «Речь» дали велеречивую многословную телеграмму, занимающую несколько телеграфных бланков. Печатаем ее по газетной публикации, где важные для редакции строки были выделены курсивом.

«Вы властвуете над словом бессмертным, вечным – примите наш привет, привет людей, которые служат слову скоротечному, обреченному на смерть в то самое мгновение, когда оно рождается. И тем не менее мы думаем, что помимо той связи, которая объединяет вас со всеми людьми и которая делает вас достойным человечества, есть еще особенная *связь между вами, «великим писателем земли русской», и повседневной русской печатью.* Сознание это углубляет в нас то чувство благодарности, выражение которого несутся к вам сегодня со все концов мира – благодарности за то, что вы дали миру, – и мы не можем не вспомнить с гордостью в этот день, что Толстой – провозвестник духовной свободы, *боролся также в защиту свободы русского слова.*»

Редакция петербургской газеты «Слово» прямо обратилась к юбиляру: «Лев Николаевич, мы знаем, что среди массы телеграмм и приветствий, получаемых Вами, <наша> пройдет незаметно, но мы посылаем ее, так как для нас она не простая юбилейная условность, а выражение того чувства, укреплению которого Вы отдали лучшее, что есть в человеке. Ваше бескорыстное дарование, еще в юности ваши идеи разбудили нашу мысль, так возможно, что она не уснет». Подписи: Мих. Федоров, Градовский, Георгий Чулков, Зинаида Журавская.

«Гордости России и мировому гению в славную 80-летнюю годовщину шлет свой привет и поздравления и пожелания долгой жизни» – так писала редакция нового журнала «Путь», редактор которого В. Анзимиров просил писателя о сотрудничестве.

Редакция журнала «Современный мир» приветствовала великого «писателя земли русской» и с позиций своего издания желала

Толстому «много сил для новых творений и борьбы за лучшее будущее человечества».

Поздравления журнала «*Золотое Руно*» и газеты «*Русское слово*» традиционны: ограничились пожеланием здоровья великому писателю. Важны скорее подписи – Рябушинского, а в «*Русском слове*» – Дорошевича, В. Немировича-Данченко, Григория Петрова, Сергеенко, Дживилегова, Когана, Брио, Бочарова, Успенского.

«Многие лета великому», – пожелали юбиляру редактор и рабочие типографии «*Газеты-Копейка*». В той же тональности выдержана телеграмма редакции «*Биржевых ведомостей*»: «Слава русскому солнцу высокому! Многие лета Льву Толстому!». А телеграмма от наборщиков типографии «*Биржевых ведомостей*» трогательна своей искренностью: «Глубокий поклон могучему патриарху русской литературы, светочу русской мысли и свободы от скромных работников печатного слова. Слава учителю добра и проповеднику народной правды от вышедших из народа. Многая лета Толстому, гордости и радости России!».

Четко заявлено отношение к Толстому в телеграмме редакции газеты «*Харбин*», поместившей на своих полосах в юбилейные дни смелые статьи в защиту Толстого: «Великому писателю земли русской», «неутомимому борцу, носителю света, учителю жизни».

Одной строкой поздравляла Толстого-художника редакция «*Омского телеграфа*»: «Творцу “Войны и мира” и “Анны Карениной”».

Газета «*Новости*» писала: «Редакция “*Новостей*” горячо приветствует Вас, глубокоуважаемый Лев Николаевич, в день светлого торжества всего культурного мира. Ваша любовь к правде, Ваша смелая борьба с темнотой и насилием всегда будет воодушевлять нас на жизненном пути».

Газета «*Волжское слово*» выразила настроение многих журналов: «Выпуская юбилейный номер, посвященный освещению Вашего служения миру, редакция “*Волжского слова*” приветствует вас, великого художника и мыслителя, и выражает глубокую скорбь, что наша страна не может обратить этот день в торжественный национальный праздник».

Редакция «Одесского обозрения» приветствовала Толстого словами Тургенева, но значение их было иным: «Во дни сомнений, тягостных раздумий о судьбах нашей родины великому, могучему, правдивому, свободному русскому писателю».

Из Тулы нарочным за 70 коп. была доставлена в Ясную Поляну телеграмма, гласившая: «В день мирового торжества редакция «Приазовского края» с чувством глубокого изумления перед гением маститого мыслителя русской земли горячо приветствует Вас, великий учитель, в день вашего 80-летия. Самые лучшие пожелания с надеждой почерпнуть в жизни и учениях Ваших новые силы для посильного служения истине на благо родине». Подпись: редактор Арутюнов.

Телеграмму и номер газеты, посвященный юбилюру, прислала редакция «Вятской речи». Из Костромы были отправлены приветственные телеграммы от сотрудников редакции «Поволжского Вестника» и рабочих типографии Азерского. Поздравили Толстого «Рязанский вестник» и «Саратовский вестник», «Северо-западный телеграф». Еженедельники «Сибирская жизнь» и «Сибирские зори» пожелали Толстому здоровья, «Сибирские отголоски» направили свои поздравления и юбилейный номер.

За подписью редактора и многих сотрудников газеты была прислана телеграмма от «Приднепровского края» из Екатеринославля, где несколько лет в начале 1900-х годов сотрудничал будущий историк русской цензуры Михаил Лемке: «Сегодня, в день 80-летия вашей славной жизни, редакция «Приднепровского края» присоединяется к всемирному чествованию вашего юбилея с особенно глубоким чувством преклонения перед красотой и величием вашей души, могучим полетом вашей свободолобивой мысли, вечными образами вашего художественного гения. Примите, дорогой Лев Николаевич, задушевное пожелание еще долго здравствовать, долго-долго творить великое, вечное и возвышать свой мощный, слышный на весь мир голос в мрачные дни, когда нельзя молчать». Далее следовали многочисленные подписи на нескольких телеграфных бланках: редактор Петр Быков и сотрудники редакции: Будилин, Бронтман, Буянов, Муров, Стрищенко, Паскаль, Якобсон.

Посланные Толстому телеграммы опубликовали на страницах своих газет «Вятская речь», «Вестник Уфы», «Голос Юга», «Двинский листок», «Каспий», «Киевские вести», ставропольская газета «Наш край».

Особенный интерес представляют телеграммы Льву Толстому от журналистов, общественных деятелей, литературных обществ.

Первый съезд северо-кавказских журналистов избрал Толстого своим почетным председателем и приветствовал его «как одного из идейных вождей человечества и великого художника слова»²⁸.

Была отправлена телеграмма от *Финского союза журналистов* и *Союза шведских публицистов* в Финляндии. Из близкой ей Вильны писали: «Юная литовская пресса и литовские общества в день восьмидесятилетия Вашего рождения шлют сердечный привет вам, великому художнику и искреннейшему человеку. Редакции газет “*Vilniaus ziniuos*”, “*Letuvos Ukininkas*”, “*Viltis*”, просветительное общество “*Vilniaus Ausra*”, певческое общество, Виленское общество образования шлют “горячее спасибо” великому учителю жизни, истинному христианину».

Прислали приветствия Толстому редакторы «*Польской газеты*», «*Бессарабской жизни*» (Кишинев), редакции «*Армянской газеты*» (Тифлис), «*Батумского голоса*»; телеграмму из Люблина: «Восьмой съезд славянских журналистов, собравшийся в Люблине, приветствует единодушным поздравлением графа Л. Н. Толстого. Шлем ему выражение глубокого уважения, чистосердечной преданности, пожелания долгих лет, трудясь на благо своего русского народа, славянства и всего человечества», – перепечатали многие газеты²⁹.

«*Ростовский вестник*» прислал приветствие «великому народному трибуну и несравненному художнику-моралисту». Редакция «*Южных ведомостей*» выразила пожелание Толстому «еще много лет выполнять свою миссию выразителя мировой совести и являть торжество духа над грубой силой».

²⁸ ГМТ. Ф. № 1. 259/28.

²⁹ Новое время. – 1908, 28 августа.

Особый сюжет – находящиеся в архиве Толстого телеграммы от редакции газеты «Новое время» и – отдельно – от ее редактора А. С. Суворина, поместившего в тот же день, 28 августа 1908 года, в своих «Маленьких письмах» заметку к юбилею писателя.

Сотрудники «Нового времени» отправили в Ясную Поляну телеграмму, в которой приветствовали – перефразируя ставшие общим местом в юбилейной прессе слова Тургенева, обращенные к Толстому, – «великого старца земли русской»: «Вы всегда стояли на страже человеческого долга, произведения ваши в художественных образах всегда о человеке, забывшем его. В прекрасный день 80-летия Вашего рождения сотрудники и редакция “Нового времени” сливаются мыслью и сердцем с этим служением вашим русскому народу и приветствуют дорогого мыслителя и великого старца земли русской»³⁰.

И сохранились на телеграфном бланке адресованные Л. Н. Толстому приветственные строки А. С. Суворина; скоропись карандашом, без знаков препинания прочитывается с трудом: «Лев Николаевич, сегодня великий праздник славы Вашей, день торжества человеческого разума над мраком невежества. Сегодня все должны поздравлять самих себя с тем, что Бог дал Вам такую долгую жизнь. Как много Вы нам всем дали своими произведениями. Мне хотелось бы поздравить Вас с радостью выздоровления, все другие радости у Вас есть. Любящий Вас Суворин. 28 августа»³¹. Как искренно звучит приветствие А. С. Суворина!

Эти интонации прозвучали и в молитвенном прошении А. С. Суворина (в его юбилейной заметке о Толстом³²): «Дай, Бог, счастливому и великому старцу-писателю прожить до ста лет!.. Жизнь прекрасна и в глубокой старости... Толстой заслужил свою долгую жизнь».

И в телеграмме писателю, и в «Маленьких письмах» звучит убеждение Суворина в том, что Толстой всегда был «окружен

³⁰ ГМТ. Ф. № 1. 259. 29 / 18.

³¹ ГМТ. Ф. № 1. 259 / 29.

³² Суворин А. Маленькие письма // Новое время. – 1908, 28 августа.

довольством и счастьем» и подходит «к концу жизни таким же счастливецем». Даже в отлучении писателя от церкви Суворин видит лишь «булавочные уколы».

Но в телеграмме Л. Толстому Суворин не упоминает о главном тезисе своей статьи: «Я утверждаю, что Толстой патриот. Читайте “Войну и мир”. Это наша Илиада, полная высокой нравственности, русского национального чувства, патриотизма».

Многие газеты различных направлений перепечатали один столбец «Нового времени»: «Сколько в эти дни будет написано “судебных” статей о Толстом, об его великой, прожитой им жизни! Может, следовало бы сказать нам всем, писателям, как Епишка говорил Толстому: Бросьте судить. Радуйтесь, что он Русский, что он так же много дал своей родине на многие века и что он, слава Богу, ещё жив и так бодр в свои 80 лет... Что о нём напишут даже талантливые люди, то останется только в каталогах, а вся газетная о нём “словесность” не войдёт даже в каталоги, да и никому она не нужна». Миру, убежден Суворин, «нужно только великое и гениальное, которое чему-нибудь научает в жизни».

Возникает вопрос: чему же, по мнению Суворина, «научает в жизни» Лев Толстой? Что же на самом деле думал редактор «Нового времени», сегодня воспеваемый национал-патриотами как создатель «успешной русской газеты» (не с «финляндским оттенком», не с «польским», как уточнял еще В. В. Розанов).

Тема «истинного» патриотизма вновь была одной из самых важных в обострившейся полемике вокруг Толстого в связи с объявлением его юбилея «торжеством национального гения». Цитирующие статью Суворина подчеркивали, что он уже довольно давно не писал обычных своих «Маленьких писем», в которых отзывался на «злобы дня». Но «в день 80-летия графа Толстого он нарушил свое молчание и дал превосходную оценку нашему великому писателю».

Но мало кто из журналистов акцентировал внимание читателей на другой, смело заявленной А. С. Сувориным в юбилейной статье мысли о Л. Толстом: «Это первый и единственный русский писатель, который раньше всех испытал полную свободу

на русской земле»³³. (Вспомним знаменитую теперь его дневниковую запись: «Два царя у нас...». Через два года, в первые дни после ухода и смерти Толстого, Суворин напишет о нем статью «Самый свободный».)

Об этой очень важной, по-видимому, тревожащей его на протяжении последнего десятилетия теме А. С. Суворин не упомянул в своей телеграмме Толстому.

В архиве Л. Н. Толстого сохранилась и телеграмма писателю от Николая Александровича Бердяева: «С любовью приветствую русского гения, которому обязаны первым пробуждением сознания смысла жизни и первым отрицанием неправды жизни. В чувстве этом сливаюсь с лучшей частью России и мира. Николай Бердяев»³⁴. Этот архивный документ приобретает дополнительный смысл, если учесть, что буквально через неделю, 5 сентября им будет получено от секретаря Комитета съезда печати В. Водовозова письмо с предложением принять участие в толстовском сборнике, на которое публицист ответит согласием и уже 21 сентября вышлет о Толстом «небольшую статейку».

Согласно «Постановлениям и пожеланиям Первого Всероссийского съезда печати» было решено издать сборник, «всецело посвященный личности чествуемого писателя, мнениям о нем и характеристике его произведений». Предполагалось, что в него войдут сотни отзывов о Толстом. Решено было привлечь к участию в сборнике лидеров всех партий, были разосланы приглашения известным общественным деятелям и литераторам; назывались имена А. И. Гучкова, Г. Е. Львова, Н. А. Хомякова, П. Н. Милюкова, В. Д. Набокова, Ф. Ф. Кокошкина, А. С. Суворина, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, А. М. Горького, Л. Н. Андреева, В. Я. Брюсова. На заседании Комитета был утвержден не только русский, но английский и французский тексты обращения с просьбой принять участие в толстовском сборнике, прислать краткие отклики в 40 – 100 строк и даже «в форме сжатых афоризмов». В редакцию сборника были выбраны С. А. Венгеров, Л. Н. Андреев и Д. С. Мережковский.

³³ Суворин А. Маленькие письма // Новое время. – 1908, 28 августа.

³⁴ ГМТ. Ф. № 1. 257/3 – 20.

Но задуманный сборник не состоялся. Часть статей «осела» в обширном, насчитывающем тысячи единиц, архиве секретаря Комитета – В. В. Водовозова.

Среди них статья Г. В. Плеханова «Толстой и природа», опубликованная только через шестнадцать лет³⁵; единственная из написанных при жизни писателя статья Н. А. Бердяева «О религиозном значении Льва Толстого»³⁶, не так давно увидевшая свет; заметка А. Блока, напечатанная только в 1987 г.³⁷, статья А. Белого «Толстой и мы», неверно датируемая 1910 годом (вместо 1908); два эссе И. А. Бодуэн-де-Куртенэ: «Отрывочные заметки о Л. Н. Толстом» и «Из введения к ненапечатанной статье “Л. Н. Толстой и смертная казнь”».

Некоторые из предполагаемых авторов несостоявшегося толстовского сборника собрались на следующий год под обложкой сборника «Вехи». В 1909 году, хотя и с опозданием, вышел подготовленный к юбилею «Международный альманах о Л. Толстом»; его первое издание – 3 000 экземпляров – разошлись буквально в два дня, последовало второе издание тиражом в 16 000 экз. В нем участвовало 28 русских и 27 иностранных авторов, спорящих на страницах книги «за честь быть обязанными Толстому». Этот прижизненный «живой памятник Толстому» создали писатели, общественные деятели, ученые, журналисты: Бьернстерне-Бьернстон, М. Здоховский, У. Горриссон, Наоши Като, В. Розанов, П. Боборыкин, А. Ф. Кони.

Статьи участников международного толстовского альманаха также известны небольшому кругу исследователей.

Не появилась в печати 1908 года по цензурным условиям и приуроченная к юбилею Толстого статья С. И. Шохор-Троцкого «Отчего мы не ликуем?». В ней он с горечью писал: «Для всего мира он – прежде всего великий писатель. Для пишущей же братии он – друг, учитель и наставник: он учил ее – честно и безбоязненно чувствовать и мыслить, и говорить, и писать... История

³⁵ Звезда. – 1924. – № 4.

³⁶ Бердяев Н. А. О религиозном значении Льва Толстого // Вопросы литературы. – 1989. – № 4. – С. 269 – 274.

³⁷ Литературное наследство. – 1987. – Т. 92. – Кн. 4.

покажет, кто прав и велик: Лев Толстой или все те, кто, по недомыслию или по отсутствию истинной любви к родине и к человеку, против Толстого. История покажет, кому надо стыдиться: друзьям ли России и ее истинного величия или врагам ее, всегда твердящем о своем патриотизме»³⁸.

До сих пор остаются мало известными исследователям доклад и статья о Л. Толстом яркого публициста, «питомца Московского университета», В. Свенцицкого, опубликованные в журнале «Живая жизнь»³⁹.

Большая часть статей, написанных в 1908 году, при жизни Л. Н. Толстого, распылена по архивам, затеряна в различных сборниках. Между тем материалы, содержащие оценки творчества Толстого, данные его современниками в дни 80-летия писателя, представляют несомненный интерес. Многие из статей, написанных по предложению Комитета съезда печати, сыграли важную роль в осмыслении личности и творчества великого писателя и мыслителя.

Толстовский съезд русской печати, во многом определивший звучание юбилея Л. Н. Толстого 1908 года, стал важной вехой не только в биографии писателя, но и в истории русской общественной мысли, истории русской журналистики.

³⁸ Яснополянский сборник. – Тула. – 2006. – С. 308.

³⁹ *Свенцицкий В. П.* Религия «здорового смысла» (Из лекций о Льве Толстом и Вл. Соловьеве) // *Живая Жизнь*, – М., 1907. – № 1, 27 ноября. – С. 47 – 56; *Свенцицкий В. П.* Положительное значение Льва Толстого // *Живая жизнь*. – 1908. – № 2, 30 января.

Наши публикации



Арвид Эрнефельт (Arvid Järnefelt)

Толстой

«Нет уголка России, который бы так или иначе не отозвался на призыв принять участие в торжествах» по случаю 80-летнего юбилея Л. Н. Толстого; «из медвежьих углов нашего отечества, отдаленной Индии и Австралии и из центров мирового движения человеческой мысли», – с гордостью за своего знаменитого современника заметил один из организаторов торжеств М. М. Ковалевский, подводя итоги 1908 года¹.

Среди тысячи приветственных телеграмм, полученных в Ясной Поляне, были и слова любви и признания из Финляндии. «Масститому старцу, просвещенному учителю современного поколения шлет свой горячий, полный глубокого уважения и благодарности привет группа финляндской молодежи и финляндских граждан. Да не умолкнет на многие лета живая совесть России»².

От финского и шведского союзов журналистов телеграммы опубликовала «Финляндская газета»: «Великому борцу России за правду и истину почтительный привет от финского союза журналистов Финляндии; Союз шведских публицистов в Финляндии посылает великому писателю горячий и искренний привет по случаю его 80-летней годовщины»³.

Юбилейные заметки о Л. Н. Толстом опубликовали и другие финские газеты: «Туö», «Helsingin sanomat», «Suomen

¹ Русские ведомости. – 1909. – № 1.

² Слово. – 1908. – № 553, 4 сентября.

³ Финляндская газета (Гельсингфорс). – 1908. – № 130, 29 августа.

Kanza», «Hufundstadbladet» (на шведском языке); «Savon Sanomat», «Kaja Karjala», «Wakka Suomi», «Tampereen Sanomat», «Lounais Neme», «Hametar», «Karjalen Sanomat», «Undenkaupungin», «Nya Pressen».

Информируя своих читателей о том, как ознаменовали день рождения писателя в провинции, газеты в подбор с сообщениями из Перми и Твери, дали отдельной, краткой, но много говорящей оппозиционному читателю строкой: «Гельсингфорс. 28 августа. Сегодня в шведском и финском театрах ставится “Власть тьмы” Л. Толстого». И затем мелким шрифтом – о бесплатной лекции о Л. Толстом на финском и шведском языках в люландском студенческом доме.

Сообщения о юбилейных мероприятиях в Финляндии подверстывались и к полученной информации из скандинавских стран.

В заметке о посвященных Толстому торжествах в Христиании корреспондент газеты, отметив, что все издания посвятили писателю восторженные статьи, подробно и с политическим подтекстом изложил программу вечера «в честь нашего великого юбиляра» в «Национальном» театре Христиании: русский гимн был признан «неподходящим к характеру» чествования и был заменен «элегией» Чайковского; перед бюстом Толстого, увенчанным трехцветными флагами и великолепным лавровым венком, было прочитано стихотворение Томаса Крага, в котором «наряду с благоговением к гениальному творцу “Войны и мира”» выражалась «скорбь за происходящую теперь в России “войну” и уверенность в скором наступлении “мира”».

После сыгранной оркестром увертюры Чайковского «1812 год», – продолжал свой рассказ журналист, – состоялся спектакль, но «эта пьеса Тора Гедберга с проникающим ее духом политической борьбы и даже террора менее всего гармонировала бы с Толстым и его идеями», ибо «несомненно навеяна историей убийства Бобрикова в Финляндии». Пьеса с успехом шла в Финляндии, пока «Новое время» не подняло против нее травлю, «и она была запрещена»⁴, – этой полемической репликой была завершена корреспонденция.

⁴ Речь. – 1908, 3 сентября.

Многие газеты в юбилейные дни поместили на своих страницах мнение о Толстом известного датского критика и общественного деятеля Георга Брандеса, оказавшего влияние на развитие литературы скандинавских стран. В своей статье он напомнил о недавних событиях, связанных с присуждением Нобелевской премии: «Как один человек, поднялись все выдающиеся писатели и поэты Швеции, отправили адрес Льву Толстому и сказали ему, что, по единогласному их мнению, кроме него, нет никого, кто был бы достоин первым получить эту премию... Смею сказать, что все причастные к скандинавской культуре: датчане, норвежцы и финны, – не задумались бы подписать здесь мнение шведских писателей.

Горячие чувства, которые мы питаем к нему, восхищение, вызываемое им, не зависят от того, разделяем ли мы его воззрения. Только совершенно незрелые люди сообразуют свою оценку с большим или меньшим совпадением своих взглядов с воззрениями великого человека... Он сделался совестью целого великого народа. Не совестью великой державы, хотя народ этот и составляет великую державу. С правительством и нынешней властью у него нет ничего общего... Он всю жизнь свою служит идее, которая была и остается чисто русской, идеей общности всех людей»⁵.

В рубрике «Из Финляндии. Срочная почта» прозвучало сообщение, перепечатанное многими газетами:

«Чествование Л. Н. Толстого. 31 августа в доме общества трезвости “Който” состоялся вечер, посвященный Толстому, на котором выступал с речами писатель-толстовец Арвид Эрнефельт и писательница Майля Тальвио». Более конкретно было обозначено содержание выступления финского драматурга Эйно Калима⁶. Он поделился своими впечатлениями от по-

⁵ Брандес Г. Лев Толстой // Русские ведомости. – 1908, 28 августа.

⁶ Калима (Kalima) Эйно (1882 – 1972) – финский филолог-славист (был стажером Московского университета), режиссер и театральный деятель, директор финского Национального театра (1917 – 1950), последователь системы К. С. Станиславского, один из лучших постановщиков чеховских пьес. См.: Koskimies R. Suomen kansallisteatteri. VV. 1902 – 1917. – Helsinki, 1953. – С. 181.

ездки в Ясную Поляну. И в завершении говорилось: «От присутствующих была послана Л. Толстому приветственная телеграмма»⁷.

В этой заметке шла речь о «финляндском единомышленнике» Л. Н. Толстого, известном финском писателе, переводчике, публицисте, общественном деятеле, оказавшем влияние на значительную часть интеллигенции начала XX века; ему принадлежит заслуга в знакомстве финской общественности с идеями Толстого – Арвиде Александровиче Эрнефельте (Arvid Jarnefelt, 1861 – 1932).

Его имя одним из первых называют среди финских писателей, на которых большое влияние оказала русская литература, творчество и личность Л. Н. Толстого, – Юхани Ахо (1861 – 1921), Юхани Эркко (1849 – 1906), Казимира Лейно (1866 – 1919), Теуво Паккалы (1862 – 1925), писавшего по-шведски К. А. Тавастшерны (1860 – 1898), входивших в группу «Молодая Финляндия», основавших ряд периодических изданий. Эрнефельт был основателем газеты «Paivalehti» в 1889 – 1890 годах.

«Финский писатель из Петербурга» – так называли А. Эрнефельта, как, впрочем, и всех финских писателей и публицистов, которые выросли в столице российской империи⁸. Огромное влияние на него оказала мать, представительница старого петербургского рода баронесса Елизавета Клодт фон Юргенбург (сестра известного профессора живописи М. К. Клодта) – одна из ярких личностей «золотого века» культуры Финляндии. Сохранив на всю жизнь лучшее из русской культуры и передав это детям, она сумела освоить финский язык, включиться в национальную жизнь Финляндии (иногда Елизавету Эрнефельт на-

⁷ Речь. – 1908, 3 сентября.

⁸ Карху Э. Г. История литературы Финляндии от истоков до конца XIX века. – Л.: Наука, 1979; в дореволюционной литературе о Эрнефельте см.: Тиандер К. Ф. Арвид Эрнефельт // Современный мир. – 1911. – № 7; Он же. Записки историко-филологического факультета Петербургского университета. Датско-русские исследования. – Ч. 113. – Вып. 2. – СПб., 1913; Егорова Т. Л. Толстой и Эрнефельт // Финляндская газета (Гельсингфорс). – 1916. – № 64 – 68, 70, 72, 73.

зывали «матерью финской литературы»); вместе с сыном проводила в жизнь идеи Льва Толстого.

Ернефельт окончил в столице Финляндии Гельсингфорсе юридический факультет университета, защитил диссертацию по филологии на русском языке в Московском университете. Его литературный дебют – роман «Отечество» («Isanmaa», 1893), в котором противопоставляется формальный патриотизм искреннему и конкретному чувству привязанности к своей малой родине.

В произведениях Ернефельта «Воспоминания моей молодости», «Счастливые», «Роман моих родителей» отразились и настроения безземельного финского крестьянства, и нравственные проблемы; в романе «Отечество» показана студенческая жизнь, в сочинениях на исторические темы, особенно в пьесе «Тит» («Titus»), заострена драма личной власти и моральной ответственности человека. Он написал «Судьбы человечества» («Ihmiskohtaloja», 1895), «Мое пробуждение» («Heraamiseni», 1894), «Идеал чистоты» («Puhtauden ihanne», 1897). Его творчество получило отклики в русской печати.

Судьбу Арвида изменила поездка в Ясную Поляну в 1899 году, о которой он поведал в книге «Дневник моей поездки в Россию». Религиозно-нравственное учение Л. Толстого покорило А. Ернефельта и повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Свое духовное рождение под влиянием Л. Толстого он описал в книге: «Мое пробуждение» на финском и шведском языках. Перевод на русский язык пятнадцатой главы этой книги «Почему я не вступил в должность судьи» был сделан им вместе с матерью специально для Льва Николаевича и послан вместе с первым письмом к нему в 1895 году (в своем ответном письме от 22 декабря 1895 года писатель отметил «драгоценные черты правдивости» пришедшей книги).

О том, как он, сын сенатора, став последователем идей Толстого, отказался от «блестящей карьеры в сеймовой юридической комиссии», и старался претворять в жизнь свои идеалы, рассказано в исповеди «Мое пробуждение». Окончив университет, «превзойдя все юридические науки», Ернефельт под влия-

нием матери, глубоко воспринимающей толстовское жизненное понимание и пользующейся, по словам сына, всяким удобным случаем, чтобы «объяснять своего Толстого», в соответствии с толстовским учением полностью переменял весь свой образ жизни. Он переехал в деревню под Лохья, где занимался крестьянским трудом, сапожничал, обрабатывал землю. В своих книгах он показывал, что улучшение общества возможно лишь на основе перелома в душе каждого человека, а не внешним насилием или законодательными актами. Убежденный в том, что перенесенные в жизни невзгоды обязательно ведут человека к пониманию христианской любви, Эрнефельт был разочарован тем, что социальные потрясения не привели к религиозно-нравственному перерождению общества.

Толстой ценил «драгоценные черты правдивости и серьезности» Эрнефельта, «дорожил общением» с ним. У Толстого и его финского единомышленника сложились доверительные отношения. Его фотография находилась в кабинете Льва Николаевича. Он (и его дети), по словам секретаря писателя, представляли собою «поистине удивительных и необычных послов – гонцов высококультурной, своеобразной и далекой Скандинавии...»⁹. Они виделись всего два раза, «переговаривались» (как определил писатель) письмами.

В 1898 году, когда у Толстого вновь возникла мысль о возможном уходе из семьи, из Ясной Поляны и переселении в Финляндию, он обратился к своему финскому корреспонденту, с которым «никогда и не видались», прося его оказать «большую помощь» по делу, которое «должно остаться никому не известным, кроме Вас»¹⁰; в ответ Эрнефельт высказал «готовность служить Толстому»¹¹. Летом 1909 года предполагалось, что он будет сопровождать Толстого на XVIII международный конгресс мира в Стокгольм, но после отказа писателя от поездки и принятия

⁹ Булгаков В. Ф. Друзья и близкие // Тула. – 1978. – С. 350.

¹⁰ Толстой Л. Письмо А. Эрнефельту. 1898, 17 июля // Собр. соч.: в 22 т. – Т. 19. – С. 430.

¹¹ Эрнефельт А. Мое пробуждение (Исповедь) / пер. с финск. Е. К. Эрнефельт (матери писателя). – М., 1921. – С. 20.

решения послать лишь доклад, огласить его должен был, по поручению Льва Николаевича, Эрнефельт.

Они обсуждали близкие им темы: финский патриотизм и необходимость истинного религиозного сознания, литературу, общества трезвости, вмешательство русского правительства в дела Финляндии, русификацию, введение воинской повинности и массовые отказы от нее.

С горечью и негодованием писал об этом Толстой в статье «Не могу молчать» (1908): «...годами... говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских...». Жесткая политика правительства в отношении Финляндии «быстро и бойко, по-герценовски, по журнальному» не раз предавалась огласке на страницах бесцензурных заграничных толстовских изданий «Свободного слова».

От имени финской общественности Эрнефельт неоднократно обращался к Толстому с просьбой высказаться в печати относительно притеснительных мер русского правительства: финские политические деятели просили Эрнефельта убедить Толстого выступить против отделения Выборгской губернии от Финляндии; в 1908 году общество было взволновано указом, по которому полномочия по рассмотрению законопроектов в финском княжестве перешли от премьер-министра Финляндии к Совету министров Российской империи.

В начале 1908 года Толстой писал Эрнефельту: «Что же касается письма ваших журналистов, то я никак не могу знать никакой Финляндии, так же как не знаю и не могу знать никакой России. Знаю я людей, живущих в разных местах земного шара, более или менее близких мне, никак не потому, что они по странному заблуждению считают себя поданными такого или иного правительства и привыкли говорить на том или ином языке, а потому, насколько мы соединены с ними одним и тем же пониманием жизни и взаимной любовью, вытекающей из такого понимания».

Далее, имея в виду, видимо, убийство финляндского генерал-губернатора Бобрикова, Толстой утверждал: «Нет никакого

условия жизни, при котором люди... могли бы совершать такие ужасные преступления, как те, которые совершаются во имя патриотизма. Понимаю я, что угнетенные народности, как польская, финляндская, могут особенно легко поддаваться этому страшному искушению, но все-таки не могу без жалости думать о людях, которые поддаются ему. Вот все, что я могу сказать им»¹².

Писатель размышлял над «финским вопросом» с чувством вины за столыпинскую политику. «Вряд ли, – говорил Толстой, – найдется финн, который бы так страдал за Финляндию, как я».

В связи с финским вопросом Толстой размышлял о национальных проблемах, о патриотизме; важные замечания писателя зафиксированы Д. П. Маковицким: 20 июня 1908 года – «Л. Н. стал говорить о том, как теперь во всем мире (в России поляки, прибалтийские, финляндцы, кавказские народы, английская Индия, французский Тонкин и т. д.), захваченные чужими государствами, желают освободиться: “Дайте нам жить, как мы хотим”. После бесчисленных насилий, совершив захват, когда народ после одного-шести лет шевелинется, это считается бунтом, и забыто, что над ним совершено так недавно насилие и что оно продолжается»; 3 ноября 1908 года – «Толстой говорил что патриотизм – это внушение суеверия; предание, не соответствующее нынешнему сознанию (русских людей). Величие России! Все выгоды его в том, что финляндцы нас ненавидят, кавказцы нас ненавидят»¹³.

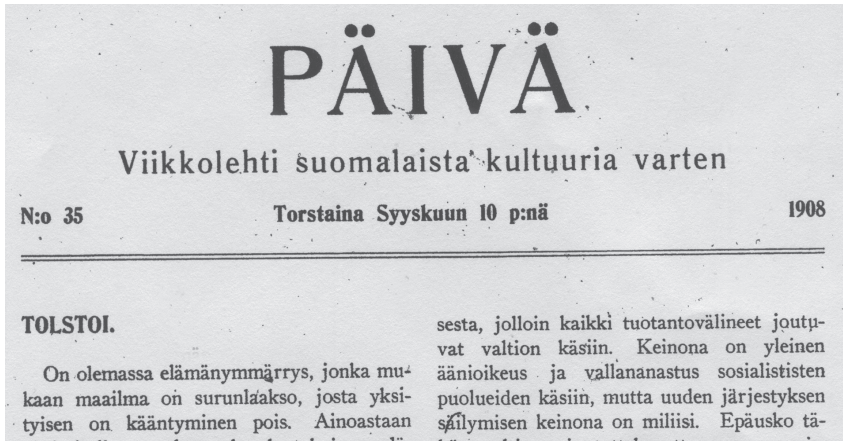
Толстой считал, что с христианской точки зрения не может быть никаких национальных – польских, финских, кавказских, еврейских – вопросов, отношение к людям не может зависеть от их национальности. «В Финляндии живут прежде всего люди, а не “финны”», – утверждал Л. Толстой. В письме Ернефельту из Гаспры в 1902 году больной писатель с горечью признавался:

¹² Толстой Л. Письмо А. Ернефельту. 1908, 28 февраля // Полн. собр. соч. : в 90 т. – Т. 78. – С. 71.

¹³ Маковицкий Д. П. Яснополянские записки. У Толстого. 1904 – 1910. – М. : Наука, 1979. – Кн. 3. – С. 120, 240.

«Я так и умру с уверенностью, что “близко, при дверях” изменение всего существующего строя от лжи и насилия к разуму и любви не только в Финляндии или России, но и во всем христианском мире»¹⁴.

К 80-летию Л. Н. Толстого на страницах финского журнала «*Paiva*»¹⁵ («День») Арвид Эрнефельт опубликовал небольшую и необычную для юбилейного жанра статью, которую сам юбиляр оценил очень высоко. «Статья Ваша, милый Арвид, – обращаясь знаменитый писатель к автору публикации, – прекрасна, и хорошо было бы напечатать ее в русской газете. Рад общению с Вами, потому что люблю и помню Вас»¹⁶.



Существует пять не-толстовских мировоззрений.

1. Церковное, по которому настоящее время и весь этот видимый мир является долиной скорби, от которой человек должен отвернуться для приобретения загробного будущего блаженства, с верой в учение церкви и повинувшись церковным

¹⁴ Толстой Л. Н. Письмо А. Эрнефельту. 1902, 14 марта // Полн. собр. соч. : в 90 т. – Т. 73. – С. 217.

¹⁵ *Paiva*. – 1908. – № 35.

¹⁶ Толстой Л. Н. Письмо А. Эрнефельту от 25 августа 1908 г. // Полн. собр. соч. : в 90 т. – Т. 78. – С. 210.

и государственным властям. Настоящее же время и мир остаются навсегда злом.

2. Мировоззрение государственное, по которому мир не только не улучшается, но впал бы в величайшие бедствия войны против всех, если бы не было государственного насилия, благодаря которому, при помощи армии и духовенства, жизнь мира доводится до той высшей возможной степени совершенства, которая проявляется в существующем общественном строе. Для достижения же загробного блаженства требуется повиновение не только государственным властям, но еще и требованиям церкви.

3. Мировоззрение так называемых «реальных политических деятелей», или «либералов», по которому существующий строй вовсе не наилучший возможный, а должен свободно развиваться в прогрессивном направлении на исторических началах. Для этого надо предоставить народу свободу развития и в то же время конституцией установить такой порядок, чтобы руководителями этого развития избирались не государственники-консерваторы, а либералы. Все веры будут терпимы. Нетерпимым будет только неверие в «конституционное» правительство, охраняемое воссозданной на новых началах армией и переустроенными тюрьмами.

4. Мировоззрение *социально-революционное*, по которому общественный строй должен измениться отнюдь не путем исторического постепенного развития, а осуществлением совершенно вымышленного идеала товарищеских отношений между людьми, выраженного в учениях социализма о переходе средств производства к государству. Потому и сам переворот будет совершаться не постепенно, сам собой, а разом, внезапным подъемом народной энергии, т. е. революцией. Приближение этого момента зависит от усиления пропаганды в народе и от перехода политической власти в руки социалистов. Власть эта будет охраняться не армией, а милицией.

Вера же или неверие дело вполне частное. Ненужное. Нужна только вера в социалистический идеал будущего. В настоящем же улучшения жизни людской не только не желательны, но прямо вредны, так как отвлекают от веры в полное улучшение порядка в будущем.

5. Мироззрение *анархическое*, по которому все зло, мешающее естественному общежитию мира, происходит от духовенства, государственников, либералов и революционеров, считающих каждый по отношению к себе необходимым достижение и удержание власти над людьми посредством организованного вооруженного насилия. Улучшение мира может произойти только уничтожением всех властителей. Средством же этого уничтожения властителей не может служить ни армия, ни милиция, так как обе обуславливаются опять-таки командующей ими властью; но уничтожение должно совершаться все возрастающим числом отдельных, никому неподвластных террористов. Религия же или нравственное чувство, запрещающее такое насилие ради будущего, ничто иное, как бред.

Вот пять *не-толстовских* мироззрений. В них замечается общая черта: противоречие между идеалом будущего и средствами осуществления этого идеала в настоящем. Все эти средства: церковная нетерпимость, войны, борьба за власть, революция, бомбы – все они возбуждают в настоящем враждебность между людьми, то есть нечто, не приближающее к идеалу будущего, а отдаляющее от него.

По *толстовскому* же пониманию жизни, именно настоящее время есть единственная вечность, в которой люди могут найти истинно освобождающую их жизнь, и потому стремление к добрым делам в настоящем никак нельзя заменить дурными делами во имя какого бы ни было будущего. И потому для свободной жизни в настоящем необходимо отказаться не только от употребления всякой власти над людьми, но и от повиновения всем таким повелениям властителей, которые во имя будущего требуют от человека дел, сейчас возбуждающих

между людьми враждебность. Мир же улучшается только по мере просветления в людях этой истины.

Таким образом, толстовское жизнепонимание является единственным, в котором цель совпадает со средствами. И именно благодаря этому совпадению оно и является для человечества религией...

1908 г.

Печатается по: Эрнефельт А. Мое пробуждение (Исповедь) / пер. с финск. Е. К. Эрнефельт (матери писателя). – М., 1921. – С. 30 – 32.

*Вступительная статья,
публикация и примечания Ю. В. Аникеева,
студента IV курса международного отделения
факультета журналистики МГУ*

Толстой, как богослов

Антон Владимирович Карташев (1875 – 1960) – известный богослов, историк церкви, общественный деятель, публицист – занимает особое место среди деятелей русского религиозного возрождения начала XX века. Выпускник Санкт-Петербургской Духовной академии, в 1900-х годах – доцент, затем профессор кафедры истории русской церкви. В 1917 году – последний обер-прокурор Священного Синода, внесший законопроект новой формы государственной связи с церковью. Считая, что «неприлично было сохранять старую должность и старое имя “обер-прокурора” – символа 200-летнего “пленения” церкви государством»¹, он упразднил эту должность, стал министром вероисповеданий Временного правительства, членом Поместного Собора 1917–1918 годов. В эмиграции с 1919 года – один из основателей и профессоров Свято-Сергиевского Богословского института в Париже (1925 – 1960).

Его предками были крестьяне-туляки, вывезенные на Урал. Он блестяще закончил Пермскую духовную семинарию², и по окончании ее в 1894 году был послан на казенный счет для обучения в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, где ему предстояла профессорская карьера: после успешной защиты работы «Славянские переводы творений св. Иоанна Златоуста»

¹ *Карташев А. Революция и Собор 1917 – 18 гг. // Альфа и омега. – 1995. – № 3 (6). – С. 105.*

² В конце XIX в. Пермь была одним из духовных центров Урала и Сибири. Здесь находились 19 церквей, монастырь, духовная семинария, православное братство св. Стефана Пермского, Пермский епархиальный комитет.

Карташев был оставлен при кафедре истории русской церкви, получил звание доцента.

С 1903 года он публикуется в журнале академии «Христианское чтение», еженедельнике «Церковный вестник»; откликаясь на остроту поставленных в это время церковных проблем, печатает в журнале «Новый путь» (под псевдонимами: Уральский, Романский) статьи по вопросам церковной истории и по общественно-политическим проблемам, выступая в духе церковного реформаторства.

Выступления молодого ученого во внецерковной прессе не остались без внимания Синода, и ректор академии Сергей (Страгородский) предложил ему или оставить публичную деятельность, или покинуть академию. Карташев предпочел общественную деятельность и стал уже открыто публиковаться в газетах «Слово», «Русское слово», «Речь», «Страна». Одно время он участвовал в издании газеты «Вестник жизни». В печати он живо отзывается на все жгучие темы современной церковности.

Ревнитель истинного служения церкви, Карташев открыто говорил о церковной политике государства. В это время им изданы работы, заложившие основу его будущей фундаментальной «Истории русской церкви»: «Краткий историко-критический очерк систематической обработки русской церковной истории» (С.-Петербург, 1903); «Русская церковь в 1904 г.» (С.-Петербург, 1905); «Русская церковь в 1905 г.» (С.-Петербург, 1906).

К тридцати годам Карташев становится известным ученым, преподавателем, общественным деятелем. Ему уже становятся тесны узкоконфессиональные рамки богословия, и он активно включается в водоворот общественной борьбы.

Начало XX века отличалось широким интересом интеллигенции к проблемам русской церкви, среди русской интеллигенции возникло яркое религиозно-философское движение.

В столицах и крупных городах России были созданы религиозно-философские собрания, братства, общества, вызванные к жизни возрастающим вниманием русского общества к религиозным темам. Здесь шел живой обмен мыслями по вопросам веры, о раз-

общенности духовенства и мирян, духовной и светской печати. Религиозно-философские собрания всколыхнули богословскую мысль.

Среди участников возникших накануне первой русской революции религиозно-философских собраний в Петербурге был А. В. Карташев.

З. Гиппиус записала в дневнике: «Из всех заметнее был Карташев, умный, странноватый, говорливый на собраниях: сразу как будто из того лагеря перешедший в наш, в наши мысли»³. Позже он стал инициатором и председателем Петербургского философско-религиозного общества (1907–1917).

Поиски путей обновления церковной жизни сблизили его с кружком Д. С. Мережковского, с В. П. Свенцицким и В. Ф. Эрном, составлявшими ядро образованного ими «Христианского братства борьбы».

Встречу духовенства и интеллигенции, попытку открытой дискуссии представителей церкви и литераторов поддерживали церковные иерархи: Антоний (Вадковский), чья подпись как «первейшего члена Синода» первой стояла среди подписавших «Определение» Синода о Л. Толстом; Антоний (Храповицкий), считающийся «виновником отлучения» Толстого; и Сергей (Страгородский)⁴, тогда молодой сорокалетний ректор Санкт-Петербургской Духовной академии. В конце 1890-х – начале 1900-х годов Антоний (Храповицкий) и архиепископ Сергей (Страгородский) были единомышленниками, ближайшими сподвижниками митрополита Антония (Вадковского). «Лучший из русских архиереев», – так отзывался о своем близком друге архиепископ Антоний (Храповицкий). Но через двадцать лет они окажутся непримиримыми противниками – возглавят две основные Русские Православные церковные юрисдикции: Антоний (Храповицкий) с 1921 года до конца жизни возглавлял Русскую зарубежную православную церковь, Сергей (Страгородский) с 1927 года – Русскую православную церковь как

³ Гиппиус З. Н. Дневники. – М., 1999. – Т. 1. – С. 76.

⁴ См.: Карташев А. В. Мои ранние встречи с о. Сергием // Православная мысль. – Париж, 1951. – Сб. 8.

Местоблюститель Патриаршего Престола, в 1943 году как Патриарх.

На повестке дня стояли главные вопросы – реформирование церкви, активное включение ее в общественно-политическую жизнь. Звучали размышления о том, что такое неискаженная, настоящая церковь и настоящее общество: «В наших врачах, курсистках, студентах, шедших в голодный год на служение ближнему – была бессознательная “религиозность”, поскольку верны они были истинной любви к “земле”», и, как отметил Д. Философов, «вера в Бога была у них подменена верой в прогресс, цивилизацию, в категорический императив».

В дискуссиях об отношении церкви и интеллигенции активно участвовал А. В. Карташов. Он предлагал держаться «в своем словоупотреблении» широкого «всеобъемлющего мистического понятия Церкви как о теле Христовом», и тогда, утверждал он, может быть решен главный вопрос дебатов – вопрос о разделении интеллигенции и церкви: «Мне кажется, что понятие Церкви намеренно брали в узком смысле официальных представителей церкви и церковного ведомства, прошедших духовную школу и богословствующих в ее духе».

Наиболее актуальной в начале 1900-х годов была тема «Лев Толстой и русская церковь», особенно в свете потрясшего русское общество «Определения» Синода в феврале 1901 года об «отпадении графа Л. Толстого от церкви», воспринятого как отлучение. По замечанию Н. Бердяева, «отлучение это не церковного, а светского происхождения... Тот, кто защищает отлучение, попадает в двусмысленное положение, ибо вынужден защищать мероприятия нынешней церкви, за которой стоят Победоносцев и бюрократия»⁵.

И надо отметить, что до сих пор, по словам писателя А. Варламова, это событие остается «болевой точкой XX века», эта тема до сих пор «будоражит общество», – утверждает по-

⁵ Бердяев Н. Письма из России. Самодержавие и православие // Освобождение. – 1902. – № 6, 2 (15) сентября.

литик Вл. Рыжков⁶, об этом свидетельствуют многие публикации последних лет⁷.

И сто лет назад, на пороге двадцатого столетия, слова в защиту Л. Толстого звучали преимущественно из уст журналистов: редактора «Журнала для всех» В. Миролубова, утверждавшего, что «Л. Н. Толстой – истинно религиозный человек», что он приводил «к религии нерелигиозных русских людей-интеллигентов»; публициста «Вестника Европы» К. К. Арсеньева; сотрудника «Русского слова», священника Григория Петрова; секретаря «Нового пути» Е. А. Егорова, заявившего, что постановление Синода об отпадении Толстого от церкви имеет лишь «значение богословского мнения иерархов»⁸.

В устных и печатных выступлениях преобладала резкая антитолстовская позиция. Лишь некоторые представители церкви – и среди них А. В. Карташев – утверждали, что «Синод, конечно, не настоящий собор», что Достоевский уже говорил о «параличе» русской церкви. И Карташевым был задан вопрос: «Насколько отклик русской церкви на учение Л. Толстого стоит в связи с указанным Достоевским явлением?».

Участвуя в церковно-общественной и политической деятельности, Карташев стремился начертать программу взаимоотношений между церковью и государством. Им написано много острых статей на злободневные темы. И его статьи о Л. Толстом (см. также статью 1912 г.) написаны пером ученого-богослова, и публициста.

⁶ Эхо Москвы. – 2008, 14 апреля.

⁷ См.: Сараскина Л. Неверие и недоверие как этапы духовного поиска русских писателей XIX века : материалы конференции «Лев Толстой и Русская православная церковь», март 2006 г. (Причины конфликта Л. Н. Толстого с Русской православной церковью) // Яснополянский сборник. – 2008. – С. 343 – 365; Вернуть нельзя помиловать. Сто пять лет назад Льва Толстого отлучили от православной церкви // Российская газета. – 2006. – № 4010, 3 марта. (О встрече в Ясной Поляне представителей Русской православной церкви с историками литературы и писателями).

⁸ Записки Петербургских религиозно-философских собраний. – СПб., 1906. – С. 74.

Опубликованная в 1908 году в газете «Речь»⁹ статья «Лев Толстой, как богослов», написана молодым тридцатитрехлетним ученым, вовлеченным в бурную предреволюционную эпоху, когда наметилось стремление к сближению интеллигенции и церковных деятелей.

А. В. Карташеву предстояло в статье учесть «политику момента», контекст эпохи, дать оценку «религиозных писаний Толстого в настоящий момент».

Богослов-публицист ясно сознает трудность поставленной перед ним задачи: «С одной стороны, громы православной церкви на... дерзающего помянуть добрым словом религиозную деятельность великого писателя», а с другой – необходимость похвалы юбиляру.

«Политика момента» заключалась в важнейших политических и духовных вопросах, горячо обсуждавшихся на заседаниях религиозно-философских собраний и обществ. Отсюда полемическая заостренность статьи: «Пора перестать себя обманывать» или «это чистой воды миф, придуманный трусливыми ревнителями церковного авторитета для прикрытия зияющей пропасти их сознания между правдой церкви и правдой жизни».

Статья написана на злобу дня публицистом-богословом, жаждущим живых перемен в жизни церкви, когда, по его словам, «все молодое и талантливое устремилось на создание богословия, связанного с жизнью и нравственностью».

Рассматривая отношения Льва Николаевича Толстого и церкви, неправоту церкви Карташев видит «в подозрительной непоследовательности» и задает вопрос, до сих пор волнующий многих: почему церковь подняла голос именно на Толстого, а не на «множество представителей русского общества – ученых, писателей, общественных деятелей, прямо или косвенно разрушающих мировоззрение церкви?». И категорично заявляет: «Отлучать или всех, или никого».

⁹ «Речь» – ежедневная газета, центральный орган партии кадетов; выходила в Петербурге (8 марта 1906 г. – 28 ноября 1917 г.) под фактической редакцией П. Н. Милюкова и И. В. Гессена, при ближайшем участии М. М. Винавера, П. Д. Долгорукова, П. Б. Струве и др.

По мнению Карташева, Лев Толстой – великий богоискатель. Даже «отверженный церковью», – утверждает церковный публицист, «Толстой провел неизгладимую борозду в сознании не только отдельных богословов, но и в истории русского богословия вообще».

Главную заслугу Толстого критик видит в том, что писатель проповедует учение Христа по всему миру, и «служение в этом направлении громадно».

«По смелому почину Толстого, слова “Бог” и “Христос”, – продолжает он, – перестали быть запретными для русского интеллигента, а отчасти и в целом мире», ибо «слава Евангелия от этого только умножалась».

Эти слова признания А. В. Карташовым-богословом огромного значения толстовской религиозной проповеди очень много значат и сегодня для понимания духовного пути Льва Толстого.

С традиционной церковной же точки зрения (и православного литературоведения), утверждалось, что «исключительные дары, присущие Толстому, сказались положительно лишь в его художественном творчестве. А во всех иных областях – разрушал»; еще более категорично мнение Г. Флоровского: «Толстой был религиозно бездарен»¹⁰.

В статье А. В. Карташева, как и в ряде статей светских и церковных публицистов – С. Франка, Н. Бердяева, В. Свенцицкого, В. Экземплярского – было отмечено положительное значение религиозно-нравственной проповеди Льва Толстого. Характерна статья В. Свенцицкого, утверждавшего, что «в области религиозного сознания заслуга и значение Толстого в том, он в XX веке, образованный и гениальный человек, заявил перед лицом всего человечества, что не только религия не отошла в область предания, но что она одна только и может дать действительное знание человеку»¹¹.

Это свидетельство того, что диалог с Толстым мог состояться; путь к нему открыт и сегодня.

¹⁰ Флоровский Г. Пути русского богословия. – М., 1988. – С. 404.

¹¹ Свенцицкий В. Положительное значение Льва Толстого // Живая жизнь. – 1908. – № 34.



Редко выпадает на долю публицистики столь трудная задача, как оценка религиозных писаний Толстого в настоящий момент. С одной стороны, – громы православной церкви на всякого, причисляющего себя к ней и дерзающего помянуть добрым словом религиозную деятельность великого писателя, с другой – юбилейная обстановка, грозящая признать неуместным все, что не звучит одной похвалой герою дня.

Насколько общепризнанным может считаться второе затруднение, настолько же первое покажется очень многим сомнительным. Принято думать, что голос Синода не выражает голоса церкви, и синодальная декларация не должна задевать совести верующего сына церкви. Пора перестать себя обманывать. «Соборный голос православной церкви», которого мы не знаем и который будто бы скажет что-то новое сравнительно с тем, что было изготовлено в Киеве и раздалось во всеуслышанье с Сенатской площади, – это чистой воды миф, придуманный трусливыми ревнителями церковного авторитета для прикрытия зияющей пропасти их сознания между правдой церкви и правдой жизни. «Вот приедет барин – барин нас рассудит». Но барин-собор что-то не едет, а если какими-нибудь судьбами и нагрянет, то, конечно, рассудит не иначе, чем его верный приказчик – Синод. Ведь критерий церкви в догме, канонах и быте, руководящий дух ее в течение двух тысячелетий уяснился почти с математической точностью. Особенно в таком ярком случае, как отношение к Толстому, для церкви не

могло быть никаких колебаний. Тому, кто активно отрицает ее в корне, она должна сказать свое: «анафема». Это даже не право ее, а обязанность. Всякий уважающий себя институт исключает из своего состава видных и деятельных своих противников. Не в этом неправота отлучения Толстого, а в подозрительной непоследовательности церкви. Почему она вдруг подняла голос на Толстого, покрывая молчанием множество прежних и настоящих представителей русского общества – ученых, писателей, общественных деятелей, прямо или косвенно разрушающих мировоззрение церкви? Отлучать или всех, или никого. Так оно и было бы, если бы церковь в этом акте была свободна от услуг политики момента. Да и что за лицемерное «духовное воздействие», когда наш церковно-политический строй не допускает категории свободных от религии, так что отлучением от церкви человек лишается паспорта и чуть не гражданского бытия? Какая уж тут «духовность»!..

Как бы то ни было, но Толстой отлучен именно церковью и, по разъяснительной статье еп. Сергия¹², всякий его почитатель

¹² На опубликованное 24 февраля 1901 г. в «Церковных ведомостях» (№ 8) «Определение Святейшего Синода от 21 – 22 февраля 1901 г., № 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом», в котором говорилось об отпадении Толстого от церкви, и ответ писателя на это постановление Синода, одним из первых отозвался епископ Ямбургский Сергей (Иван Николаевич Страгородский; 1867 – 1944) – выпускник, позже ректор Санкт-Петербургской Духовной академии, в 1901 г. был хиротонисан в епископа Ямбургского, в 1905 г. назначен архиепископом Финляндским и Выборгским. В 1917 г. – участник Поместного церковного собора, в 1943 – 44 гг. – Патриарх Московский и Всея Руси. В статье о «новой исповеди графа Л. Толстого» он посчитал необходимым упомянуть, что «конечная участь человека зависит не от клочка писанной или печатной бумаги» и «не от самого церковного отлучения». В завершении своего отзыва епископ Сергей заметил, что Толстому «обратиться к Церкви теперь труднее, чем кому бы то ни было. Но покуда он здесь... до тех пор мы можем надеяться на милость Божию...» // Миссионерское обозрение. – 1901, 23 мая; см. в кн.: Духовная трагедия Льва Толстого. – М., 1995. – С. 96 – 102; дословно свой вывод он повторил и позже: *Сергий (Страгородский)*, епископ. По поводу «Верую» Л. Толстого. Психология его отречения // Свобода и христианство. – СПб., 1906. – Кн. 13. – С. 17.

отныне заподозревается в отсутствии веры во Христа. Что же делать? Понесем на себе крест такого подозрения в надежде, что суд людской – не Божий.

Чему обязан Толстой своей исключительной всемирной известностью? Беру на себя смелость утверждать, не приводя точных статистических данных, что едва ли не равнозначущую роль с его художественным творчеством здесь сыграла его религиозно-этическая проповедь. Разумею демократический характер известности Толстого. Если изящные творения русского писателя составляют прежде всего предмет единственного интереса для наиболее просвещенных слоев общества, то среди широких народных масс различных стран света – его знают и чтут почти исключительно, как религиозного учителя жизни.

Вся вековая тоска русской души о правде Божьей, о праведной земле, о братолюбии и жалости как будто накопилась в груди великого богоискателя и пролилась в мир в покаянных, обличительных и полемических писаниях удивительной моральной мощи. Самые простые, элементарные правила евангельской морали, самые известные притчи из церковно-учительской литературы и народной мудрости в обработке Толстого превращаются в бичи и скорпионы для нашей лукавой совести. С какой-то особенной жгучей и соблазнительной властью врываются в душу призывы Толстого к нравственному героизму. Недаром бежали и бегут люди самых разнообразных положений на опыты новой жизни по внушениям русского мудреца. Его религиозный голос потрясает сердца, как потрясало встарь, по рассказам житий, будущих подвижников случайно услышанное евангельское изречение: «Если кто хочет за Мною идти, да отвергнется себя»¹³ и в единый миг отрешало от всех мирских связей. Тут секрет пророка, пламенеющего в сердце своем, и, вероятно, художника, как бы по внешности ни были грубы и неуклюжи специфически-религиозные писания Толстого. Я помню, какое подавляющее впечатление произвело

¹³ «Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» – Евангелие от Матфея. – Гл. 16 : 24.

на меня «Царство Божие внутри нас», как глубоко ранила и растравила мою совесть, от колыбели связанную с образом церковного Христа, эта заграничная книжка. И читал я ее не наивным мальчиком, а по окончании высшей богословской школы, после давних знакомств со всякими родами критики церкви и христианства. С нескрываемой краской стыда приходилось сознаться, что ни одно из произведений церковной литературы, древней и новой, не могло так обнажить пред моим сознанием горькой истины евангельских слов: «что мне говорите: Господи, Господи! и не делаете того, что Я говорю». Над совестью моей надолго отяготела суровая длань морального гения. Я понял после этого, почему некоторые из наших ученых богословов так глубоко (разумеется, втайне) чтут Л. Н. Толстого и всю свою деятельность направляют к тому, чтобы в формах традиционной церковности воскресить забытую культом и почти забытую евангельскую мораль. Но, увы, без благородной откровенности и резкой прямоты это занятие бесплодное. Плетью обуха не перебить.

Отверженец церкви провел неизгладимую борозду в сознании не только отдельных богословов, но и в истории русского богословия вообще. До 80-х годов прошлого столетия еще возможна была затрата ума и ученых дарований на созидание таких мертвых кирпичей, какими являются два тома догматического богословия митроп Макария, подвергнутых столь гневному и желчному разбору Л. Н. Толстым¹⁴.

¹⁴ Митрополит Макарий (Булгаков Михаил Петрович, 1816 – 1882) – богослов и церковный историк, автор монументальных трудов – «Догматическое богословие», «История Русской Церкви». Толстой написал в начале 1880-х гг. «Исследование догматического богословия» (изд. в Женеве, ч. 1 в 1891 г., ч. 2 в 1896 г.; в России впервые в 1908 г.), содержащее разбор православно-догматического богословия митрополита Макария, которое, по признанию писателя, он выучил «как хороший семинарист». В статье «Созидающий и разрушающий миры» (1908) Л. Шестов заметил: «Толстой напал на церковь с тою же яростью, с какой он в свое время нападал на Наполеона... Как хватило у Толстого терпенья и охоты так подробно, слово за словом, разбирать двухтомное сочинение московского митрополита Макария». Между тем известно, что А. С. Хомяков называл труд Макария «позором для русского богословия».

Равным образом только до этого времени могли воспитываться в лоне православия ученые противники Толстого, каким был покойный казанский профессор А. Ф. Гусев, всю жизнь истративший на антитолстовскую полемику¹⁵, этот истинный Дон-Кихот старо-семинарской схоластики, фетишист ортодоксальной словесности, полагавший принадлежность к церкви и надежду на вечное спасение в зависимости от принятия или неприятия усвоенной им бурсацко-богословской терминологии. Толстой безвозвратно выявил всю карикатурность и преступность такого сорта церковного учительства. Отныне в русской церкви прежний тип холодно-казуистической догматики стал наивным провинциализмом, а все молодое и талантливое устремилось на создание богословия, связанного с жизнью и нравственностью. И вождем этой новой богословской школы явился никто другой, как один из деятельных виновников отлучительных актов Синода против Толстого, известный арп. Антоний Волинский¹⁶.

¹⁵ Гусев Александр Федорович (1842 – 1904) – богослов, профессор Казанской духовной академии по кафедре апологетики, автор многочисленных критических трудов о Л. Толстом. На протяжении 1886 г. и затем в 1889 и 1890 гг. печатались: «Исповедь гр. Л. Н. Толстого и его мнимо-новая вера» («Православное обозрение»); «Необходимость внешнего богопочтения (против Л. Н. Толстого)» (Казань, 1890); «О браке и о безбрачии. Против “Крейцеровой сонаты” и “Послесловия” к ней гр. Л. Н. Толстого» («Православный собеседник», 1891, № 3; отд. изд.: Казань, 1892; 1901); «Любовь к людям в учении гр. Л. Н. Толстого и его руководителей» («Православный собеседник», 1891, № 3; «Благовест», 1892, № 3; отд. изд.: Казань, 1892). В Яснополянской библиотеке находятся две его книги, направленные против толстовского учения: «Основные “религиозные” начала графа Л. Толстого. Апологетическое сочинение» (Казань, тип. Имп. ун-та 1893) и «О сущности религиозно-нравственного учения Л. Н. Толстого» (Казань, 1902).

¹⁶ Антоний (Храповицкий Алексей Павлович; 1863 – 1936) – церковный деятель, публицист, богослов. С 1890 г. – архимандрит и ректор Петербургской Духовной семинарии, затем Московской Духовной академии; с 1902 г. архиепископ Волинский. Автор трудов: «Нравственный смысл основных христианских догматов» (Вышний Волочек, 1906); «Слово на благодарственном молебне после выборов в Третью государственную думу» («Волинские Епархиальные Ведомости», 1907).

Я своими ушами однажды слышал, как он призывал духовную молодежь принять к сведению урок Толстого. «Лев Н-ч обличает нас в том, что мы угощаем всех бесконечными догматами да обрядами, а нравственность забыли. И он воистину прав. Ни к чему все это, если не ведет к нравственности и деятельной святости. Нам надо вскрыть нравственный смысл всех решительно догматов и всего религиозного типикона. Я в этом направлении уже нечто сделал». И он сослался на ряд своих статей. Происходила эта беседа в квартире еп. Сергия, того самого, сердечно любимого мною иерарха, который на днях в «Колоколе» назвал отступниками от веры Христовой всех участников сегодняшнего юбилея¹⁷. Еп. Сергей, самый даровитый последователь богословского направления архиеп. Антония, слушал тогда слова последнего в молчании, полном согласия – Петр Великий с царственным благородством поднимал кубок за своих «учителей» – шведов,

В своих трудах и воскресных проповедях он много внимания уделял разбору религиозных взглядов Л. Н. Толстого: центральная статья «Беседы о превосходстве православного понимания Евангелия сравнительно с учением Толстого», открывающая сборник «Нравственное учение в сочинении Толстого: “Царствие Божие внутри вас” пред судом учения Христова» (неск. изд.). В марте 1892 г. он посетил в Москве Л. Н. Толстого, позже сообщил через Н. Я. Грота, что Толстого собираются отлучить от церкви.

¹⁷ 23 августа 1908 г. Синод выступил с разъяснениями по поводу юбилея Толстого, где особо подчеркивалось, что все, кто выражает в эти дни сочувствие Толстому, «причисляют себя к его единомышленникам, делаются соучастниками его деятельности и привлекают на свою голову общую с ним, тяжкую перед Богом, ответственность». Архиепископ Сергей (Страгородский) в статье «Как православный христианин должен отнестись к предстоящему чествованию графа Толстого?» призывал верующих не участвовать в чествовании «известного художника слова» вместе «с явными и тайными врагами нашей Церкви», а молиться, чтобы «Господь... обратил его на путь покаяния и дал ему умереть в мире с Церковью, под покровом ее молитв и благословения». «Как бы ни была велика наша национальная гордость писателем Толстого, – заключил Сергей (Страгородский), – мы никогда не должны забывать наших обязанностей по отношению к нему просто, как к человеку, жизнь которого не может закончиться на земле...».

жестоко бивших его под Нарвой. Не думаю, чтобы еп. Сергий и Антоний взяли на душу грех, подражая сегодня примеру Петра...

Велик и прекрасен Толстой в его признаваемой даже противниками пророческой ревности о нравственном учении Христа, но золото ревности, к сожалению, часто тускнеет и обволакивается копотью в его писаниях последнего периода. Богословские сочинения Толстого не без намерения неуклюжи, и грубы по языку, несдержанны и желчны по тону и, увы, ненаучны по методу и содержанию. Коренная причина тому лежит где-то глубоко в укладе личности писателя и налагает на его религиозную фигуру трагический отпечаток.

Начиная с «Исповеди» мы видим у Толстого решительный поворот к опрощению в языке. Потрясенный в критический период своей жизни глубиной веры народной, найдя в ней то, что не могли ему дать философия и наука, русский граф естественно впал в стиль мужицкой простоты и прямоты. Благодаря этому мужицкому заступу, он смог откинуть в сторону целые пласты ходячей лжи всех категорий, но орудие оказалось не слишком тонким для обращения с ценностями человеческого духа и культуры. В частности, масса цветов и непреходящих созданий религиозного творчества была безжалостно растоптана и искалечена. Слово не пустой патрон, а организм с плотью и кровью. Переряживанье религиозных идей в грубые одежды обличительных слов – то же, что выплескиванье из ванны ребенка вместе с водой. Казалось бы, что худого в том, что строгий искатель истины, рассуждая о предметах веры, «резал правду-матку по-мужицки, напрямик», – между тем от этого печать не внешней, а внутренней некрасивости, т. е. неправдивости, черным минусом тянется по всем религиозным произведениям Толстого. Его завоевания достигнуты с большим уроном...

Кирка и заступ жестких слов, взятые Толстым для отрыванья дорогих ему евангельских жемчужин из груды исторических извращений и теологического мусора, по-человечески нам совершенно понятны. Ведь приходилось проделывать

черную работу, разбираться в богословских словосочетаниях. За одно это можно многое простить. «Я думал идти к Богу, – говорит Толстой, – и залез в какое-то смрадное болото, вызывающее во мне только те самые чувства, которых я боюсь более всего: отвращения, злобы и негодования». «Серьезный научный тон при разборе этих книг был невозможен». И Толстой в критике Макария не скупится на жестокие слова. Однако нельзя не пожалеть, что единоборство с богословами соблазнило Толстого взять тон желчной и неприятной полемики. Не может укрыться от внимательного читателя и то обстоятельство, что гнев Юпитера далеко не всегда свидетельствуют о его правоте и что не все дано ему понимать.

Особенно ярко обнаруживает свои невыгодные стороны метод опрощения Толстого в положительном опыте толкования Евангелий и других памятников первохристианства. Если национализм гения заключается в разделении со своим народом и недостатков последнего, то здесь Толстой понес на себе уродство нашей ненаучности и уверенной в себе самодельщины. Задавшись целью вскрыть основной смысл Христова учения, он предварительно отверг оба представлявшихся ему пути: путь традиционно-церковного понимания и путь историко-критического изучения. Толстой решил просто извлечь из памятников священной для христиан письменности поразившее его высотой и правдой учение о жизни, как он его понимает. Но в естественном желании доказать, что это понимание тождественно с первоначальным чистым пониманием евангельской проповеди, Толстой обращается к греческому тексту Евангелий, пускается в ответственную область экзегетики¹⁸, т. е. незаметно вступает на путь историко-критический, не пользуясь в то же время всеми его богатыми средствами. И в результате – крайне неизящная и нестерпимая для научного вкуса помеся перлов здравомыслия с непростительным попранием исторической правды.

¹⁸ Экзегетика, экзегеза (др.-греч. *ξηγητικ*, от *ξηγησις* (истолкование, изложение) – раздел богословия, в котором истолковываются библейские тексты.

Не говорим уже о том, что для Толстого писатель Екклезиаста – Соломон, 4-го Евангелия – «Иоанн Богослов», посланий к евреям – ап. Павел и т. п. Все это несущественные, хотя и характерные мелочи. Но когда *monogenês* переводится словом «однородный», *doksa* – учение, *plêrôma* – выполнение, *charis* – богоугождение, *logos* (абсолютно ясный платонически-стоический и гностический *logos*!) – словами «разумение жизни», – тогда всякий перевод становится возможным, тогда ссылка на оригинальный текст превращается в мираж, наводящий на грустные размышления. Если Толстому при таком методе еще легче справиться с непонятными для него деталями исторического Иисуса из Назарета первых трех Евангелий, то все содержание 4-го Евангелия под его пером превращается до неузнаваемости, причем даже совершенно необразованный человек вправе спросить себя, нормален ли был писатель Иоаннова Евангелия, если он хотел сказать одно, а из-под пера его лилось совсем другое.

Так же невозможно-произволен у Толстого перевод «Учения 12 апостолов» и превратны его представления о первохристианстве в его же «Разрушении ада». Словом, антиисторичность и ненаучность оболочки религиозных писаний Толстого есть громадный дефект, ослабляющий силу его христианизующей проповеди в наше время демократизации и популяризации науки. Вот почему какая-либо популярная, но подлинно-научная серия религиозно-исторических книжек (напр. Schiele «Religionsgeschichtliche Volksbücher»¹⁹) с успехом будет побивать влияние Толстого среди масс, вкусивших школьного просвещения.

Но хорошо ли, худо ли Толстой проповедует по всему миру Христово учение – его служение в этом направлении громадно. В наш век эмансипации от положительных религий он является проповедником новой и свободной отданности Евангелию Иисуса. По смелому почину Толстого слова «Бог» и «Христос» перестали быть запретными для русского интеллигента, а отчасти и в целом мире. Другим религии, и в

¹⁹ Шиле. «Народная книга по истории религий». – Нем.

частности христианской, можно только радоваться, как радовался апостол Павел, сообщая филиппийцам из-под ареста в Риме, что там, с его появлением, пошла молва о Христе, и некоторые проповедовали о Христе «с добрым расположением», а другие «по зависти и любопрению»²⁰, но слава Евангелия от этого только умножалась...

Речь. – 1908, 28 августа

*Вступительная статья,
публикация и примечания **И. В. Петровицкой**,
старшего преподавателя кафедры истории русской литературы
и журналистики факультета журналистики МГУ*

²⁰ «Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». – Послание к Филиппийцам св. апостола Павла (Глава 1 : 12 – 15).

Л. Троцкий

Лев Толстой

Разбор Л. Троцким политической позиции, нравственного учения и художественных свершений Льва Толстого содержится в двух его дореволюционных работах – статье «Лев Толстой»¹, появившейся в связи с 80-летием писателя, и опубликованной как некролог статье «Толстой» в венской газете «Правда» в 1910 году.

Несколько забегаая вперед, скажем, что в них неожиданно произошло соединение самых крайних точек зрения, бытовавших в марксистской критике тех лет: и вульгарно-социологическое закрепление за Толстым аристократической принадлежности, будто бы определяющей все им написанное, и осознание значительности его нравственных поисков и личной независимости в данной исторической обстановке.

Рассуждая об основах мировоззрения писателя, Троцкий присоединился к тому крайнему взгляду, который получил распространение главным образом в поздненароднической критике, но был оснащен марксистской терминологией классово-борьбы. Согласно этим представлениям барский аристократизм Толстого никогда не был поколеблен, он остался неизменным и после произошедшего духовного кризиса. Об этом идет речь в первой статье, основная цель которой доказать, что опрощение Толстого было не чем иным, как попыткой оправдать свои исконные классовые симпатии. Троцкий следующим образом характеризует этот процесс: «тайное, подпочвенное пробивает свою кору и переходит в сферу сознания». Здесь Троцкий про-

¹ Neue Zeit. – 1908. – № 9.

читывает намерения писателя прямо «по-шулятиковски»². С точки зрения В. Шулятикова, пером, в данном случае «мозгами», писателя управляют исключительно классовые интересы, но при этом они столь изоцирэнны, что избирают форму, нужную для отвода глаз несведущих читателей, находят всевозможные прикрития для своих хищнических инстинктов!

По логике Троцкого, Толстой вынужден был на определенном этапе стать философом-моралистом, оправдывающим крестьянский мир, придя, таким образом, на помощь Толстому-художнику, ранее не скрывавшему своего восхищения гармонически размеренным устройством патриархальной жизни, но в силу исторических перемен утратившему «непосредственный объект своего художественного творчества» – «ту самую каратаевщину», которая поддерживалась в начале XIX века каторжной зависимостью от власти земли, кропотливым трудом и необходимостью подчинения природе. Троцкий настаивает именно на психологической неразрывной связи писателя со своим классом, считая, однако, что некоторые, в принципе незначительные отклонения, не затрагивающие глубинных пластов психики, все же имели место. Троцкий убежден, что Толстой сохраняет ко всем существующим классам (рабочие, интеллигенция) барски-презрительное отношение, делая исключение лишь для помещиков и крестьян. А возникшая в позднем творчестве симпатия к революционерам есть не что иное, как желание «варьировать в новой среде... старые дворянские и крестьянские типы».

Итак, Троцкий всеми силами хочет представить Толстого дворянским писателем, способным освещать только феодальное общественное устройство. В итоге критик превращает писателя в представителя ушедшей эпохи, отделенной от современности «безвозвратным потоком всеразлучающего време-

² Шулятиков Владимир Михайлович (1872 – 1912) – критик, литературовед, переводчик, журналист, партийный публицист, вульгаризаторски истолковывавший марксизм и отстаивавший точку зрения, согласно которой художник находится в плену идеологии своего класса и механистически-запрограммированно выражает ее в своих творениях в виде символов, требующих дешифровки. Такую дешифровку может произвести только критик-марксист, владеющий теорией классовой борьбы.

ни»: ему кажется, что тот «стоит <...> как огромный, покрытый мхом скалистый обломок другого исторического мира». Кроме Троцкого, пожалуй, ни один из критиков-современников не сделал из Толстого такого доисторического ископаемого, никакими нитями не связанного с настоящим временем. При этом Троцкий целиком вписывает художника в идеологию народничества, причем самого консервативного его крыла, а в плане политическом делает его сторонником анархизма.

Под этим углом зрения он и разобрал роман-эпопею «Война и мир», увидев в нем воплощение философской и исторической концепции писателя, заключающейся в прославлении естественной природной жизни, лишенной «внутреннего самознания», но обладающей «природной духовностью», которую он определил как «моральный фатализм». Имея в виду идейные симпатии писателя, критик настаивает в связи с этим даже на художественном консерватизме его творческих принципов, намекая на некоторую устарелость приемов.

Однако, обращаясь к конкретному анализу произведений, Троцкий вынужден опровергнуть сам себя. Итак, «моральный фатализм» определяет, как ему кажется, и художественные особенности произведения писателя. Толстой сам по себе обладал – и это не может не признать критик – гениальной творческой силой, способной в «серой и бескрасочной», не заключающей в себе, на взгляд Троцкого, никакого разумного начала, жизни крестьянина узреть «сокровенную красоту». Но именно его философия вызвала к жизни своеобразный «эстетический пантеизм», разновидность «земледельческой эстетики». В результате и возник «могучий апофеоз целого, где все одухотворено внутренней необходимостью и гармонией».

Эстетику Толстого критик противопоставляет эстетике и культуре города, приверженцем и пропагандистом которых в какой-то степени был сам (и это говорит о том, что на самом деле он противопоставлял в своей эстетической системе не столько классы, сколько жизненные уклады). Стиль писателя – «спокойный, неторопливый, <...> бережливый, но не скупой, не аскетичный, мускулистый», и в этом смысле он

полная противоположность Достоевскому, который принадлежит разночинно-городской культуре. Что-то библейское, гомеровское чудится Троцкому в толстовской изобразительности. Примечательно, что, может быть, при не совсем верном прикреплении Толстого к одному-единственному социальному миру критику удалось достаточно убедительно раскрыть, если воспользоваться терминологией Г. Плеханова, «эстетический эквивалент» классово-психологии. Общинно-земледельческая культура дала в Толстом свои плоды. Конечно, в этом отношении те, кто, как В. И. Ленин, настаивали на том, что «острая ломка всех “старых устоев”... углубила интерес» Толстого «к происходящему вокруг него», или, как М. В. Морозов, были убеждены в перспективности художественных открытий Толстого, были, несомненно, гораздо ближе к истине. Но Троцкому удалось дать такие новые, свежие определения творческой манеры писателя, которые не режут слух, хотя, может, в чем-то и грешат против истины. Помимо выдающегося художественного дара Троцкий ценит в Толстом «драгоценный талант нравственного возмущения», то «несгибаемое нравственное мужество», которое заставило его порвать с «лицемерной церковью», обществом, государством и «обрело его на полное одиночество среди неисчислимых почитателей».

Естественно, высказанные положения не означают, что Троцкий принимает учение Толстого, его апелляцию к внеисторическим нравственным категориям, его непонимание и несогласие с «открытыми» марксизмом закономерностями исторической жизни. Но он твердо заявляет от имени тех, кто преследует «революционные цели» и исповедует «философию революционного переворота»: «Мы не осудим» этого писателя, – а напротив, «всегда будем помнить его». Критика как бы успокаивает мысль, что Толстого осудит сама история, «отказывающаяся ему в понимании ее революционных путей». Но еще большая, на взгляд критика-марксиста, трагедия художника и мыслителя будет заключаться в том, что его имя и его учение будут использованы самыми разнообразными течениями эпохи. За него ухватятся и либералы, и консерваторы – а это будет

означать, что оно аморфно, лишено идейного стержня! А это в глазах марксиста самый страшный грех. Чтобы хоть как-то смягчить свой приговор, Троцкий несколько раз на протяжении статьи упоминает о неприятии Толстым всех форм и идей либерализма.

В целом же можно сказать, что Троцкий «непозволительно» для критика-марксиста «снисходителен» к классовым и иным «прегрешениям» Толстого. Можно, конечно, объяснить это юбилейным характером статьи, но думается, что важную роль здесь сыграло преклонение перед нравственной позицией писателя, восставшего против «трусости» общества. В отличие от Ленина, подчеркивающего в своих статьях патриархальность, смирение и непротивление Толстого, Троцкий делает из него бунтаря, апостола и гневного пророка, которого ничто не может сокрушить и поколебать. Критик призывает ценить «нравственное мужество» писателя, которое для него равносильно художественной гениальности Толстого. Следовательно, Троцкий не противопоставляет Толстого-художника Толстому-учителю и мыслителю, а обнаруживает общее, соединяющее обе ипостаси этого человека: высочайшую нравственность, способность к твердому неприятию лицемерия и насилия, усиливающие художественный талант.

Возможно, что именно этой статье Троцкого предшествовал реферат, прочитанный им в Берне и оцененный представительницей ортодоксального марксизма Идой Аксельрод³ резко отрицательно. Вот как она писала об этом в письме Г. В. Плеханову: «Был у нас Троцкий, читал о Толстом, по-моему, очень плохой по мысли реферат. Он сравнивал Толстого и Руссо, усматривая в идеологии Толстого такую же революционность, как и в идеологии Руссо»⁴.

³ Ленин В. И. О литературе и искусстве. – М., 1986. – С. 139.

⁴ Морозов Михаил Владимирович (1868 – 1938) – критик, придерживавшийся марксистских взглядов, но обладавший тонким эстетическим чутьем. Им до революции написано несколько статей о Толстом. Подробнее см.: Михайлова М. В., Петровицкая И. В. Неизвестная статья критика-марксиста М. В. Морозова о Л. Н. Толстом // Из истории русской литературы конца XIX – начала XX века. – М., 1988. – С. 161 – 172.

Однако самому Троцкому недолго удавалось сохранять эту, в общем не присущую марксистам, глубину постижения сложных явлений. Иной ракурс рассмотрения творчества Толстого предложен Троцким в статье, написанной всего два года спустя. Здесь уже, по крайней мере по одному пункту, позиция критика более прямолинейна: всю первую часть статьи он посвящает доказательству того, что «учение Толстого – не наше учение». Кажется, что критик напрочь забыл о том восхищении нравственным подвигом писателя, которое испытывал два года назад. Теперь оказывается, что этот «апостол христианского всепрощения» ни на что другое не способен, кроме как убеждать насильников, надеясь «доводом любви – обезоружить деспотизм». И если толстовское «Не могу молчать!» еще недавно подавалось как вызов «подлейшей и преступнейшей контрреволюции», то теперь «убеждательные письма» Толстого к царю высмеиваются.

Что же произошло? Почему так резко изменился тон критика? Все дело в общественно-политической ситуации и распределении сил на революционной арене, что в это время уже становится мерилом идейных и эстетических оценок в марксистской критике. Волна защиты религиозных путей преобразования мира, хлынувшая с Капри, где возникла школа «богостроителей», видевших в религии простейший способ приобщения народа к революционной борьбе, по-настоящему испугала ортодоксальных марксистов. И Троцкий, прежде расхоронившийся с Лениным по вопросу о возможности религиозного исправления (хотя бы частично!) мира, теперь солидаризируется с ним, воспринимая необходимость борьбы с «религиозным уклоном» в рабочем движении как первейшую обязанность марксиста. И религиозные искания, а чаще сторонники учения Маркса называли их «религиозными шатаниями», не могли быть восприняты этой частью критики ни в каком виде. Идея Бога понималась ими исключительно как идея подчинения, и они предлагали прочерчивать зависимость человека как «частицы вселенной» от общих, но исключительно материалистических законов мироздания.

И Троцкий «разбивает» основной тезис учения Толстого – о непротивлении злу насилием – девизом борющегося пролетари-

ата, который в его устах звучит так: «организованное насилие меньшинства» должно быть разрушено «только организованным восстанием большинства».

Но, покончив с демонстрацией своей боевой готовности, Троцкий переходит к следующему пункту, который неожиданно возвращает нас к некоторым положениям его первой статьи. Он, как бы забыв о только что выраженной революционной решимости, начинает развивать тезис о революционизирующей сознание масс критике Толстым всех общественных устоев России. И если Ленин постоянно и настойчиво возвращал читателя к противоречиям Толстого, писал о сочетании в его учении силы и слабости, которые не позволяют его критике быть принципиальной и действенной до конца, то Троцкий эти противоречия сглаживает. В данном пункте статья этого критика примыкает к статьям «бывших социал-демократов», о которых с таким презрением писал Ленин в статье «Толстой и пролетарская борьба», называя их высказывания «ложью».

Конечно, мы не встретим у Троцкого обозначения Толстого как «учителя жизни», каковым его признали В. Базаров и М. Неведомский, но зато найдем такое высказывание: «Не будучи революционером и не стремясь к революции, Толстой питал своим гениальным словом революционную стихию, и в книге о великой буре 1905 г. Толстому будет отведена почетная глава»⁵.

⁵ Аксельрод Ида Исааковна (1872 – 1917) – литературный критик, философ (в Берне защитила докторскую диссертацию «Гете, Гердер, Гаман и Лафатер»). В эмиграции с 1893 г., где примкнула к социал-демократам (впоследствии к меньшевикам), была близка группе «Освобождение труда». Вела литературный отдел в центральном органе швейцарской с.-д. партии «Bernener Tagwacht», сотрудничала в германской с.-д. прессе («Neue Zeit», «Vorwärts», «Leipziger Volkszeitung»), где поместила ряд очерков, посвященных западноевропейским и русским писателям (Г. Келлеру, Г. Зудерману, Г. Гауптману, Н. Гоголю, Н. Некрасову, А. Чехову, Л. Андрееву, М. Горькому и др.). Выпустила брошюры: «Революционное движение в России» (на дат. яз.), «Герман Зудерман» (на нем. яз.). Печаталась в русских журналах – «Правде» (за подписью «Ида Соловейчик»), «Современной Жизни», «Возрождении», «Просвещении», «Современном Мире». Часть ее статей собрана в книге «Литературно-критические очерки» (Минск, 1923).

А ведь в это самое время Ленин утверждал, намекая на влияние Толстого, что именно метания между сознательной пролетарской дисциплиной и готовностью принять старый порядок не позволили революционной массе «довести до конца дело своего освобождения»⁶.

Троцкий же подчеркивает «непреходящее, бессмертное», «естественно» вливающееся в «социализм» начало именно в учении Толстого, а не в его художественном творчестве, которое ко времени написания последней статьи считал попросту иссякшим. По Троцкому, сила Толстого заключается в его правдивом публицистическом слове. «Правда же сама по себе обладает страшной взрывчатой силой: раз провозглашенная, она неотразимо рождает в сознании масс революционные выводы». Подчеркнув, что величайшая заслуга Толстого заключается в постановке им кардинальных вопросов современной жизни (об этом говорил и Ленин), Троцкий в последней статье закрепил свой окончательный взгляд на Толстого, сказав, что писатель «жизнью своей <...> служил делу освобождения человечества», а своей смертью – если принять во внимание волнения студентов и рабочих в связи с его кончиной – по сути, призвал к революции. Критик вывел, таким образом, идеи и личность Толстого за классово-сословные рамки, увидев в нем как феномене общечеловеческий идеал.

Различие между двумя статьями и обусловило то, что в сборнике, изданном в Москве в 1928 году под говорящим названием «Лев Толстой как столп и утверждение поповщины»⁷, появилась именно первая, а не вторая статья. На обложке красовалась цитата из Ленина «Кто утешает раба вместо того, чтобы поднимать его на восстание против рабства, – тот помогает рабовладельцам», и, конечно, под таким девизом не могла появиться «соглашательская» статья уже опального Троцкого, в которой утверждалось, что «поднимать на восстание» можно не только прямо, а и другими, не столь очевидными способами.

⁶ Архив Дома Плеханова. Фонд 1093. Оп. 3. В. 6. 12. (Письмо не датировано, приблизительно 1908 г.)

⁷ Троцкий Л. Соч.– М., 1927. – Т. 20. – С. 261.

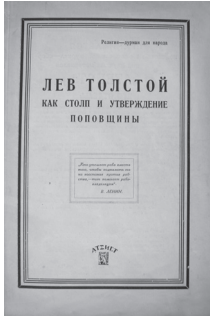
Конечно, для иллюстрации этой мысли больше подходила статья Л. Троцкого 1908 года «Лев Толстой», причем составители сборника так спешили с публикацией, что решили сделать обратный перевод этой статьи с немецкого на русский (при этом написав с ошибкой даже название немецкой газеты⁸). Об этом говорят и многие разночтения в тексте, и наличие речевых оборотов, совершенно несвойственных Троцкому. В результате – и стиль критика, и его основные идеи были даже в чем-то искажены. Этому способствовала и тщательная идеологическая редакция материала, что выразилось в возникновении заголовков, отсутствующих у Троцкого, выделении жирным шрифтом отдельных абзацев, показавшихся составителям особенно ударными, изъятии целых фрагментов статьи (например, цитаты из «Подростка» Ф. Достоевского, абзаца о помощи, оказываемой Толстым как философом-моралистом себе же как художнику). Выпущенным оказалось также окончание статьи, как раз те самые строки, где говорилось о «таланте нравственного возмущения», которым обладает Толстой, об его исторической миссии, о благодарности, которую должен питать пролетариат к его «несгибаемому нравственному мужеству».

Разброс мнений в марксистской критике по поводу учения, личности и творчества Толстого был колоссален. Впоследствии «марксистствующие» (выражение Н. Чужака) критики постарались эти разногласия сгладить, предъявив только удовлетворяющие их догматическим представлениям суждения. На самом же деле дореволюционный «марксистский приговор» не всегда был узко догматичен, не вся марксистская критика была глуха к голосу Толстого-проповедника и моралиста, а кое-что неожиданно свежее было сказано и о его писательском мастерстве.

В течение двух лет, последовавших после Первой русской революции (1908 – 1910) критики-марксисты любопытнейшим образом менялись местами и проделывали всевозможнейшие «кульбиты», приспосабливаясь к политической конъюнктуре. Ортодоксальность или непримиримость «взыгрывала» в них в

⁸ Ленин В. И. О литературе и искусстве. – С. 139.

зависимости от обстоятельств. Но самые чуткие и одаренные нередко, когда прикасались к подлинно великим художественным явлениям, неожиданно прозревали.



I

Толстой прожил свои восемьдесят лет и стоит теперь перед вами как огромный, покрытый мхом скалистый обломок другого исторического мира...

Замечательное обстоятельство! Не только Маркс, но – чтобы назвать имя из более близкой Толстому области – Генрих Гейне кажутся нам нашими сегодняшними собеседниками. А от великого современника из Ясной Поляны нас уже сейчас отделяет безвозвратный поток всеразлучающего времени.

Этому человеку было тридцать три года, когда в России отменили крепостное право. Он вырос и сложился как потомок «десяти, не забытых работой поколений», в атмосфере старого барства, среди наследственных полей, в просторном помещичьем доме, в спокойной тени дворянских липовых аллей. Традиции барства, его романтику, его поэзию, весь стиль его жизни Толстой воспринимал неотразимо, как органическую часть своего духа. Он был с первых лет сознания и остался до сегодняшнего дня *аристократом* в последних самых глубоких тайниках своего творчества – несмотря на все дальнейшие кризисы его духа.

В родовом доме князей Волконских, перешедшем в род Толстых, автор «Войны и мира» занимает простую и просто меблированную комнату, в которой висит пила, стоит коса и лежит топор. Но

в верхнем этаже того же здания, как застывшие стражи его традиций, глядят со стен родовитые предки ряда поколений. Тут символ. В душе хозяина мы найдем оба этажа – только в обратном порядке: если на верхах сознания свила себе гнездо философия опрощения и растворения в народе, то с низов, оттуда, где коренятся чувства, страсти и воля, на нас глядит длинная галерея предков.

В гневе покаяния отрекся Толстой от ложного и суетного искусства господствующих классов, которое обоготворяет их искусственно взращенные симпатии и окружает их кастовые предрассудки лестью фальшивой красоты. И что же? В своем последнем большом произведении, в «Воскресении», он в центре своего художественного внимания ставит все того же богатого и родовитого русского помещика и так же заботливо окружает его золотой паутиной аристократических связей, привычек и воспоминаний, точно вне этого «суетного» и «лживого» мира нет на свете ничего значительного и прекрасного.

Из помещичьей усадьбы ведет прямая и короткая тропа в крестьянскую избу. Толстой-поэт часто и с любовью совершал этот переход, еще прежде чем Толстой-моралист сделал из него путь спасения. На крестьянина он и после отмены крепостного права продолжает смотреть как на «своего» – как на неотъемлемую часть своего материального и душевного обихода. Из-за его несомненной «физической любви к настоящему рабочему народу», о которой говорит он сам, на нас столь же несомненно глядит его коллективный аристократический предок – только просветленный художественным гением.

Помещик и мужик – вот, в конце концов, единственные лица, которые Толстой целиком принял в святилище своего творчества. Но он никогда – ни до своего кризиса, ни после – не освобождался и не стремился освободиться от чисто барского презрения ко всем тем фигурам, которые стоят между помещиком и крестьянином или занимают свое место вне этих священных полюсов старого уклада: к немцу-управляющему, к купцу, французу-гувернеру, к врачу, к «интеллигенту» и, наконец, к фабричному рабочему с часами и цепочкой. Он никогда не чувствует потребности понять эти типы, заглянуть к ним в души, спросить об их вере, – и перед

его художественным оком они проходят как незначительные и преимущественно комические силуэты. Там, где он создает, например, образы революционеров семидесятых-восемидесятых годов («Воскресение»), он либо просто варьирует в новой среде свои старые дворянские и крестьянские типы, либо дает чисто внешние юмористически окрашенные эскизы.

К началу шестидесятых годов, когда на Россию хлынул поток новых европейских идей и, что важнее, новых социальных *отношений*, Толстой, как мы сказали, оставил позади уже треть столетия: в психологическом смысле он был совершенно законченным человеком. Вряд ли уместно упоминать, что Толстой не стал апологетом крепостного права как его близкий приятель Фет (Шеншин), помещик и тонкий лирик, в душе которого нежнейшие переживания природы и любви сочетались с преклонением перед спасительным арапником. Но Толстой проникся глубокой ненавистью к тем новым отношениям, которые шли на смену старым. «Я лично не вижу смягчения нравов, – писал он в 1861 г., – и не считаю нужным верить на слово. Я не нахожу, например, чтобы отношения фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика к крепостному»⁹. Сутолока и сумятица везде и во всем, разложение старого дворянства, распад крестьянства, общий хаос, мусор и щепы разрушения, шум и звон городской жизни, трактир и папирота в деревне, фабричная частушка вместо величавой народной песни – все это ему было отвратительно и как аристократу, и как художнику. Он психологически отвернулся от этого огромного процесса и раз и навсегда отказал ему в художественном признании. Ему не нужно было защищать крепостное рабство, чтобы всей душой оставаться на стороне тех связей, в которых он видел мудрую простоту и сумел открыть художественную законченность форм. Там жизнь воспроизводится из рода в род и из века в век во всей своей неизменности. Там над всем царит святая необходимость. Каждый шаг зависит от солнца, от дождя, от ветра, от роста травы. Там ничего нет от своего разума или от мя-

⁹ Толстой Л. Н. Прогресс и определение образования // Собр. соч.: в 22 т. Т. 16. – М., 1983. – С. 82. Троицкий ошибся: статья была написана в 1862 г. и напечатана тогда же в «Русском вестнике».

тежного личного хотения. А значит, нет и личной ответственности. Все предуготовлено, заранее оправдано и освящено. Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, человек живет только *слушаясь* – говорит замечательный поэт «власти земли», Успенский, – и это ежеминутное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует *жизнь*, не приводящую, по-видимому, ни к какому результату, но имеющую результат именно в самой себе... И, о чудо! – каторжная зависимость – без размышления и выбора – без ошибок и мук раскаяния – и создает великую нравственную *легкость* существования под суровой опекой «ржаного колоса». Микула Селянинович, крестьянский герой былинного эпоса, говорит о себе: «Меня *любит* мать – сыра земля».

Таков религиозный миф русского народничества, в течение десятилетий владевший душою русской интеллигенции. Наглухо закрытый для ее радикальных тенденций, Толстой всегда оставался самим собою и в народничестве представлял его аристократически-консервативное крыло.

Толстой отшатнулся от нового, и, чтобы художественно воссоздать русскую жизнь такую, какою он ее знал, понимал и любил, он вынужден был уйти в прошлое, к самому началу девятнадцатого века. «Война и мир» (1867–69) – высшее и непревзойденное его творение.

Безличную массовость жизни и ее светлую безответственность Толстой воплотил в своем Каратаеве, типе наименее понятном, во всяком случае, наименее близком европейскому читателю. «Жизнь Каратаева, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких, он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком... Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю ласковую к нему нежность, ни на минуту бы не огорчился разлукой с ним»¹⁰. Это та стадия, на которой, говоря словами Гегеля, дух еще не достиг внутреннего самосознания, и поэтому

¹⁰ Толстой Л. Н. Война и мир // Собр. соч. : в 22 т. Т. 7. – М., 1981. – С. 55, 56.

обнаруживается только как природная духовность. Несмотря на эпизодичность своего появления, Каратаев является философской, если не художественной, осью всего романа. Кутузов, которого Толстой превращает в национального героя, это тот же Каратаев – только в положении главнокомандующего. В противовес Наполеону он не имеет ни личных планов, ни личного честолюбия, в своей полусознательной тактике руководствуясь не разумом, а тем, что выше разума: смутным инстинктом физических условий и внушением народного духа. Царь Александр в свои светлые минуты, как и последний из его солдат, – все одинаково стоят под властью земли. В этом нравственном единстве – пафос произведения.

Как жалка в сущности эта старая Россия со своим обделенным историей дворянством – без красивого сословного прошлого, без крестовых походов, без рыцарской любви и рыцарских турниров, даже без романтических грабежей на большой дороге; как нищ внутренней красотой, как беспощадно ограблен сплошной полузоологический быт ее крестьянских масс!

Но какое чудо перевоплощения создает гений! Из сырого материала этой серой и бескрасочной жизни он извлекает ее сокровенную красоту. С гомеровским спокойствием и с гомеровским чадолюбием он всех и все одаряет своим вниманием: Кутузова, помещицью дворню, кавалерийскую лошадь, графиню-подростка, мужика, царя, вошь на солдате, старика-масона, – он никому не дает преимуществ и никого не обделяет. Шаг за шагом, черта за чертой он создаст необъятную панораму, в которой все части связаны нерасторжимой внутренней связью. В своей работе Толстой нетороплив, как жизнь, которую он рисует: страшно вымолвить – *семь раз* он переписывает свое колоссальное произведение. Может быть, самое поразительное в этом титаническом творчестве то, что художник не позволяет ни себе, ни читателю связать свои симпатии с отдельными лицами. Он никогда не показывает нам своих героев, как это делает нелюбимый им Тургенев, при бенгальском освещении или при вспышке магния, – он никогда не ищет для них выгодных положений, он ничего не скрывает, ни о чем не умалчивает. Беспокойного искателя правды Пьера Без-

ухова он показывает нам под конец самодовольным семьянином и счастливым помещиком; трогательную в своей полудетской чуткости Наташу Ростову он с божественной безжалостностью превращает в ограниченную самку с неопрытными пеленками в руках. Но в то же время из-под этой как бы бесстрастной внимательности к частям вырастает могучий апофеоз целого, где все одухотворено внутренней необходимостью и гармонией. Может быть, правильно было бы сказать, что это творчество проникнуто *эстетическим пантеизмом*, для которого нет ни прекрасного, ни отвратительного, ни большого, ни малого, потому что для него велика и прекрасна лишь вся жизнь в целом, в вечном круговороте своих явлений. Это – земледельческая эстетика, неумолимо-консервативная по своей природе, и она роднит эпопею Толстого с Пятикнижием и с Илиадой.

Две позднейшие попытки Толстого найти для наиболее ему близких психологических образов и «красивых типов» места в рамках исторического прошлого – времени Петра Первого и декабристов – разбились о враждебность художника к чужеземным влияниям, которые резко окрашивают обе эти эпохи. Но и там, где Толстой подходит ближе к нашему времени, как в «Анне Карениной» (1873), он остается внутренне чуждым воцарившейся смуте и негибаемо упорным в своем художественном консерватизме, уменьшает широту своего захвата и из всей русской жизни выделяет только уцелевшие дворянские оазисы со старым родовым домом, портретами предков и роскошными липовыми аллеями, в тени которых из поколения в поколение повторяется, не меняя своих форм, круговорот рождения, любви и смерти.

И душевную жизнь своих героев Толстой рисует так же, как и быт их родины: спокойно, неторопливо, с незатемненным взором. Он никогда не обгоняет внутреннего хода чувств, мыслей, диалога. Он никуда не спешит, и он никогда не опаздывает.

В его руках соединяются нити множества жизней, он никогда не теряется. Как неусыпный хозяин он всем частям своего огромного хозяйства ведет в голове безошибочный учет. Кажется, он только наблюдает, а работу выполняет сама природа. Он бросает в почву зерно и, как добрый земледелец, спокойно дает ему естественно вы-

гнать стебель и заколоситься. Да ведь это гениальный Каратаев с его молчаливым преклонением перед законами природы! Он никогда не прикаснется к бутону, чтобы насильно развернуть его лепестки: он дает им тихо распуститься под солнечным теплом. Ему чужда и глубоко враждебна та эстетика культуры больших городов, которая в самопожирательной жадности насилует и терзает природу, требуя от нее одних экстрактов и эссенций, и сведенными судорогой пальцами ищет на палитре краски, которых нет в спектре солнечного луча. Слог Толстого таков же, как и весь его гений: спокойный, неторопливый, хозяйственно-бережливый, но не скупой, не аскетический, мускулистый, отчасти неуклюжий, стилистически шершавый, – такой простой и всегда несравненный по своим результатам. (Он в такой же мере отличается от лирического, кокетливого, блестящего и сознающего свою красоту слога Тургенева, как и от резкого, захлебывающегося и корявого языка Достоевского.)

В одном из своих романов – горожанин и разночинец Достоевский, гений с непоправимо ущемленной душой, страстный поэт жестокости и сострадания, – глубоко и метко противопоставляет себя как художника новых «случайных русских семейств» графу Толстому, певцу законченных форм дворянского прошлого. «Если б я был русским романистом и имел талант, – говорит он чужими устами, – то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления... Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я – совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно... Поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь законченного. Я не потому говорю, что так уж безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой: но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже и нигде не начато... Положение нашего романиста, – продолжает он, не называя Толстого, но, несомненно, говоря о нем, – в таком случае было бы совершенно определенное: он не мог бы писать в другом роде, как в историческом, ибо красивого

типа уже нет в наше время, а если и остались остатки, то, по владычеству сему сейчас мнению, не удержали красот за собою»¹¹.

Вместе с «красивым типом» не только исчезал непосредственный объект художественного творчества, но и рушились основы толстовского морального фатализма и его эстетического пантеизма: гибла та святая каратаевщина толстовской души. Все, что раньше было само собой разумеющейся частью несомненного целого, превратилось в осколок, и потому в вопрос. Разумное превращается в бессмыслицу. И – как всегда – именно в тот момент, когда бытие потеряло свой *старый* смысл, Толстой спросил себя о смысле бытия вообще. Наступает (во второй половине 70-х годов) великий душевный кризис – не в жизни юноши, а в жизни человека 50 лет. Толстой возвращается к Богу, принимает учение Христа, отвергает разделение труда, культуру, государство и становится проповедником земледельческого труда, опрощения и непротivления злу насилieм.

Чем глубже был внутренний перелом – пятидесятилетний художник, по собственному признанию, долго носился с мыслью о самоубийстве, – тем более поразительным должно показаться, что в результате его Толстой вернулся в сущности к исходному пункту. *Земледельческий* труд – разве не на этой основе разворачивается эпопея «Войны и мира»? *Опрощение*, погружение в народную стихию, по крайней мере, духовное – разве не в этом сила Кутузова? *Непротivление злу насилieм* – разве не в фаталистической резиньяции весь Каратаев? Но если так, то в чем же *кризис* Толстого? В том, что тайное, подпочвенное пробивает свою кору и переходит в сферу сознания. Так как природная духовность исчезла вместе с «натурой», в которой она воплощалась, то дух стремится к внутреннему самосознанию. Та автоматическая гармония, против которой восстал сам автоматизм жизни, должна быть отныне сохранена сознательной силой идеи. В консервативной борьбе (за свое нравственное и эстетическое самосохранение) художник призывает на помощь философа-моралиста.

¹¹ Достоевский Ф. М. Подросток // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 13. – Л., 1975. – С. 453, 454.

II

Какой из двух Толстых, поэт или моралист, завоевал большую популярность в Европе, было бы нелегко определить. Несомненно, во всяком случае, что сквозь снисходительную усмешку буржуазной публики над гениальной наивностью яснополянского старца проглядывает чувство своеобразного нравственного удовлетворения: знаменитый поэт, миллионер, один из «нашей среды», более того: аристократ – по нравственным побуждениям – носит косоворотку, ходит в лаптях, колет дрова. Тут как бы некоторое искупление грехов целого класса, целой культуры. Это не мешает, конечно, каждому буржуазному колпаку смотреть на Толстого сверху вниз и даже слегка сомневаться в его полной вменяемости. Так, небезызвестный Макс Нордау¹², один из тех господ, которые философию старого честного Смайльса¹³, приправленную цинизмом, переряжают в клоунский наряд воскресного фельетона, открыл – со своим настольным Ломброзо¹⁴ в руке – во Льве Толстом все признаки вырождения. Для этих лавочников помешательство начинается там, где прекращается барыш.

¹² Нордау Макс (1849 – 1923) – псевдоним немецкого писателя Макса Зидфельда, получившего медицинское образование, что сыграло важную роль в его литературных трудах, известнейший из которых – сборник «Вырождение» (1892 – 1893). В нем он с точки зрения психиатрии констатирует душевные заболевания представителей новейшей литературы и как следствие – деградацию европейской культуры в целом. Характеристика Толстого приводится в этой книге.

¹³ Смайльс Самуил (1812 – 1904) – английский писатель-моралист, по образованию медик-практик. Автор книг, посвященных анализу и обоснованию нравственных категорий: «Самодетельность» (1860), «Характер» (1871), «Бережливость» (1875), «Долг» (1876), «Жизнь и труд, или Характеристики великих людей» (1887), в которых отразил наблюдения за жизнью и поведением пациентов.

¹⁴ Ламброзо Чезаре (1836 – 1909) – итальянский психиатр и криминалист, создатель уголовно-антропологического направления, согласно которому существует особый преступный тип личности с характерными физическими свойствами. Его основные труды «Гениальность и помешательство», «Женщина – преступница и проститутка», «Безумие прежде и теперь» были хорошо известны в России. Свой визит к Толстому Л. описал в брошюре «Мое посещение Толстого» (Женева, 1902).

Но глядят ли на него его буржуазные почитатели подозрительно или иронически, или благосклонно, он для них все равно – психологическая загадка. Если оставить в стороне пару его учеников и пропагандистов – один из них, Меньшиков¹⁵, играет теперь роль русского Гаммерштейна¹⁶, – то придется констатировать, что в течение последних 30-ти лет своей жизни Толстой-моралист всегда стоял совершенно одиноко. Поистине трагическое положение проповедника в пустыне... Весь во власти своих земельно-консервативных симпатий, Толстой непрерывно, неустанно и победоносно обороняет свой духовный мир от угрожающих со всех сторон опасностей. Он раз навсегда проводит глубокую борозду между собой и всеми видами буржуазного либерализма – и в первую голову отбрасывает прочь «общее в наше время суеверие прогресса».

«Прекрасно, – восклицает он, – электрическое освещение, телефоны, выставки и все сады Аркадии со своими концертами и представлениями, и все сигары и спичечницы, и подтяжки и моторы; но пропади они пропадом – и не только они, но и железные дороги и все фабричные ситцы и сукна в мире, если для их производства нужно чтобы 99/100 людей были в рабстве и тысячами погибли на фабриках, нужных для производства этих предметов»¹⁷.

¹⁵ Меньшиков Михаил Осипович (1859 – 1918) – публицист, литературный критик, журналист; в 1890-е гг. выступал со статьями, близкими к взглядам Л. Толстого, в газете «Неделя», журнале «Книжки Недели», в книгах «Думы о счастье» (1898) и «О любви» (1899); многими был воспринят как приверженец толстовства. Меньшиков состоял с Л. Н. Толстым в переписке, бывал в Ясной Поляне, но с сер. 1900-х гг. на страницах газеты «Новое время» (в своей рубрике «Письма к ближним») стал резко высказываться против идей Л. Толстого, особенно в статьях 1908 г.: «Лев Толстой как журналист» (Новое время. – 1908. – № 11614, 13 июля), «Толстой и власть» (Там же. – № 11642, 10 августа).

¹⁶ Гаммерштейн Вильгельм (1838 – 1904) – немецкий политический деятель, член рейхстага от консервативной партии, редактор реакционной «Kreuzzeitung». В 1895 г. внес в рейхстаг проект о запрещении въезда в Германию евреев. После ареста в связи с присвоением денег, принадлежавших издательству, был приговорен к тюремному заключению.

¹⁷ Толстой Л. Н. Рабство нашего времени. – Berlin : Heinrich Caspari, Б. г. – С. 38 – 39.

Разделение труда обогащает нас и украшает нашу жизнь? Но оно калечит живую душу человеческую. Да сгинет разделение труда! Искусство? Но *истинное* искусство должно соединять всех людей в идее Бога, а не разъединять их. Наше же искусство служит только избранным, оно разобщает людей, и потому в нем ложь. Толстой мужественно отвергает «ложное» искусство – Шекспира, Гете, себя самого, Вагнера, Беклина¹⁸.

Он сбрасывает с себя материальные заботы о хозяйстве, об обогащении и наряжается в крестьянское платье, как бы совершая символический обряд отречения от культуры. Но что скрывается за этим символом? Что противопоставляется в нем «лжи», т. е. *историческому процессу*?

Общественную философию Толстого мы могли бы на основании его произведения представить – с некоторым насилием над собою – в виде следующих «программных» тезисов:

1. Не какие-либо железные социологические законы производят рабство людей, а узаконения.

2. Рабство нашего времени происходит от трех узаконений: о земле, о податях и о собственности.

3. Не только русское, но всякое правительство является учреждением для совершения посредством насилия незаконно самых ужасных преступлений.

4. *Истинное социальное улучшение достигается только религиозно-нравственным совершенствованием отдельных личностей.*

5. «Для того чтобы избавиться от правительств, надо не бороться с ними внешними средствами, а надо только не участвовать в них и не поддерживать их». Именно: а) не принимать на себя звания ни солдата, ни *фельдмаршала*, ни *министра*, ни *старосты*, ни присяжного, ни члена парламента; б) не давать добровольно правительствам *податей*, ни прямых, ни косвенных; в) не пользоваться правительственными учреждениями, а также деньгами

¹⁸ Бёклин Арнольд (1827 – 1901) – швейцарский живописец. Вначале писал романтические пейзажи с мифологическими фигурами, затем – фантастические сцены («Тритон и Нереида», 1873 – 74). В поздних композициях («Остров мёртвых», 1880) сочетал символику с натуралистической достоверностью деталей, что повлияло на формирование немецкого символизма.

государства ни в виде *жалования*, ни в виде *пенсий*; г) не ограждать своей собственности мерами государственного насилия.

Если из этой схемы удалить, по-видимому, особняком стоящий четвертый пункт о религиозно-нравственном совершенствовании, то мы получим довольно законченную *анархическую* программу: на первом плане чисто механическое представление об обществе как о продукте злых узаконений; далее формальное отрицание государства и политики вообще и, наконец, как метод борьбы, пассивная всеобщая стачка и всеобщий бойкот. Но удаляя религиозно-нравственный тезис, мы в сущности устраним единственный нерв, который соединяет всю эту рационалистическую постройку с ее зодчим: с душой Толстого. Для него – по всем условиям его развития и положения – задача состоит не в том, чтобы на место капиталистического строя установить «коммунистическую» анархию, а в том, чтобы охранить общинно-земледельческий строй от «внешних» разрушительных влияний. Как в народничестве, так и в своем «анархизме» Толстой представляет аграрно-консервативное начало. Подобно первоначальному франкмасонству, которое стремилось идеологическим путем восстановить и упрочить в обществе касто-цеховую мораль взаимности, естественно разрушавшуюся под ударами экономического развития, Толстой силой религиозно-нравственной идеи хочет возродить чистый натуральный хозяйственный быт. На этом пути он становится консервативным анархистом, ибо ему прежде всего нужно, чтобы государство с бичами своей солдатчины со скорпионами своего фиска оставило бы в покое спасительную каратаевскую общину. Наполняющей собою землю борьбы двух миров: буржуазного и социалистического, – от исхода которой зависит судьба человечества, Толстой не понимает вовсе. Социализм в его глазах всегда оставался лишь мало интересной для него разновидностью либерализма. В его глазах Маркс и Бастиа¹⁹ являются представителями одного и того же «ложного принципа»

¹⁹ Бастиа Фредерик (1801 – 1850) – французский экономист, сторонник манчестерской школы, разработавший теорию «гармонии интересов» различных классов, что, естественно, обеспечит в будущем общественное благо.

капиталистической культуры, безземельных рабочих, государственного принуждения. Раз человечество вообще попало на ложную дорогу, то почти безразлично – пойдет ли оно по ней немного дальше или немного ближе. Спасти может только поворот назад.

Толстой никогда не может найти достаточно презрительных слов по адресу науки, которая думает, что если мы еще очень долго будем жить дурно «по законам прогресса исторического, социалистического и других», то наша жизнь сделается в конце концов сама собой очень хорошей.

Зло нужно прекратить сейчас, а для этого достаточно понять, что зло есть зло. Все нравственные чувства, исторически связывавшие людей, и все морально-религиозные фикции, выросшие из этих связей, Толстой сводит к абстрактнейшим заповедям любви, воздержания и сопротивления, и так как они (заповеди) лишены какого бы то ни было исторического, а значит, и всякого содержания, то они кажутся ему пригодными для всех времен и народов.

Толстой не признает истории. В этом основа всего его мышления. На этом покоится метафизическая свобода его отрицания, как и практическое бессилие его проповеди. Та человеческая жизнь, которую он приемлет, – былая жизнь уральских казаков-хлебопашцев в незанятых степях Самарской губернии – совершалась *вне* всякой истории: она неизменно воспроизводилась, как жизнь улья или муравейника. То же, что люди называют историей, есть продукт бессмыслицы, заблуждений, жестокостей, искаживших истинную душу человечества. Безбоязненно последовательный, он вместе с историей выбрасывает за окно наследственность. Газеты и журналы ненавистны ему как документы текущей истории. Он хочет все волны мирового океана отразить своей грудью. Историческая слепота Толстого делает его детски беспомощным в мире социальных вопросов. Его философия – как китайская живопись. Идеи самых различных эпох распределены не в перспективе, а в одной плоскости. Против войны он оперирует аргументами чистой логики, и, чтоб подкрепить их силу, он приводит мнения Эпиктета и Молинали²⁰, Лао-Цзе и Фридриха II, пророка Исаяи и

²⁰ Молинали Густав де (1819 – 1912) – бельгийский экономист, последователь манчестерской школы.

фельетониста Гардуэна²¹, оракула парижских лавочников. Писатели, философы и пророки представляют для него не свои эпохи, а вечные категории морали. Конфуций у него идет рядом с Гарнаком²², и Шопенгауэр видит себя в обществе не только Иисуса, но и Моисея. В трагическом единоборстве с диалектикой истории, которой он противопоставляет свое *да-да, нет-нет*, Толстой на каждом шагу впадает в безысходное противоречие. И он делает из него вывод, вполне достойный его гениального упроста: «*несообразность* между положением человека и его моральной деятельностью, – говорит он, – есть *вернейший признак истины*». Но это идеалистическое высокомерие в самом себе несет свою казнь: трудно назвать другого писателя, который так жестоко был бы использован историей вопреки своей воле, как Толстой.

Моралист-мистик, враг политики и революции, он в течение ряда лет питает своей критикой смутное революционное сознание многочисленных групп народного сектанства.

Отрицатель всей капиталистической культуры, он встречает благожелательный прием у европейской и американской буржуазии, которая в его проповеди находит и выражение своему беспредметному гуманизму и психологическое прикрытие против философии революционного переворота.

Консервативный анархист, смертельный враг либерализма, Толстой к своей восьмидесятилетней годовщине оказывается знаменем и орудием шумной и тенденциозно политической манифестации русского либерализма.

История одержала над ним победу, но она не сломила его. И сейчас, на склоне своих дней, он сохранил во всей целостности своей драгоценный талант нравственного возмущения.

²¹ Гардуэн – французский журналист, корреспондент парижской газеты «Матэн».

²² Гарнак Адольф фон (Карл Густав) (1851 – 1930) – немецкий теолог, протестантский богослов, историк, автор фундаментальных трудов по истории раннехристианской литературы. Главный труд – «Сущность христианства» (1900). Задачей Гарнака во всех его трудах было показать, что заповеди Христа, по его мнению, не имевшие ничего общего с авторизованными церковными доктринами, оказались закованными в церковные догмы.

В разгаре подлейшей и преступнейшей контрреволюции, которая хочет навсегда закрыть солнце нашей родины, в удушливой атмосфере униженной трусости официального общественного мнения, этот последний апостол христианского всепрощения, в котором не умер ветхозаветный пророк гнева, бросил свое «Не могу молчать» как проклятие в лицо тем, которые вешают, и как приговор тем, которые молчат.

И пусть он отказал нам в сочувственном внимании к нашим революционным целям, — мы знаем, что история отказала ему самому в понимании ее революционных путей. Мы не осудим его. И мы всегда сумеем ценить в нем не только великий гений, который не умрет, пока живо будет человеческое искусство, но и несгибаемое нравственное мужество, которое не позволило ему мирно оставаться в рядах *их* лицемерной церкви, *их* общества и *их* государства и обрекло его на одиночество среди неисчислимых почитателей.

Neue Zeit. — 1908, сентябрь.

Печатается по: *Троцкий Л.* Сочинения. Культура старого мира. — М.-Л., 1926. — Т. 20. — С. 249 — 260.

См. также: *Троцкий Л.* Лев Толстой // Лев Толстой как столп и утверждение поповщины. Сборник полезных материалов. — М.: Атеист, 1928, — С. 31 — 37.

*Вступительная статья,
публикация и примечания М. В. Михайловой,
доктора филологических наук, профессора филологического
факультета МГУ, академика РАН*

Труды юбиляров



Список трудов профессора В. Я. Линкова

1. К проблеме идейного обобщения в прозе Чехова. Научные доклады высшей школы : статья // Филологические науки. – 1969. – № 6. – С. 49 – 57.
2. Значение рассказа «Огни» в развитии повествовательных приемов Чехова: статья // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Филология. – 1971. – № 2. – С. 16 – 24.
3. Повесть Чехова «Дуэль» и русский социально-психологический роман 1-ой половины XIX в.: статья // Проблемы теории и истории литературы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – С. 377 – 92.
4. Путешествие к смыслу: рецензия // Литературная газета. – 1975. – № 34, 26 авг. – С. 3.
5. Устарела ли теорема Пифагора? : статья // Литературная газета. – 1977. – № 5, 2 февр. – С. 2.
6. Чехов – писатель «эпохи» всеобщего обособления : статья // Русская литература 1870 – 1890-х гг. – Свердловск, 1977. – С. 93 – 105.
7. Легкие доводы против трудной литературы : статья // Литературная газета. – 1978. – № 7, 15 февр. – С. 3.
8. Особенности фабулы в прозе Чехова : статья // Чеховские чтения в Ялте. – М. : Наука, 1978. – С. 73 – 82.
9. О некоторых особенностях реализма Чехова : статья // Русская литература и журналистика XIX в. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – С. 102 – 119.
10. Собрание сочинений Л. Толстого : в 22 т. – М. : Худож. лит-ра, 1978 – 1985. – Т. 3. – С. 445 – 477. Вступ. статья, коммент.
11. Лев Толстой. Жизнь и творчество : монография. – М. : Русский язык, 1979. – 260 с. (Совм. с А. А. Саакянц).
12. Художественный мир прозы Чехова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 127 с.
13. Собрание сочинений Л. Толстого : в 22 т. – М. : Худож. лит-ра, 1982. – Т. 12. – С. 437 – 477. Вступ. статья и коммент.
14. А. П. Чехов. Пьесы. – М. : Русский язык, 1982. – С. 245 – 256. Коммент.

15. Романы Тургенева и роман-эпопея «Война и мир» : статья // Изв. Академии Наук СССР. Сер. лит-ры и языка. – 1983. – Т. 61. – № 6. – С. 329 – 338.
16. Идеалы или идеализация? : статья // Литературная газета. – 1984. – № 16, 19 апр. – С. 3.
17. Парадоксы соавторства : статья // Литературная газета. – 1985. – № 4, 23 янв. – С. 3.
18. Проблема смысла жизни в «Черном монахе» Чехова : статья // Изв. Академии Наук СССР. Сер. лит-ры и языка. – 1985. – Т. 44. – № 4. – С. 340 – 349.
19. Забытое имя : рецензия // Литературная газета. – 1985. – № 33, 14 авг. – С. 5.
20. Хрестоматия по русской литературе XIX в. – М. : Русский язык, 1986. – С. 223 – 255. Вступ. статья и коммент.
21. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина : монография. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 173 с.
22. Тайна смерти и власти // Русский язык за рубежом. – 1994. – № 4. – С. 83 – 93.
23. А. П. Чехов. Сборник рассказов и повестей. – М. : Панорама, 1994. – С. 5 – 18. Предисл.
24. Через сомнения к «Богу живого человека» : статья // Чеховиана. – М. : Наука, 1995. – Вып. 4. – С. 10 – 16.
25. Скептицизм и вера Чехова : монография. – М. : Наука, 1995. – 79 с.
26. Диалектика «Мертвых душ» : статья // Литература. – 1996. – № 43, 1 дек. – С. 5 – 7.
27. Теория, сознание и жизнь в понимании Ф. М. Достоевского : статья // Достоевский и мировая культура : альманах. – 1997. – № 9. – С. 94 – 99.
28. «Война и мир» Л. Толстого : монография. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 102 с.
29. История русской литературы XIX века в идеях : монография. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 190 с.; 2-е изд. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2008. – 192 с.
30. Мистика радости жизни. О романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» : статья // Русский язык за рубежом. – 2002. – № 4. – С. 111 – 117.

31. Программа курса «История русской литературы второй половины XIX в.». – М. : Ф-т журн. МГУ, 2002. – 11 с. Сост.

32. Лев Толстой. Пора понять. Избранные публицистические статьи 1880 – 1910 гг.: в 2 ч. / сост. И. В. Петровицкая. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2003. – Ч. I. – 214 с.; ч. II – 198 с. Науч. ред.

33. Лев Толстой. Пора понять. Избранные публицистические статьи / сост., предисл., коммент. И. В. Петровицкой. – М. : ВК, 2004; 2-е изд. – М. : ВК, 2005. – 488 с. Общ. ред.

34. Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. К 250-летию Московского университета. – М. : ВК, 2005. – 716 с. Ред.

35. «Ничто не проходит бесследно» (о повести Чехова «Моя жизнь») : статья // Вопросы литературы. – 2005. – Май-июнь. – С. 293 – 304.

36. Лев Шестов – критик Чехова : статья // Изв. РАН. Сер. лит-ры и языка. – 2006. – № 4. – С. 44 – 47.

37. Тургенев – писатель социального реализма : статья // Тургеневские чтения 2. – М. : Русский путь, 2006. – С. 9 – 28.

38. Единый государственный экзамен. Белая книга. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2008. – 326 с. Сост.

39. Переписка Л. Толстого с журналистами // II Международный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном контексте»: избранные доклады и тезисы / под общ. ред. И. Л. Волгина. – М. : Фонд Достоевского, 2008. – 614 с. (Совм. с И. В. Петровицкой).

40. Что такое учебник по истории литературы: статья // Из истории русской литературы и журналистики : ежегодник. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2009. – 328 с.

Список трудов профессора Т. Ф. Пирожковой

1. Народные песни Пермского края: Сборник фольклорных текстов. – Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1966. – Т. 1. – 274 с. Отв. ред., предисл. (с. 5 – 9), сост. (совм. с М. А. Ганиной, Р. В. Коминой, Р. С. Спивак), примеч., именной указатель исполнителей. Рец.: Селиванов Ф. // Изв. Акад. наук СССР. Сер. лит-ры и языка. – 1969. – Вып. 1, янв. – февр. – Т. 28. – С. 79 – 80.

2. Народные песни Пермского края: Сборник фольклорных текстов. – Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1968. – Т. 2. – 412 с. Предупреждение от сост. (с. 3 – 4), сост. (совм. с М. А. Ганиной, Р. В. Коминой, Р. С. Спивак).

3. Психологическое изображение в свадебной лирике : статья // Литературоведение, метод, стиль, традиции (Учёные записки Перм. гос. ун-та.). – Пермь, 1970. – № 241. – С. 269 – 291.

4. К вопросу об итогах и задачах изучения свадебной поэзии : статья // Литературоведение, метод, стиль, традиции (Учёные записки Перм. гос. ун-та.). – Пермь, 1970. – № 241. – С. 292 – 304.

5. Художественные особенности жанров свадебной лирики : автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1972. – 16 с.

6. А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь в журнале «Современник». К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина : статья // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1974. – № 3. – С. 25 – 31.

7. Н. М. Карамзин – издатель «Московского журнала» (1791 – 1792) : лекции. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 55 с.

8. П. А. Орлов. Русский сентиментализм. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977 : рецензия // Филологические науки. – 1978. – № 3. – С. 115 – 116.

9. Славянофильская журналистика второй половины 50-х – начала 60-х годов XIX в. в оценках Н. Г. Чернышевского : статья // Н. Г. Чернышевский и журналистика. К 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – С. 58 – 80.

10. Революционеры-демократы о славянофильстве и славянофильской журналистике: монография. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 162 с.

11. М. Кузнецов. Советский роман. Статьи, портреты. – М. : Советский писатель, 1986. – 413 с. Сост.

12. И. С. Аксаков. Письма к родным. 1844 – 1849. – М. : Наука, 1988. (Сер. «Литературные памятники»). – 704 с. Сост., статья (в соавт. с А. Г. Дементьевым; с. 513 – 553), коммент. (с. 554 – 684), именной указатель.

13. «Много я ездил по России...» : статья (с. 5 – 26) // И. Аксаков. Письма из провинции. Присутственный день в уголовной палате. – М. : Правда, 1991. – 543 с. Сост., коммент. (с. 509 – 542).

14. Из семейной переписки. Письма С. Т. и И. С. Аксаковых // Наше наследие. – 1991. – V (23). – С. 54 – 61. Предисл., публикация, примеч.

15. И. С. Аксаков. Письма к родным. 1849 – 1856. – М. : Наука, 1994. – 653 с. (Сер. «Литературные памятники»). Сост., статья (с. 479 – 492), коммент. (с. 493 – 631), именной указатель.

16. История несостоявшегося «Русского вестника» : статья // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1994. – № 3. – С. 84 – 87.

17. Журнал для «прекрасного пола». К 250-летию со дня рождения Н. И. Новикова : статья // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1994. – № 6. – С. 26 – 36.

18. Главное дело жизни (воспоминания) // Римма. Книга воспоминаний о профессоре Римме Васильевне Коминой. – Пермь, 1996. – С. 64 – 70.

19. «Погружаясь душою в прошлое...» // Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. Статья (с. 3 – 16), коммент. (с. 253 – 302).

20. Славянофильская журналистика : монография. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 220 с. Рец.: Есин Б. Н. Активный исследователь славянофильства // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1999. – № 1. – С. 116 – 117.

21. Из переписки Хомякова и Аксаковых (1852 – 1860) // Хомяковский сборник. – Томск : Водолей, 1998. – Т. 1. – С. 142 – 172. Публикация и коммент.

22. Письма Аксаковых о смерти Хомякова // Хомяковский сборник. – Томск : Водолей, 1998. – Т. 1. – С. 208 – 231. Публикация и коммент.

23. «Я буду один и опекун и попечитель» (письма Е. А. Свербеевой и А. П. Елагиной) // Хомяковский сборник. – Томск : Водолей, 1998. – Т. 1. – С. 232 – 241. Публикация и коммент.

24. «Самый русский из всех наших поэтов». О речи И. С. Аксакова об А. С. Пушкине 1880 г. : статья // Домашний лицей. – 1999. – № 1. – С. 101 – 107.

25. «С его голосом считались как с нравственной и политической силой». Иван Аксаков и «русский вопрос» : статья // Российская провинция. – 1999. – № 1-3. – С. 128 – 135.

26. Славянофилы и славянофильская журналистика (1840 – 1850 гг.) : дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2000. – 83 с.

27. «Живая связь любви». О речи И. С. Аксакова на пушкинских торжествах 1880 г. // Е. Р. Дашкова и А. С. Пушкин в истории России: сб. статей. – М. : Моск. гуманитарный ин-т им. Е. Р. Дашковой, 2000. – С. 130 – 141.

28. И. С. Аксаков-журналист (1850 – 1860 гг.) : учеб.-метод. пособие по спецкурсу для студентов IV курса. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2002. – 19 с.

29. Славянофильская журналистика : учеб.-метод. пособие по спецкурсу для студентов IV курса. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2002. – 22 с.

30. Славянофилы и их журнально-издательская деятельность : лекции. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2002. – 84 с.

31. Б. Н. Чичерин в журнальной полемике 1856 – 1858 гг. и его суждения об этике журналиста : статья // 1702 – 2002. Из века в век. Из истории русской журналистики. К 300-летию отечественной печати. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2002. – С. 84 – 105.

32. Записки Александра Ивановича Кошелева (1812 – 1883 годы). С семью приложениями. – М. : Наука, 2002. – 475 с. (Сер. «Литературные памятники»). Сост., статья (с. 357 – 407), коммент. (с. 408 – 442), именной указатель.

33. «Крепкая связь единомыслия...». Письма А. С. Хомякова К. С. и И. С. Аксаковым // Наше наследие. – 2004. – № 71. – С. 96 – 101. Публикация, коммент., послесл.

34. Хомяков и Аксаковы // Наше наследие. – 2004. – № 71. – С. 102 – 105. Публикация, коммент., послесл.

35. Письма «на берега серой Камы» (Письма А. И. Кошелева Н. Ф. Павлову 1853 г.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журн.

налистика. – 2004. – № 5. – С. 34 – 44. Статья, публикация, коммент.

36. «Золоторассыпчатый». К 200-летию со дня рождения А. С. Хомякова : статья // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2004. – № 6. – С. 26 – 37.

37. Письмо А. С. Хомякова к К. С. Аксакову 1850 г. // А. С. Хомяков: Личность – творчество – наследие. Хмелитский сборник. – Вып. 7. – Смоленск : Гос. музей-заповедник «Хмелита», 2004. – С. 15 – 20. Публикация и коммент.

38. Письма к А. С. Хомякову о смерти Д. А. Валугева // А. С. Хомяков: Личность – творчество – наследие. Хмелитский сборник. – Вып. 7. – Смоленск : Гос. музей-заповедник «Хмелита», 2004. – С. 24 – 37. Публикация и коммент.

39. Письмо И. С. Аксакова к А. С. Хомякову // А. С. Хомяков: Личность – творчество – наследие. Хмелитский сборник. – Вып. 7. – Смоленск : Гос. музей-заповедник «Хмелита», 2004. – С. 38 – 46. Публикация и коммент.

40. Письма Ф. В. Чижова к Е. М. и А. С. Хомяковым // А. С. Хомяков: Личность – творчество – наследие. Хмелитский сборник. – Вып. 7. – Смоленск : Гос. музей-заповедник «Хмелита», 2004. – С. 47 – 52. Публикация и коммент.

41. Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. К 250-летию Московского университета. – М. : ВК, 2005. Материалы о Д. И. Фонвизине, П. А. Сохацком, А. И. Кошелеве, К. С. Аксакове, Ф. И. Буслаеве, Ю. Ф. Самарине, К. Д. Кавелине, А. А. Фете, В. А. Черкасском, Б. Н. Чичерине, В. О. Ключевском (коммент. и примеч.). С. 58 – 62, 79 – 83, 117 – 121, 178 – 253, 266 – 290, 525 – 526.

42. Русское общество в годы Крымской войны : статья // Из истории русской журналистики. К 60-летию факультета журналистики. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2007. – С. 71 – 111.

43. А. С. Хомяков и Д. А. Валугев : статья // А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист : сб. статей по материалам международной научной конференции. Москва. Литературный ин-т им. А. М. Горького. 14 – 17 апреля 2004 г. – М. : Языки славянских культур, 2007. – Т. 1. – С. 69 – 76.

44. Ни на кого не похожий Кравцов (воспоминания) // Российская славистическая фольклористика: Пути развития и иссле-

довательские перспективы. Материалы международной научной конференции к 100-летию со дня рождения проф. Н. И. Кравцова. – М. : МАКС Пресс, 2007. – С. 316 – 321.

45. Бабаев Э. Г. «Высокий мир аудиторий...». Лекции и статьи по истории русской литературы. – М. : МедиаМир, 2008. – 528 с. Общ. ред.

46. Переиздание дневника Веры Сергеевны Аксаковой : статья // Из истории русской литературы и журналистики : ежегодник. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2009. – 328 с.

Содержание

Слово юбилярам

- В. Я. Линков.* Что такое учебник по истории литературы? 7
- Т. Ф. Пирожкова.* Переиздание Дневника
Веры Сергеевны Аксаковой... 24

Статьи и исследования

- Р. С. Спивак.* Феномен непонимания
в художественном мире А. П. Чехова 43
- И. В. Кондаков.* По берегам «Русского моря» 62
- Б. Ф. Егоров.* Бытование «Ф. И. О.»
в русской культуре нового времени 95



- И. Е. Прохорова.* Критические, публицистические и издательские
опыты В. А. Жуковского в оценках П. А. Вяземского 105
- И. А. Сурнина.* История создания журнала
«Вестник промышленности» 135
- И. Л. Волгин.* Метаморфозы личного жанра («Дневник писателя»
Ф. М. Достоевского и «Опавшие листья» В. В. Розанова) 145
- Г. С. Лапина.* К истории «Недели» Василия Гайдебурова:
хроника цензурных преследований 165

<i>С. Я. Махонина. А. С. Суворин глазами современников и историков XX – XXI веков</i>	174
<i>В. Е. Красовский. Феномен идеологического бестселлера в литературе и газетно-журнальной критике конца 1900-х годов и роман «Санин» М. П. Арцыбашева</i>	201
<i>Н. В. Фролова. Реконструкция личности в контексте истории: Маргарита Кирилловна Морозова</i>	222
<i>И. В. Петровицкая. «Толстовский» съезд русских журналистов. 1908 год</i>	235

Наши публикации

<i>Арвид Эрнефельт. Толстой. Вступительная статья, публикация и примечания Ю. В. Аникеева</i>	261
<i>А. Карташев. Толстой, как богослов. Вступительная статья, публикация и примечания И. В. Петровицкой</i>	273
<i>Л. Троцкий. Лев Толстой. Вступительная статья, публикация и примечания М. В. Михайловой</i>	290

Труды юбиляров

Список трудов профессора В. Я. Линкова	316
Список трудов профессора Т. Ф. Пирожковой	319

**Из истории русской литературы и журналистики.
Ежегодник**

Оформление обложки *А. В. Баланцевой*
Редактор *Н. П. Филиппова*
Компьютерная верстка *Е. Н. Сиротиной*

Подписано в печать 29.04.2009. Формат 60x84/16.
Гарнитура «Miniature». Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объем 19,07 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ №

Отпечатано в УПЛ факультета журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова